ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ТОМ VII КНИГИ 12 — 13

ПУТЕШЕСТВИЕ НА „СНАРКЕ“

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Под ред. З. А. ВЕРШИНИНОЙ

НА ЦЫНОВКЕ МАКАЛОА

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
С. Г. ЗАЙМОВСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ“
МОСКВА — 1928

JACK LONDON

THE CRUISE OF THE „SNARK“

ON THE MAKALOA MAE



ОБЛОЖКА А. МОГИЛЕВСКОГО

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“
ПИМЕНОВСКАЯ, 16, В КОЛИЧ.
70 000 экз. ГЛАВЛИТ № А—15662.
1928

ДЖЭК ЛОНДОН

ПУТЕШЕСТВИЕ НА „СНАРКЕ“

ГЛАВА I

Вступление

Началось все в купальнях Глэн-Эллен. Поплавав немного, мы ложились обыкновенно на песчаном берегу, чтобы дать коже подышать теплым воздухом и напиться соком солнечного света. Роско был членом местного яхт-клуба. Я тоже немножко бывал на море. Поэтому рано или поздно разговор неизбежно должен был коснуться различного типа судов. Мы заговорили о яхтах и вообще о судах небольшого размера и о пригодности их для дальнего плавания. Вспомнили капитана Слокума и его трехлетнее путешествие вокруг света на шхуне «Спрэй».

Мы утверждали, что совсем не страшно отправиться вокруг света на маленьком судне, ну, скажем, футов в сорок длиною. Мы утверждали дальше, что это даже доставило бы нам удовольствие. Мы утверждали в конце концов, что ничего на свете нам не хочется до такой степени.

— Что ж, попробуем!—сказали мы... в шутку.

Потом я спросил Чармиан, когда мы остались одни, хочется ли ей на самом деле попутешествовать так, а она сказала, что это было бы слишком хорошо, но что она не верит в возможность такого путешествия.

В ближайший же день, когда мы опять проветривали кожу на песке у купальни, я сказал Роско:

— Давайте отправимся!

Я говорил совершенно серьезно, и он это так и принял, потому что спросил:

— А когда?

Мне нужно было построить дом на моем ранчо, разбить огород, виноградник, посадить вокруг ранчо живую изгородь,—вообще переделать кучу различных дел. Мы решили, что отправимся лет через пять, или года через четыре. Но потом вино приключений ударило нам в голову. Почему не ехать сейчас? Никто из нас не станет моложе через пять лет. Пусть огород, виноградник и живые изгороди процветают в наше отсутствие. Когда мы вернемся, они будут к нашим услугам. А пока дом не будет выстроен, мы отлично проживем в сторожке.

Таким образом поездка была решена, и постройка «Снарка» началась. Мы назвали судно «Снарком» просто потому, что никакое другое сочетание звуков нам не нравилось,—говорю для тех, кто будет искать в этом названии какой-то скрытый смысл.

Друзья никак не могут понять, зачем нам понадобилась эта поездка. Они беспокоятся, ахают и всплескивают руками. Никакие доводы не могут заставить их понять, что мы просто двинулись по линии наименьшего сопротивления; что отправиться по морю в маленькой яхте для нас легче и удобнее, чем остаться на суше,—совершенно так же, как для них гораздо легче и удобнее остаться дома, на суше, чем отправиться по морю в маленькой яхте. Все это происходит от преувеличенной оценки своего «я». Они не могут уйти от себя. Они не могут даже временно выйти из себя, чтобы увидеть, что их линия наименьшего сопротивления вовсе не обязательна для других. Из собственных желаний, симпатий и антипатий они делают мерку, которой измеряют желания, симпатии и антипатии всех других живых существ. Это очень нехорошо. Я так и говорю им. Но они не могут отойти от своих несчастных «я» даже настолько, чтобы выслушать меня. Они думают, что я сумасшедший. А я думаю то же самое о них. И это одно из моих прочных убеждений. Впрочем, мы все склонны предполагать, что если человек с нами не соглашается, значит у него в голове что-то не в порядке.

А все потому, что сильнейшим из побудителей на свете является тот, который выражается словами: так я хочу. Он лежит за пределами философствования,—он вплетен в самое сердце жизни. Пусть, например, разум, опираясь на философию в течение целого месяца, основательно убеждает некоего индивида, что он должен делать то-то и то-то. Индивид в последнюю минуту может сказать: «хочу»,— и сделает что-нибудь совсем не то, чего добивалась философия, и философии придется удалиться посрамленной. Хочу—это причина, почему пьяница пьет, а подвижник носит власяницу; одного она делает развратником, а другого анахоретом [1]); одного заставляет добиваться славы, другого—денег, третьего—любви, четвертого— искать бога. А философию человек пускает в ход по большей части только для того, чтобы оправдать свое «хочу».

Так вот, если вернуться к «Снарку» и к тому, почему я захотел поехать на нем вокруг света,—я скажу так. Мои «хочу» и «мне нравится» составляют для меня всю ценность жизни. А больше всего я хочу разных личных достижений,—не для того, понятно, чтобы кто-то мне аплодировал, а просто для себя, для собственного удовольствия. Это все то же старое: «Это я сделал! Я! Собственными

---

[1]) Анахорет--пустынник, человек, ищущий одиночества.

руками я сделал это!» Но мои подвиги должны быть непременно материального, даже физического свойства. Для меня гораздо интереснее побить рекорд в плавании или удержаться в седле, когда лошадь хочет меня сбросить, чем написать прекрасную повесть. Всякому свое. Многим, вероятно, приятнее написать прекрасную повесть, чем победить в плавании или обуздать непослушную лошадь.

Подвиг, которым я, кажется, больше всего горжусь, подвиг, давший мне невероятно острое ощущение жизни, я совершил, когда мне было семнадцать лет. Я служил тогда на трехмачтовой шхуне, плававшей у японского побережья. Мы попали в тайфун. Команда провела на палубе почти всю ночь. Меня разбудили в семь утра и поставили у руля. Паруса были убраны до последнего лоскутка. Мы шли с голыми реями, и однако шхуна неслась здорово. Волны были шириною в восьмую мили, ветер срывал их пенящиеся верхушки, и воздух до того был насыщен водяной пылью, что невозможно было разглядеть на море больше двух волн под ряд. Шхуной, собственно, нельзя уже было управлять. Она черпала воду то правым, то левым бортом, беспорядочно тыкалась носом то вверх, то вниз, по всем направлениям от юго-запада до юго-востока, и каждый раз, когда налетающая волна поднимала ее корму, грозила перевернуться.

Я стал у штурвала. Капитан несколько минут наблюдал за мною. Он, очевидно, боялся, что я слишком молод и что у меня нехватит ни силы, ни нервов. Но после того, как я несколько раз удачно выровнял шхуну, он спустился вниз завтракать. Все с носу и с кормы тоже ушли завтракать, так что если бы шхуна перевернулась, никто не успел бы выскочить на палубу. В продолжение сорока минут я стоял у руля один, держа в руках бешено скачущую шхуну и двадцать две человеческих жизни. Один раз нас залило с кормы. Я видел, как волна налетает, и, почти захлебываясь под многими тоннами обрушившейся на меня воды, я все-таки не дал шхуне лечь на бок и не бросил руля. Через час меня сменили,—я был весь в поту и совершенно без сил. Но все-таки я выполнил свое дело. Своими собственными руками я удержал правильный курс шхуны и провел сотню тонн дерева и железа через несколько миллионов тонн воды и ветра.

Я был счастлив потому, что мне это удалось,—а вовсе не потому, что двадцать два человека знали об этом. Через год половина из них умерла или разошлась в разные стороны, но моя гордость не уменьшилась от этого. Впрочем, я должен сознаться, что небольшую аудиторию я все-таки люблю. Только она должна быть совсем-совсем небольшая и состоять из людей, которые любят меня и которых я тоже люблю. Если мне удается совершить перед ними что-нибудь выдающееся, я чувствую, что оправдываю этим их любовь ко мне.

Но это все-таки нечто совсем другое, чем удовольствие от самого свершения. Это удовольствие принадлежит мне одному безраздельно и совершенно не зависит от присутствия или отсутствия свидетелей. Удача приводит меня в восторг. Я весь загораюсь. Я чувствую в себе особенную гордость, которая принадлежит мне, и только мне. Это что-то физическое. Каждая фибра моего существа радостно дрожит от гордости. И это, конечно, вполне естественно. Это вопрос глубочайшего удовлетворения, которое получается всегда при удачном приспособлении к среде. Удачное приспособление к среде—вот что такое успех.

Жизнь живая—это жизнь удачи; удача—это биение ее сердца. Преодоление большой трудности—это всегда удачное приспособление к среде, требующей большой точности. Чем больше препятствия, тем больше удовольствие от их преодоления. Возьмите, например, человека, который прыгает с трамплина купальни в пруд: он делает в воздухе полуоборот всем телом и попадает в воду всегда головой вперед. Как только он оттолкнется от трамплина, он попадает в непривычную первобытную среду, и такой же жестоко-первобытной будет расплата, если он упадет на воду плашмя. Разумеется, ничто, собственно, не заставляет его подвергать себя риску такой расплаты. Он может спокойно остаться на берегу в безмятежном и сладостном окружении летнего воздуха, солнечного света и устойчивой неподвижности. Но что поделаешь,—человек создан иначе! В короткие мгновения полета он живет так, как никогда не жил бы, оставаясь на месте.

Я, во всяком случае, предпочитаю быть на месте такого прыгающего, чем на месте субъектов, которые сидят на берегу и наблюдают за ним. Вот почему я строю «Снарк». Что поделаешь,—я уж так создан. Хочу так—и все тут. Поездка вокруг света обещает мне хорошие, сочные мгновения жизни. Согласитесь со мной на одну минуту и посмотрите на все с моей точки зрения. Вот перед вами я, маленькое животное, называемое человеком,—комочек живой материи, сто шестьдесят пять фунтов мяса, крови, нервов, жил, костей и мозга,—и все это мягко, нежно, хрупко и чувствительно к боли. Если я ударю тыльной стороной руки совсем не сильно по морде непослушной лошади—я рискую сломать себе руку. Если опущу голову на пять минут под воду, то я уже не выплыву,—я захлебнусь. Если упаду с высоты двадцати футов—разобьюсь насмерть. Мало того, я существую только при определенной температуре. Несколькими градусами ниже—и мои пальцы и уши чернеют и отваливаются. Несколькими градусами выше—и моя кожа покрывается пузырями и лопается, обнажая больное, дрожащее мясо. Еще несколько градусов ниже или выше—и свет и жизнь внутри меня

гаснут. Одна капля яда от укуса змеи—и я не двигаюсь и никогда больше не буду двигаться. Кусочек свинца из винтовки попадает мне в голову—и я погружаюсь в вечную тьму.

Хрупкий, беспомощный комочек пульсирующей протоплазмы—вот что такое я. Со всех сторон меня окружают стихии природы, грандиозные опасности, титаны разрушения,—чудовища совсем не сентиментальные, которые считаются со мною не больше, чем я сам с той песчинкой, которую топчу ногами. Они совсем не считаются со мною. Они меня просто не знают. Они бессознательно беспощадны, аморальны. Это—циклоны и самумы, молнии, водовороты, приливы и отливы, землетрясения; грохочущие прибои, налетающие на каменные утесы; волны, заливающие палубы самых больших кораблей, слизывая с них людей. И все эти чудовища без разума и сознания не имеют ни малейшего представления о слабеньком, чувствительном существе, сотканном из нервов и недостатков, которое люди называют Джэком Лондоном и которое думает про себя, что оно совсем не так уж плохо и даже до некоторой степени существо высшего порядка.

И вот в хаосе столкновений всех этих грандиозных и опасных титанов я должен прокладывать себе дорогу. Комочек жизни, называемый «я», хочет восторжествовать над ними всеми. И всякий раз, когда комочек жизни, называемый «я», сумеет посадить их в калошу и заставить работать на себя,—он начинает считать себя полубогом. Это ведь совсем не плохо—проскакать на буре, как на лошади, и чувствовать себя полубогом. Я осмеливаюсь утверждать даже, что когда комочек живой протоплазмы чувствует себя полубогом, это выходит гораздо более гордо, чем когда бог чувствует себя богом.

Вот море, ветер и волны. Вот моря, ветры и волны всего мира. Вот самое жестокое и кровожадное окружение. Вот вам самая трудная среда, приспособиться к которой—наслаждение для комочка трепещущего тщеславия, называемого «я». Я хочу! Я так создан. Это моя специфическая [1]) форма тщеславия—вот и все.

Впрочем, в путешествии на «Спарке» есть еще и другая сторона. Поскольку я живу, постольку я хочу смотреть и видеть, а посмотреть целый мир—это немножко больше, чем посмотреть собственный городок или долину.

Мы не слишком много думали о нашем маршруте. Решено было только одно: наша первая остановка будет в Гонолулу. А куда мы направимся после Гавайских островов, мы в точности не знали. Это

---

[1]) Специфический—особенный, свойственный только одному какому-нибудь предмету или виду предметов.

должно было решиться уже на месте. В общем мы знали только, что обойдем все Южные Моря, заглянем на Самоа, в Новую Зеландию, Тасманию, Австралию, Новую Гвинею, на Борнео и на Суматру, а затем отправимся на север, в Японию, через Филиппинские острова. Потом очередь будет за Кореей, Китаем, Индией, а оттуда—в Красное море и в Средиземное. Затем предположения становились уже окончательно расплывчатыми, хотя много отдельных моментов было установлено совершенно точно,—между прочим и то, что в каждой из европейских стран мы проведем от одного до трех месяцев.

«Снарк» будет парусником. На нем будет газолиновый двигатель, но мы будем пользоваться им только в самых крайних случаях, как, например, среди рифов, где штиль в соединении с быстрыми течениями делает всякое парусное судно совершенно беспомощным. По оснастке «Снарк» будет так называемым «кечем». Оснастка кеча нечто среднее между оснасткой яхты и шхуны. За последние годы признано, что оснастка яхты наиболее удобна для крейсирования. Кеч сохраняет все преимущества яхты и в то же время приобретает некоторые выгодные качества шхуны. Впрочем, все предыдущее следует принимать cum grano salis [1]). Все это мои собственные теории. Я еще ни разу не плавал на кече и даже не видал ни одного кеча. Теоретически это все для меня неоспоримо. Вот погодите, выйду в открытое море и тогда смогу рассказать подробнее о всех свойствах и преимуществах кеча.

Первоначально предполагалось, что «Снарк» будет иметь сорок футов длины по ватерлинии. Но обнаружилось, что нехватит места для ванны, и поэтому мы увеличили длину до сорока пяти футов. Наибольшая ширина его—пятнадцать футов, и трюма в нем нет. Каюта на носу—бак—занимает шесть футов, и на гладкой палубе ничего нет, кроме двух лестниц и люка. Благодаря тому, что палуба не отягощена каютами, мы будем в большей безопасности, когда многие тонны воды будут обрушиваться на нас через борт в дурную погоду. Широкий, поместительный кубрик под палубой должен был сделать возможно более комфортабельными наши ночи и дни в дурную погоду.

Команды у нас не будет. Вернее, командой будет Чармиан, Роско и я. Мы все будем делать сами. Мы обойдем земной шар, пользуясь собственными силами. Проплывем ли мы благополучно, или потопим наше суденышко—во всяком случае, это все мы сделаем своими руками. Разумеется, у нас будет повар и мальчик для услуг. Зачем

---

1) Cum grano salis (буквально по-латыни—„со щепоткой соли“)—иронически.

нам, в самом деле, торчать у плиты, мыть посуду и накрывать на стол? Это мы могли бы сделать с успехом и дома. Да, наконец, у нас достаточно будет дела по обслуживанию судна. Мне же, кроме того, придется заниматься и своим обычным ремеслом—писать книги, чтобы прокормить всю компанию и иметь возможность покупать новые паруса и канаты для «Снарка» и вообще поддерживать его в полном порядке. А потом у меня есть еще и ферма, и я должен заботиться о том, чтобы виноградник, огород и изгородь процветали в мое отсутствие.

Когда мы увеличили длину «Снарка», чтобы выиграть место для ванной, то оказалось, что у нас еще остается немного свободного пространства, достаточного, чтобы поставить более крупный двигатель. Наш мотор—в семьдесят лошадиных сил, и так как предполагается, что он даст нам девять узлов хода, то значит на всем свете не существует реки, с течением которой мы не могли бы справиться.

Мы собираемся, видите ли, провести много времени внутри материков. Небольшие размеры «Снарка» делают это вполне возможным. При входе в реку паруса у мачты убираются, и пускается в ход машина. Заранее намечены каналы Китая и Ян-Цзы-цзян. Мы проведем на них целые месяцы, если только получим разрешение от правительства. Эти разрешения от правительства, конечно, будут служить постоянным препятствием для внутриматериковых экскурсий. Но зато если мы их получим, мы сможем увидать очень многое.

Когда мы доберемся до Нила, мы отлично можем подняться вверх по Нилу. По Дунаю мы поднимемся до Вены, по Темзе до Лондона, по Сене до Парижа, а там станем на якорь против Латинского квартала, одним концом на Нотр-Дам, а другим на морг. Из Средиземного моря мы поднимемся по Роне до Лиона, пройдем в Сону, из Соны в Марну Бургундским каналом, из Марны опять в Сону и потом опять в море мимо Гавра. А когда переплывем Атлантический океан к Соединенным Штатам, можем подняться вверх по Гудсону, пройти каналом Эри в Большие Озера, выйти из Мичигана у Чикаго, через реку Иллинойс и соединительный канал попасть в Миссисипи и вниз по Миссисипи до Мексиканского залива. А потом еще предстоят большие реки Южной Америки. Одним словом, когда мы вернемся обратно в Калифорнию, мы уже будем знать кое-что из географии.

Люди, строящие себе дома, очень часто приходят в отчаяние от всех хлопот, связанных с этим; но если есть между ними такие, кому нравится напряжение стройки, я посоветовал бы им лучше построить такое судно, как «Снарк». Представьте себе на мгновение, сколько деталей держат вас в постоянном напряжении. Возьмем,

например, мотор. Какой лучше взять?—Двухтактный? Трехтактный? Четырехтактный? Мои губы совершенно измучены и исковерканы невероятными терминами странного жаргона, а мой мозг исковеркан еще более странными и непривычными для него идеями и совершенно отбил себе ноги в этих новых скалистых областях мысли. Теперь—зажигание: что лучше—магнетто или зажигание вспышками?

И дальше: что лучше—сухие батареи или аккумуляторы? Как будто аккумуляторы—но для них нужна динамо; если динамо, то во сколько сил? Но раз уж у нас будут динамо и аккумуляторы, то смешно было бы не осветить судна электричеством. Тогда выдвигается вопрос о количестве лампочек и количестве свечей. Идея сама по себе великолепна. Однако для электрического освещения понадобятся более сильные аккумуляторы, которые в свою очередь потребуют более сильной динамо.

Если же мы зашли так далеко, то почему бы не завести и прожектор? Он был бы нам чрезвычайно полезен. Но прожектор поглощает так много электрической энергии, что когда он будет в действии, всякий другой свет придется выключать. Опять затруднения в поисках более сильных аккумуляторов и более сильной динамо. И когда все как будто выясняется, вдруг кто-то спрашивает: «А что, если мотор вдруг перестанет работать?» Мы чуть не в обмороке. Мы перестаем дышать. Ведь у нас сигнальные огни, огонь у якоря и компас, который должен быть всегда освещен! Наши жизни висят на волоске. Выходим из затруднения: на ряду с электричеством у нас будут простые керосиновые лампы.

Однако с мотором еще не все кончено. Машина сильна. А мы слабы: нас всего двое не очень крупных мужчин и одна маленькая женщина. Мы сломаем себе спины и разобьем сердца, если будем тащить якорь руками. Пусть лучше поработает за нас машина. Тогда возникает вопрос о передаче энергии с машины на ворот. Когда все это окончательно решено, мы начинаем распределять пространство между машинным отделением, кухней, ванной, кают-компанией и отдельными каютами,—и сказка про белого бычка начинается сызнова. Наконец, когда вопрос с мотором выяснен окончательно, я посылаю в Нью-Йорк по телеграфу тарабарщину в роде следующей: «Коленчатую передачу оставить поместите соответственно компрессор главной передачи расстоянии десяти футов шести дюймов передней части маховика ближе корме».

Напряжение при выработке деталей хорошая вещь, но попробуйте-ка потанцовать около вопроса—какая система приводов для рулевого колеса будет лучше; или решить, как закреплять снасти—по-старому талями или по-новому—особыми застежками. Как поместить компас—ровно посредине, против руля, или несколько в

стороне от него. У заправских моряков по поводу всех этих тонкостей имеются целые библиотеки. Потом выдвигается вопрос о хранении газолина, которого будет тысяча пятьсот галлонов; вопрос о лучшей системе огнетушителей на случай его воспламенения. Затем маленькая очаровательная проблема спасательной шлюпки. Когда, наконец, и с этим покончено, вылезает повар с мальчиком для услуг и со всеми прочими кошмарными подробностями. Наше судно очень невелико, и мы будем в нем очень плотно упакованы. Вот почему все ужасы прислуги на суше совершенно бледнеют перед нашим положением. Мы нашли одного боя [1])—и почувствовали после этого невероятное облегчение,—но вдруг бой влюбился и отказался ехать.

Где же тут найти время проштудировать навигацию, если разрываешься между всеми этими неотложными вопросами и необходимостью заработать деньги, чтобы иметь право ставить себе эти вопросы? Ни Роско, ни я, собственно, навигации не знали, а лето уже прошло, скоро мы двинемся; вопросов все больше и больше, сокровищница же наших знаний попрежнему наполнена благими намерениями. Ну, ладно, как-нибудь сойдет: мореплавание изучается годами, а мы оба все-таки были когда-то матросами. Если мы не найдем времени сейчас, мы захватим с собою книги и инструменты в достаточном количестве и будем изучать навигацию в открытом море, между Сан-Франциско и Гавайскими островами.

Есть и еще одна сторона нашего путешествия на «Спарке»—чрезвычайно печальная и даже опасная. Роско является последователем некоего Сойрус Р. Тида, а этот Сойрус Р. Тид придерживается космографии, несколько отличающейся от общепринятой. Роско полагает вместе с ним, что поверхность земли вогнутая и что мы живем на внутренней стороне полой сферы. Таким образом, когда мы с ним будет плыть на одном и том же судне—на «Спарке»,—Роско будет путешествовать вокруг света по внутренней стороне сферы, а я—по внешней. Об этом я впоследствии поговорю подробно. Возможно, что к концу плавания мы договоримся до чего-нибудь. Я даже надеюсь втайне, что мне удастся уговорить его закончить путешествие на внешней стороне, но беда в том, что он в свою очередь надеется в глубине души, что еще до возвращения в Сан-Франциско я окажусь внутри земли. Как это он умудрится протащить меня сквозь земную кору—я не знаю, но только Роско очень способный человек.

P. S. Опять этот мотор! Если уж у нас будет мотор и динамо, и аккумуляторы, то почему бы не завести машины для приготовления искусственного льда? Лед под тропиками! Да ведь это будет

---

[1]) Бой (по-английски)—мальчик.

полезнее для нас, чем хлеб! Лед должен быть... Теперь я погружаюсь в химию: и опять болят мои губы, и опять болят мои мозги, и опять неизвестно, где взять время на изучение навигации...

ГЛАВА II

Непостижимое и чудовищное

— Не жалейте денег,—сказал я Роско.—Пусть на «Снарке» все будет самое лучшее. О внешнем виде не очень заботьтесь. Простые сосновые борта для меня достаточно приятны. Все деньги вкладывайте в конструкцию. «Снарк» должен быть крепким и устойчивым, как ни одно судно в мире. Все равно, чего бы это ни стоило. Вы только смотрите, чтобы оно было крепким и устойчивым, а я буду писать и писать и достану денег, чтобы оплатить все.

И я доставал... доставал, сколько мог, ибо «Снарк» пожирал деньги быстрее, чем я их зарабатывал. В самом непродолжительном времени мне пришлось брать в долг, в дополнение к моему заработку. Иногда я занимал тысячу долларов, иногда две, а иногда и пять. И ежедневно я продолжал зарабатывать—и тратить на «Снарк» все заработанное. Я работал и в воскресенья, никаких праздников у меня не было. Но дело стоило этого. Всякий раз, когда я вспоминал о «Снарке», я думал: для него стоит поработать, стоит.

Милейший читатель, вы должны познакомиться с главными достоинствами «Снарка». Длина его—сорок пять футов по ватерлинии. Доски киля—в три дюйма толщиною. Обшивка—в полтора дюйма. Настилка палубы—в два дюйма. Ни в одной доске нет ни одного сучка,—это я знаю наверное, потому что они специально заказаны в Пюджет-Саунде. Затем у «Снарка» четыре внутренние отделения, непроницаемые для воды,—иначе говоря, он разделен поперек тремя непроницаемыми для воды переборками. Таким образом, если бы даже «Снарк» получил основательную течь, только одно отделение будет залито водой, а три других будут поддерживать его на поверхности. Эти переборки имеют еще одно важное преимущество. В последнем отделении помещается шесть цилиндров с тысячью галлонов газолина. Газолин, как известно, вещь очень опасная на маленьком судне в открытом море. Но если шесть цилиндров, которые, конечно, не текут, помещены в отдельном помещении, герметически изолированы, то опасность, как видите, невелика.

«Снарк»—парусник. Он так и строился, чтобы плыть под парусами. Но случайно, в качестве дополнения, на нем был установлен двигатель в семьдесят лошадиных сил. Двигатель хорош. Я это знаю. И не могу не знать, так как заплатил за его доставку из Нью-Йорка.

На палубе, над машинным отделением помещается ворот. Это чудеснейшая штука. Она весит несколько сот фунтов и занимает не мало места. Вы понимаете,—смешно тащить якорь руками, когда у нас на судне имеется машина в семьдесят лошадиных сил. Мы установили соединенный с приводом мотор, который был специально заказан на чугуннолитейном заводе в Сан-Франциско.

«Снарк» решено было сделать комфортабельным, и денег на это не жалели. Например, ванная. Правда, она не велика, но зато в ней все удобства любой ванной комнаты на суше. Это не ванная, а очаровательный сон о насосах, рычагах, клапанах, кранах и прочих остроумных изобретениях. Ну, зато я лежал ночи напролет с открытыми глазами, обдумывая эту ванную. Недалеко от ванной находятся спасательная шлюпка и моторная лодка. Они помещаются на палубе и отнимают там последнее свободное место. Но ведь это своего рода страхование жизни, и всякий осторожный человек, даже если ему и удастся построить такое крепкое и стойкое судно, как «Снарк», непременно захочет иметь в придачу спасательную лодку. А у нас хорошая шлюпка. Прямо игрушка, а не шлюпка. По смете она должна была стоить сто пятьдесят долларов, а когда дошло дело до платежа, мне пришлось выложить триста девяносто пять. По этому можно, конечно, судить, насколько она хороша.

Я мог бы очень долго перечислять все разнообразные достоинства и добродетели «Снарка», но я воздерживаюсь. Я и так хвастался достаточно, и сделал это с определенной целью, как это станет видно еще до конца этой главы: будьте любезны вспомнить ее заголовок—«Непостижимое и чудовищное». Решено было, что «Снарк» снимется с якоря 1 октября 1906 года. То, что он не снялся—было непостижимо и чудовищно. И, главное, не было никаких веских причин для этого, за исключением разве того, что он не был готов. Но почему он не был готов, на это опять-таки не было никаких разумных оснований. Окончание постройки было обещано к первому ноября, потом к пятнадцатому, потом к первому декабря—но «Снарк» не был готов и к этому сроку. Первого декабря мы с Чармиан покинули нашу милую, тихую Сономскую Долину и переехали в душный, зловонный город—не надолго, конечно, о нет, всего на каких-нибудь две недели—пятнадцатого декабря мы должны были отплыть. В этом не могло быть никаких сомнений, потому что это сказал Роско,—потому что это был его совет—переехать в город за две недели до отплытия. Увы, прошло две недели, прошло четыре недели, прошло шесть недель, прошло восемь недель,—а мы были дальше от момента отплытия, чем когда-либо. Вы ждете объяснений? От кого? От меня? Я не могу их дать. Это единственная вещь в моей жизни, от объяснения которой я просто отвернулся. Да и нет никаких объяснений,

а то я бы, конечно, дал их. Я—работник слова, и я признаю свою полную несостоятельность объяснить словами, почему «Снарк» не был готов. Я уже сказал и должен повторить еще раз—это было непостижимо и чудовищно.

Восемь недель превратились в шестнадцать, и тогда, в один прекрасный день, Роско порадовал нас словами:

— Если мы не выйдем в море первого апреля, можете сделать из моей головы мяч для футбола.

А через две недели он сказал:

— Очевидно, мне придется подготавливать голову для футбола.

— Ну, не беда,—говорили мы с Чармиан друг другу.—Зато подумай, какое это будет удивительное судно, когда оно будет готово!

И тогда, для обоюдного ободрения, мы принимались перечислять все многочисленные и разнообразные достоинства «Снарка». А я опять занимал деньги и опять сидел за письменным столом, писал еще настойчивее и героически отказывался от воскресений и от прогулок за город с друзьями. Я строил судно—и, клянусь вечностью, оно должно быть настоящим судном, из одних заглавных букв—С-У-Д-Н-О,—чего бы это мне ни стоило.

О, я забыл еще одно удивительное качество «Снарка», которым я должен похвастаться,—это устройство его носа. Ни одна волна не могла бы залить такой нос. Он заранее смеется над всеми волнами. Он издевается над океаном. Он бросает океану вызов. И, помимо всего, он красив: его линии—это целая сказка. Я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь какое-нибудь судно могло получить такой красивый и в то же время такой практичный нос. Он был создан для того, чтобы побеждать ураганы. Один взгляд на него убеждал, что ради такого носа все затраты—ничто. И всякий раз, когда наше плавание откладывалось или приходилось делать дополнительные расходы, мы вспоминали об изумительном носе—и успокаивались.

«Снарк»—небольшое судно. Когда я вычислял, что оно обойдется мне самое большее в семь тысяч долларов, я был одновременно и щедр, и рассудителен. Мне приходилось строить амбары и дома, и я знаю, что стоимость постройки всегда имеет склонность выйти далеко за пределы первоначальной сметы. Это я знал, я твердо знал это, когда исчислял предположительную стоимость «Снарка» в семь тысяч долларов. Но он обошелся мне в тридцать тысяч. Прошу вас, не задавайте мне вопросов! Все это именно так. Я сам писал чеки и добывал деньги. Объяснить это невозможно. Непостижимое и чудовищное таким и остается, и вы согласитесь со мной, когда дочитаете мой рассказ.

Потом началась история со сроками. Я имел дело с представителями сорока семи артелей и со ста пятнадцатью различными

фирмами. И ни один рабочий, ни одна фирма из числа всех этих профессиональных рабочих и всех этих фирм не сдали мне работы в заранее условленный срок, и никогда ни для чего не существовало срока, кроме уплаты по счетам и векселям. Все клялись мне бессмертием своей души, что исполнят работу в такой-то срок, но, как правило, после такой клятвы они все опаздывали со сдачей работы не менее чем на три месяца. И мы с Чармиан утешали друг друга разговорами о том, какое чудесное судно «Спарк»—устойчивое и крепкое; мы садились в маленькую лодочку, объезжали вокруг «Снарка» и восхищались его чудесным носом.

— Представь себе,—говорил я Чармиан,—шторм у берегов Китая, «Снарк», лежащий в дрейфе, и его изумительный нос, прорезающий волны. Ни одна капля воды не перекатится через него. Он будет сух, как птичье перо, а мы, пока бушует буря, будем внизу, в каюте, играть в вист.

И Чармиан восторженно сжимала мою руку и восклицала:

— Он стоит всего этого—просрочек, расходов, утомления и всего прочего. В самом деле, что за чудесное судно!

Когда я глядел на нос «Снарка» или думал о его водонепроницаемых переборках, я ощущал прилив бодрости. Но на остальных это не действовало. Мои друзья начали держать пари против различных дат отплытия «Снарка». Мистер Виджет, которому мы поручили следить за нашей усадьбой в Сономе, первый выиграл пари. Он выиграл это пари в день нового тысяча девятьсот седьмого года. Вслед за тем пари посыпались на нас быстро и яростно. Мои друзья набросились на меня, подобно толпе гарпий, держа пари против любого срока отплытия, который я назначал. Я был безрассуден и упрям. Я заключал одно пари за другим, и мне приходилось платить. Жены моих друзей осмелели настолько, что даже те, которые никогда до сих пор не бились об заклад, заключали пари со мною. И им я тоже платил мои проигрыши.

— Это ровно ничего не значит,—сказала мне Чармиан.—Подумай только, какой у «Снарка» нос, и как мы будем лежать в дрейфе в Китайском море.

— Видите ли,—сказал я моим друзьям, рассчитываясь за последнюю партию проигранных пари,—я не думаю ни о неприятностях, ни о деньгах, лишь бы «Снарк» был самым крепким судном, какое когда-либо проходило под парусами через Золотые Ворота. Вот это и заставляло нас постоянно откладывать наше отплытие на неопределенное время.

Между тем издатели, с которыми у меня были заключены договоры, забрасывали меня требованиями объяснить, в чем дело. Но что же я мог ответить им, когда не мог объяснить ничего и самому

себе, и когда никто, даже Роско, ничего не понимал? Газеты стали подсмеиваться надо мной и помещать юмористические куплеты на отплытие «Снарка» с припевами в роде: «Скоро, скоро, только не сегодня!»

Тогда Чармиан поддержала мое падающее мужество, напомнив мне о носе, и я пошел к банкиру и взял еще пять тысяч долларов под векселя.

Однако некоторую награду я получил благодаря этому запозданию. Один из моих приятелей, считающий себя критиком, написал обо мне нечто очень едкое, и не только про то, что я уже сделал, но и про то, что я могу сделать когда бы то ни было; он рассчитывал, что статья выйдет, когда я буду уже в океане. Но когда она вышла, я все еще сидел на берегу, и ему пришлось изворачиваться, придумывая объяснения.

А время шло. С каждым днем становилось очевиднее только одно, а именно, что в Сан-Франциско постройку «Снарка» закончить не удастся. Он так долго строился, что начал разваливаться и изнашиваться, и это изнашивание шло скорее, чем могла итти починка. Он стал некоей притчей во языцех. Никто не относился к нему всерьез, а меньше всего те, кто на нем работал. Тогда я сказал, что пущу его таким, как он есть, и закончу постройку в Гонолулу. После этого он дал течь, которую, конечно, надо было заделать до отплытия. Пришлось ввести его в док. Но во время этой операции его здорово стиснуло между двумя баржами и помяло ему бока. В доке мы поставили его на катки, но когда мы стали его вытаскивать, катки разъехались, и корма увязла в тине.

Теперь он перешел из рук кораблестроителей в руки спасателей поврежденных судов. В сутки бывает два прилива, и во время каждого прилива, днем и ночью, целую неделю напролет, два буксирных парохода тащили «Снарк». А он, искалеченный и разбитый, сидел в тине кормой. Тогда, все еще находясь в том положении, мы решили пустить в дело изготовленную в местной литейной мастерской цепную передачу, через посредство которой можно было пользоваться силой нашего двигателя и нашего ворота. Мы в первый раз прибегали к этому вороту. Но цепь была с изъяном; кольца ее распались, и ворот остался без привода. Вслед за тем семидесятисильный двигатель очутился на холостом ходу. Двигатель этот был заказан в Нью-Йорке; так значилось на дощечке, прикрепленной к его основанию; но основание было тоже с изъяном и семидесятисильная машина отломилась от треснувшего основания, подскочила в воздух, сокрушая все болты и скрепы, и повалилась на бок. А «Снарк» продолжал сидеть в тине, и два буксирных парохода продолжали безуспешно тащить его.

— Ничего,—сказала Чармиан,—зато подумай только, какой он крепкий и устойчивый.

— Да,—сказал я,—и какой у него изумительный нос.

Итак, мы собрались с духом и продолжали начатое. Поломанный двигатель мы привязали к его негодному основанию; разлетевшуюся передачу мы сняли и спрятали отдельно,—все это мы сделали, чтобы после, в Гонолулу, произвести необходимые починки и заказать новые кольца для передачи. Когда-то, в туманной дали времен «Снарк» покрыли белым грунтом, по которому собирались красить его дальше. При внимательном исследовании и теперь еще видны были следы окраски. Но внутри «Снарк» так и не удалось покрасить. Внутри он был покрыт достигавшим толщины нескольких дюймов слоем жира и табачного сока, который оставили все многочисленные рабочие, перебывавшие на нем. Но мы относились к этому спокойно; жир и грязь не трудно счистить, а позже, когда мы доберемся до Гонолулу, можно будет покрасить «Снарк» при его ремонте.

С большим трудом нам удалось стащить «Снарк» с того места, где он застрял, и поставить его у Оклэндской верфи. Мы привезли на телегах из дому всякую утварь, и книги, и одеяла, и багаж наш, и наших служащих. Одновременно с этим лавиной посыпались всякие запасы: дрова и уголь, вода и вместилища для воды, провизия, овощи, масло, спасательная шлюпка, моторная лодка, все наши друзья, все друзья наших друзей и все те, кто почитали себя их друзьями, не говоря уже о некоторых друзьях друзей, дружных с друзьями нашей команды. Были здесь также репортеры и фотографы и совсем посторонние люди, и над всем этим носились облака угольной пыли с верфи.

Было решено, что мы отплывем в воскресенье, в одиннадцать утра. Наступил вечер субботы. И толпа, и угольная пыль на пристани были особенно густы в этот день. В одном кармане у меня была чековая книжка, вечное перо и промокательная бумага; в другом кармане—около двух тысяч долларов золотом и банковыми билетами. Я готов был встретить кредиторов: мелких—наличными, солидных—чеками,—и ждал только Роско, который должен был привезти счета ста пятнадцати фирм, задержавших меня здесь столько месяцев.

И вдруг еще раз совершилось непостижимое и чудовищное. Раньше чем успел приехать Роско, приехал другой. Этот другой был судебным приставом Соединенных Штатов. Он укрепил бумажку на гордой мачте «Снарка», и все на пристани могли прочесть, что на «Снарк» наложен арест за неуплату долгов. Затем судебный пристав оставил «Снарк» на попечении маленького старичка, а сам удалился. Теперь я уже не имел власти над «Снарком» и над его изумительным носом. Теперь его господином и повелителем был маленький

старичок, который любезно разъяснил мне, что, начиная с этого дня, я буду выплачивать ему три доллара ежедневно за то, что он будет господином и повелителем «Снарка». От него я узнал также имя человека наложившего на «Снарк» арест. Это был некто Селлерс, а долг был в двести тридцать два доллара,—долг был не больше, чем можно было ждать от носителя такой фамилии. Селлерс! [1]) Праведные боги! Селлерс!

Но кто был этот Селлерс, чорт возьми? Я заглянул в чековую книжку и нашел, что две недели тому назад уплатил ему пятьсот долларов. Из рассмотрения других чековых книжек обнаружилось, что в течение длительной постройки «Снарка» я выплатил ему несколько тысяч долларов. Так почему, скажите, хотя бы просто из приличия он не представил своего жалкого счета, вместо того чтобы накладывать арест на «Снарк». Я засунул руки в карманы и в одном из них нашел чековую книжку и перо, а в другом золото и бумажки. Там было достаточно денег, чтобы несколько раз оплатить его грошевый счет... Но тогда зачем? Почему? Объяснений не было: это просто было проявление того же непостижимого и чудовищного.

Хуже всего оказалось, что «Снарк» был опечатан в субботу вечером; и хотя я немедленно отправил адвокатов и различных агентов по всему Оклэнду и Сан-Франциско, никого найти не удалось—ни судью, ни судебного пристава, ни мистера Селлерса, ни адвоката мистера Селлерса. Все, решительно все уехали на воскресенье из города. И вот почему «Снарк» не снялся с якоря в воскресенье, в одиннадцать утра. Маленький старичок был на своем посту и сказал—«нет». А мы с Чармиан прогуливались по пристани, восхищались изумительным носом «Снарка» и воображали все штормы и тайфуны, пронзенные этим носом.

— Буржуазная глупая выходка,—говорил я Чармиан по поводу Селлерса и его требований.—Спровоцированный торговый кризис в миниатюре. Но это не беда. Как только мы выйдем в открытое море, все неприятности кончатся.

И мы, действительно, наконец отплыли—во вторник 13 апреля 1907 года. Отплыли без всякого шика, надо сознаться. Якорь нам пришлось тащить руками, потому что передаточный привод оказался никуда негодным. Его пришлось сложить в трюм в качестве балласта, точно так же как и остатки двигателя в семьдесят лошадиных сил. Но это же были пустяки, в конце концов. Все это можно было оборудовать в Гонолулу. Зато остальное было великолепно. Правда, двигатель на моторной лодке отказался действовать, а спасательная шлюпка текла как решето, но в конце концов это все

---

[1]) Sellers (по-английски)— торгаш, купец.

были аксессуары, а не сам «Снарк». «Снарк»—это водонепроницаемые переборки, солидная обшивка, без единого сучка, все приспособления ванной комнаты—вот что такое «Снарк». Но выше всего был, конечно, благородно-пронзительный нос «Снарка», который победно пронзит все ветры и волны.

Мы прошли через Золотые Ворота и повернули на юг, рассчитывая попасть в полосу северо-восточных муссонов. Не успели мы двинуться, как начались приключения. Я сообразил заранее, что для такого путешествия, как наше,—молодость важнее всего, а потому взял с собой целых три молодости—молодость повара, молодость боя и молодость механика. Оказалось, что я ошибся только на две трети. Я забыл, что есть морская болезнь, которую побеждают только старые—привычкой. Как только мы вышли в открытое море, повар и бой забрались на свои койки и были изъяты из употребления на неделю. Из вышеизложенного ясно, что мы были лишены горячей пищи и должной чистоты и порядка в каютах и на палубе. Но это нас не слишком огорчило, потому что как раз в это же время мы сделали открытие, что ящик с апельсинами где-то и когда-то промерз; что яблоки заплесневели и загнили; что корзина капусты была доставлена уже в гнилом виде и подлежала немедленному удалению за борт; что в морковь попал керосин, брюква была как дерево, а свекла испорчена; что растопки трухлявые и гореть не будут; что уголь, доставленный в дырявых мешках из-под картофеля, рассыпается по палубе и смывается водой.

Но в конце концов это тоже пустяки—детали, аксессуары, не больше. Все дело в самом судне, а оно, как вы знаете, было прекрасно... Я прошелся по палубе и меньше чем в минуту насчитал четырнадцать сучков в ее великолепной настилке, заказанной специально в Пюджет-Саунде с тою целью, чтобы сучков в ней не было. Естественным следствием было то, что палуба протекала—здорово протекала. Роско принужден был покинуть свою койку, инструменты в машинном отделении заржавели, не говорю уже о провизии, испорченной соленой водой в кухне. Точно так же протекали бока «Снарка», и точно так же протекал киль «Снарка», и мы должны были выкачивать воду каждый день, чтобы не пойти ко дну. Пол кухни у нас фута на два выше остального килевого помещения, но когда я забрался в кухню, чтобы поискать чего-нибудь съедобного, то промочил ноги до колен—и это через четыре часа, после того как вся вода была старательно выкачана!

А наши пресловутые водонепроницаемые переборки, на которые было ухлопано столько времени и денег, оказались, увы, вполне проницаемыми. И вода, и воздух совершенно свободно передвигались из одного отделения в другое: благодаря этому я во-время услышал

запах газолина из соседнего отделения и сообразил, что один или несколько из запертых там цилиндров—текут. Итак, цилиндры текли и не были герметически изолированы от остального судна. Наконец, если уж говорить о ванной и всех ее приспособлениях, то придется констатировать, что все ее усовершенствованные краны и рычаги пришли в негодность в первые же двадцать часов путешествия. Прочнейшие железные ручки сломались начисто у нас под рукой при первой попытке взять душ. Таким образом, ванная оказалась самой неудачной частью «Снарка».

И все металлические части «Снарка», откуда бы они ни были, никуда не годились. Основание двигателя, например, было из Нью-Йорка, и оно никуда не годилось; цепь для передачи у ворота была из Сан-Франциско, и она тоже никуда не годилась. Наконец, кованое железо, входившее в такелаж, разлеталось по всем направлениям при малейшем напоре. Представьте себе—кованое железо, а оно разлеталось как лапша!

Собачка у грот-гафеля сломалась сразу же. Мы заменили ее собачкой с трисель-гафеля [1]), и вторая собачка сломалась, не прослужив и четверти часа, а ее—подумайте только!—мы взяли с гафеля штормового триселя, от крепости которого зависела наша жизнь в случае шторма. В настоящее время грот «Снарка» болтается, как сломанное крыло, оттого, что собачку гафеля мы заменили простой веревкой. Попытаемся добыть доброкачественное железо в Гонолулу.

Люди обманули нас и отправили по морю в решете, но господь бог, очевидно, был сильно привязан к нам, потому что погода стояла все время тихая и прекрасная, и мы на свободе могли убедиться в том, что, во-первых, воду надо откачивать каждый день—если не хотим потонуть,—и в том, во-вторых, что разумнее будет доверять крепости деревянной зубочистки, чем самой объемистой части нашего судна. И вот по мере того, как на наших глазах делалась призрачной прочность и непоколебимость «Снарка», мы с Чармиан старались перенести всю силу своего упования на его дивный нос. Ничего другого нам и не оставалось, очевидно. Все остальное было непостижимо и чудовищно,—это мы знали,—но, по крайней мере, нос был определенной реальностью. И вот однажды вечером мы решили лечь в дрейф.

Как рассказать мне это? Прежде всего, в интересах профанов, позвольте мне разъяснить, что значит на языке моряков «лечь в дрейф». Это значит уменьшить площадь парусов до последней возможности и так их скомбинировать, чтобы, поставив судно носом

---

[1]) Трисель-гафель—шест, идущий наклонно от нижней части мачты для прикрепления косого четырехугольного паруса.

против ветра, получить почти полную неподвижность судна. Если ветер слишком силен или волны слишком высоки, то для судна таких размеров, как «Снарк», лечь в дрейф—самый спокойный и самый легкий маневр,—и тогда на палубе нечего делать. Можно даже снять рулевого и вахтенного. Все могут итти вниз и лечь спать или, по желанию, играть в вист.

Так вот однажды, когда ветер переходил в небольшой шторм, я сказал Роско, что мы ляжем в дрейф. Наступил вечер. Я стоял на руле почти целый день, вахта на палубе (то-есть Роско, Берт и Чармиан) устала, а вахта внизу лежала, по обыкновению, со своей морской болезнью. Мы еще раньше уменьшили паруса. Теперь убрали и бизань. Я повернул руль, чтобы лечь в дрейф. «Снарк» в это время попал в «корыто», то-есть находился между волнами, боком к ним. Он так и остался. Я повернул колесо на несколько румбов и еще на несколько. Он даже не двинулся. Такое корыто, милый читатель, самое опасное из всех положений судна. Я двинул колесо вниз что было силы, но «Снарк» продолжал стоять по-своему. Роско и Берт, ухватившись за снасти, возились с гротом. Но «Снарк» попрежнему стоял в корыте боком, черпая воду то одним бортом, то другим.

Непостижимое и чудовищное опять высунуло свою отвратительную морду. Это было в конце концов просто комично и нелепо. Я положительно не верил своим глазам. Судно с убранными парусами отказывалось лечь в дрейф! Мы опять ставили паруса и опять их переставляли. «Снарк» попрежнему стоял боком. Этот его знаменитый нос отказывался стать против ветра.

Убрали, наконец, все паруса и оставили только штормовой трисель на бизани. Если что-либо могло заставить «Снарк» повернуться носом против ветра, то именно это. Боюсь, что вы не поверите мне, если я скажу вам, что этого не случилось, но смею уверить вас, этого действительно не случилось. Я видел своими глазами. Я сам не верю, но это так. Это невероятно, но я рассказываю вам не о том, во что я верю или не верю,—я рассказываю вам о том, что я видел.

Теперь, миленький читатель, что стали бы вы делать, очутившись на небольшом судне, которое качается в корыте, с триселем, неспособным повернуть это судно к ветру? Вы бросили бы штормовой якорь. Мы так и сделали. У нас был патентованный штормовой якорь, который нам продали с гарантией за то, что он не утонет. Представьте себе стальной обруч, который держит открытым отверстие большого, конической формы, холщевого мешка, и вы поймете, что такое штормовой якорь. Итак, мы прикрепили канат одним концом к якорю, а другим к носу «Снарка» и бросили якорь в воду.

Он быстро затонул. Мы вытащили его обратно, привязали к нему толстое бревно в качестве поплавка и снова бросили его в воду. На этот раз он остался на поверхности воды. Трисель толкал нос «Снарка» стать против ветра, но «Снарк» потащил якорь за собой и продолжал качаться в корыте. Мы убрали трисель, подняли бизань, потом снова убрали ее, но «Снарк» все продолжал оставаться в корыте и тащил за собой якорь. Можете не верить мне. Я сам не верю этому. Я только рассказываю вам, что видел.

Теперь предоставляю все на ваш суд. Слыхали вы когда-нибудь о паруснике, который не хочет лечь в дрейф? Не хочет лечь в дрейф, когда сброшен штормовой якорь! Я, по крайней мере, никогда не слыхал. Я стоял на палубе и смотрел прямо в глаза непостижимому и чудовищному, то-есть «Снарку», который не ложился в дрейф. Наступила бурная ночь. Облака неслись через луну. Воздух был полон водяной пыли, с наветренной стороны надвигался дождь. А мы попрежнему были в корыте между двумя волнами, в холодном, безжалостном корыте,—освещенном лунным светом корыте, в котором «Снарк» переваливался с боку на бок с очевидной приятностью для себя. Тогда мы опять поставили бизань, вытащили штормовой якорь, повернули «Снарк» по ветру и спустились вниз—но не за горячим ужином,—скользя по чему-то липкому и скверному на полу каюты, где трупами лежали повар и бой, легли, не раздеваясь, на койки и слушали, как переливается по полу в кухне вода.

В Сан-Франциско имеется Богемский клуб, а в нем бывает много заправских моряков. Я это знаю точно, потому что слышал, как они разбирали «Снарк» во время постройки. Они находили в нем только один существенный недостаток—и в этом они все были согласны между собою,—они говорили, что он не пойдет в ветер. Судно хорошее и в целом, и в деталях,—говорили они,—только не пойдет. «Такая уж линия!—объяснили они загадочно.—Все дело в линии. Просто не пойдет в ветер—только и всего». Ладно, очень бы я хотел, чтобы эти заправские моряки из Богемского клуба были у меня на «Снарке» в эту ночь! Чтобы они собственными и собственнейшими глазами убедились, как их единое, опытом добытое, единогласно принятое мнение полетело вверх тормашками. Не пойдет в ветер? Да это единственное, кажется, что «Снарк» делает в совершенстве. Не пойдет? Да он летит, несмотря на сброшенный якорь и убранные паруса. Не пойдет? Вот в ту самую минуту, когда я пишу эти строки, мы мчимся со скоростью шести узлов в час. На руле—никого, и колесо штурвала даже не привязано. И однако находятся люди, плававшие по морю лет по сорока, которые утверждают, что ни одно судно не может итти по ветру без руля. Когда они прочтут эти строки, они, конечно, назовут меня лгуном;

так же точно говорили они и о капитане Слокуме, который рассказывал то же о своем судне «Спрэй».

Что касается будущности «Снарка», я теряюсь, я сейчас ничего не знаю. Будь у меня деньги или кредит, я построил бы другой «Снарк», который непременно ложился бы в дрейф. Но мои средства на исходе. Мне приходится принимать нынешний «Снарк», каков он есть, или бросать все,—а я не могу бросить все. По-моему, мне следует теперь попытаться заставить «Снарк» лечь в дрейф кормой вперед. Я жду следующего шторма, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я думаю, что это может быть сделано. Все зависит от того, как хорошо его корма выносит волны. И кто знает, не будет ли бурным утром в Китайском море какой-нибудь седобородый шкипер протирать себе глаза и глядеть на зрелище, которое представляет небольшое суденышко, очень похожее на «Снарк», лежащее в дрейфе кормой вперед.

P. S. Вернувшись по окончании нашего плавания в Калифорнию, я узнал, что длина «Снарка» по ватерлинии равнялась не сорока пяти, а сорока трем футам. Его строители были, повидимому, не в ладах с рулеткой или двухфутовой линейкой.

ГЛАВА III

Жажда приключений

Нет, авантюризм еще жив, назло паровым двигателям и конторке Кука и К°. Когда появилась в печати заметка о предполагаемом мною путешествии на «Снарке», то молодых людей со «склонностью к бродячей жизни» оказалось чуть не легион, а также и молодых женщин—не говорю уже о мужчинах и женщинах более пожилого возраста, предлагавших себя мне в спутники. Да что говорить, даже между моими личными друзьями нашлось около полудюжины очень сожалевших о недавно состоявшихся или предстоящих в скором времени браках. А один из таких браков—это я знаю наверное—чуть было не расстроился—и все из-за «Снарка».

С каждой почтой я получал груды писем от избранных натур, задыхающихся в «копоти и вони городов», и я скоро был раздавлен истиной, что Одиссею двадцатого столетия нужно иметь в распоряжении целый корпус стенографисток, чтобы справляться со своей корреспонденцией. Нет, авантюризм, конечно, не умер, раз вы можете получать письма, начинающиеся, например, так: «Несомненно, что когда вы прочтете эту жалобу души одной иностранки, попавшей в Нью-Йорк...», а дальше вы узнаете из этого письма, что эта

иностранка весит лишь девяносто фунтов, хочет быть мальчиком для услуг и жаждет посмотреть белый свет и поплавать по морям.

У одного из претендентов оказалась «страстная любовь к географии»; другой писал—«надо мной тяготеет проклятие вечной тоски по вечному движению—отсюда и письмо к вам». Но лучше всех был один парень, который хотел ехать, потому что у него «очень уж зачесались ноги».

Некоторые писали анонимно, выставляя кандидатами своих друзей и давая этим так называемым друзьям самые лестные характеристики, но мне в таких письмах мерещилось всегда что-то подозрительное и даже роковое, и я их обычно до конца не дочитывал.

За исключением двоих или троих, все сотни моих волонтеров были вполне искренни. Очень многие прислали фотографические карточки. Девяносто процентов соглашались на какую угодно работу, девяносто девять предлагали работать без вознаграждения. «Только присутствовать при вашем путешествии на «Снарке»,—писал, например, один,—только сопровождать вас, невзирая ни на какие опасности и исполняя любую работу—было бы кульминационным пунктом моих честолюбивых мечтаний». Это мне напоминает еще одного юношу, который пространно излагал мне, что ему семнадцать лет отроду и что он «крайне честолюбив», а в конце письма очень серьезно просил, чтобы все это осталось между нами и не было помещено ни в газетах, ни в журналах. Были письма в другом стиле, например: «Буду работать, как чорт, а платы не нужно». Почти все просили меня сообщить о моем согласии по телеграфу, за их счет, и многие предлагали внести залог, гарантирующий их своевременное появление на «Снарке».

Некоторые довольно своебразно представляли себе работу на «Снарке»; так, например, один писал: «Я взял на себя смелость написать вам, чтобы выяснить, не представится ли какой-нибудь возможности поступить в команду вашего судна для изготовления эскизов и иллюстраций». Другие, не имея, очевидно, ни малейшего представления о миниатюрных размерах «Снарка» и его потребностях, предлагали себя, как выразился один из них, «чтобы оказывать помощь по сбору материалов для ваших романов и повестей». Вот до чего может довести страстное желание утилизировать себя во что бы то ни стало.

«Позвольте мне самому дать свою характеристику,—пишет один.—Я сирота и живу с дядей, ярым революционером и социалистом, который утверждает, что человек, в жилах которого нет любви к приключениям, просто тряпка».

Другой пишет: «Я умею плавать, хотя и незнаком со специальными приемами плавания. Но вода—моя стихия, а это самое

важное». «Если бы меня посадили одного в парусную лодку, я смог бы отправиться куда угодно»,—писал о себе третий—и характеристика эта была много лучше нижеследующей: «Я видел также, как разгружались рыбачьи суда». Но высшей награды достоин, вероятно, тот, который тонко подчеркнул глубокое знание мира и жизни, сказав: «Мой возраст, считая только годы,—двадцать два года.

Были также простые, неприкрашенные, по-домашнему искренние письма мальчиков, которые, «правда, не умеют красно выражаться. но очень хотят путешествовать». Отклонять эти просьбы было труднее всего, и всякий раз, когда приходилось делать это, мне казалось что я даю пощечину юности. Они были так искренни, эти мальчики, и так ужасно хотели уйти в море. «Мне—шестнадцать, но я широк в плечах»,—писал один; «мне—семнадцать, но я крепкий и здоровый»,—писал другой. «Я во всяком случае не менее силен, чем средний мальчик моего роста»,—писал, очевидно, слабенький мальчик. «Не боюсь никакой работы»,—говорили многие, а один, рассчитывал, очевидно, соблазнить меня экономией, предлагал оплатить свой проезд через Тихий океан, что «очевидно, будет для вас удобно». «Объехать вокруг света—одно единственное мое желание»,—говорил один, не подозревая, что это было «одним единственным» желанием еще нескольких сотен мальчиков. «Никому на свете нет дела до того, уеду я или останусь»,—патетически восклицал какой-то мальчуган. Один прислал фотографию, говоря по поводу нее следующее: «На вид я домосед, но внешность бывает обманчива». «Мне девятнадцать лет, и я не высок, а следовательно, не займу много места, но я вынослив как дьявол»,—писал еще один, и я уверен, что этот оказался бы вполне пригодным. И, наконец, был один претендент тринадцати лет, в которого мы оба с Чармиан совершенно влюбились, и наши сердца чуть не разбились от горя, когда надо было послать ему отказ.

Но не подумайте, что большая часть моих добровольцев были мальчиками,—наоборот, мальчики составляли только небольшую часть Большая же часть состояла из мужчин и женщин всех возрастов и положений. Врачи, хирурги, дантисты предлагали себя в огромном числе и, как все профессионалы, предлагали работать даром и даже согласны были заплатить за счастье служить на «Спарке».

Наборщикам и репортерам, желавшим ехать, не было конца, не говоря уже об опытных слугах, дворецких и экономах. Гражданские инженеры пылали желанием поехать; дамы-компаньонки так и осаждали Чармиан, а меня осыпали предложениями лица, желавшие быть моими личными секретарями. Многие студенты высших учебных заведений мечтали о нашем путешествии, и не было такой профессии,

которая не имела бы нескольких представителей среди желавших отправиться с нами,—машинисты, электро-механики были особенно многочисленны. Меня поразило количество служащих в конторах стряпчих и нотариусов, которые услышали призыв к приключениям, и меня еще больше удивило количество отставных и состарившихся морских офицеров, до сих пор очарованных морем. Многие молодые люди, ожидающие получения миллионных наследств, пылали страстью к приключениям точно так же, как многие провинциальные школьные учителя.

Отцы хотели путешествовать с сыновьями, мужья с женами, и стенографы с пишущими машинками. Одна юная стенографистка писала: «Пишите немедленно, если я вам нужна. Приеду с машинкой первым же поездом». Но лучше всего, кажется, было следующее письмо (обратите внимание, как деликатно он устраивал на «Снарк» свою жену): «Мне показалось, что очень правильно будет черкнуть вам несколько слов, чтобы осведомиться, нельзя ли поехать с вами; мне двадцать четыре года, я женат, недавно лишился места, и такая поездка очень бы подошла нам в настоящую минуту».

Если вы подумаете надо всем этим, то, вероятно, так же как и я, придете к заключению, что среднему человеку в высшей степени трудно написать о себе самом честное рекомендательное письмо. Один из моих корреспондентов был до того смущен предстоящей ему задачей, что начал письмо словами: «Трудная это задача—писать о самом себе», и после нескольких неудачных попыток закончил письмо: «Нет, трудно писать о себе».

Однако нашелся один, который написал очень пылкую и пространную свою собственную характеристику, очевидно, сам упиваясь ею. Вот его письмо: «Подумайте только: юнга, который может смотреть за двигателем, может исправить его, когда он испортится, может стоять у руля, может выполнять всякую плотничью работу или работу механика. Сильный, здоровый, работящий. Неужели вы не предпочтете его младенцу, который заболеет морской болезнью и способен только на то, чтобы мыть тарелки?» На такие письма мне всего труднее было отвечать отказом. Автор этого письма самоучкой научился по-английски, только два года жил в Соединенных Штатах, и, как он сам писал, «я хочу отправиться с вами не для того, чтобы зарабатывать насущный хлеб, а чтобы учиться и видеть». В то время как он писал мне, он был чертежником на одном крупном заводе; он прежде плавал на море и всю свою жизнь имел дело с небольшими судами.

«У меня хорошая служба, но это не имеет для меня никакого значения, я предпочитаю путешествовать,—писал другой.—Что касается вознаграждения, взгляните на меня, и если я достоин доллара

или двух—прекрасно, а если нет—нечего говорить об этом. Что до моей честности и характера, я с удовольствием свел бы вас с моими хозяевами. Не пью, не курю, но, правду сказать, хотел бы, набравшись немного опыта, написать что-нибудь».

«Могу заверить вас, что я вполне порядочный человек, но нахожу скучными порядочных людей». Написавший это заставил меня задуматься, и я до сих пор не знаю, находит ли он меня скучным, или нет, или что он вообще хотел сказать этим, чорт побери!

Но готовность самопожертвования у того, который написал нижеследующее, была так велика, что я не мог согласиться на нее: «У меня есть отец, мать, братья и сестры, друзья и хорошая служба, но я готов пожертвовать всем этим, чтобы стать одним из вашей судовой команды».

Другой претендент, принять которого я тоже никак не мог решиться, был юный щеголь; чтобы доказать мне, что я должен его взять с собой, он говорил в своем письме: «Отправиться на обыкновенном судне, будь то шхуна или пароход, было бы непрактично, оттого, что мне пришлось бы иметь дело с обыкновенными моряками, а их жизнь не совсем чистоплотна».

Был там еще молодой человек двадцати шести лет, который «прошел через гамму человеческих чувств» и побывал всем, от повара до слушателя Стэнфордского университета», и который в то время, как он писал это письмо, был «вакеро на площади в пятьдесят пять тысяч акров». Не в пример ему, другой был чрезвычайно скромен и писал: «Не знаю за собой каких-либо особых качеств, которые могли бы привлечь на меня ваше внимание. Но если вы заинтересуетесь мною, не откажите потратить несколько минут на ответ. Иначе мне придется продолжать работать на заводе. Не ожидая ничего, а только надеясь, остаюсь и проч.». Но я долго сжимал обеими руками голову, стараясь представить себе, какое духовное сродство существовало между мною и тем, кто писал мне: «Задолго до того, как я услыхал про вас, я соединил воедино политическую экономию и историю и сделал таким образом конкретными многие из ваших выводов».

А вот одно из лучших писем по краткости: «Если кто-нибудь из команды, подписавший с вами условие, простудится, промочив ноги, например, и вам понадобится еще кто-нибудь, знающий мореплавание, моторы и проч., мне будет приятно, если вы обратитесь и т. д.». Вот еще одно краткое письмо: «Бью в центр—хочу быть мальчиком для услуг или вообще чем-нибудь в вашей кругосветной поездке. Американец, девятнадцати лет, весу сто сорок фунтов».

Вот недурненькое письмо от человека «чуть-чуть подлиннее пяти футов»: «Когда я прочел о вашем мужественном решении обойти

вокруг света на небольшом судне вместе с миссис Лондон, я до того обрадовался, что мне показалось даже, что это я сам выдумал такое путешествие, и вот я решил написать вам относительно должности для меня самого, повара или слуги. По некоторым причинам я этого не сделал, а поехал из Оклэнда в Денвер войти компаньоном в дело моего друга—это в прошлый месяц, то-есть,—но у него дело идет все хуже и хуже, и вообще не везет. Но, к счастью, вы отложили отъезд по случаю Великого Землетрясения, и я в конце концов решился предложить вам свои услуги на какую-нибудь должность. Я не очень силен, так как ростом я чуть-чуть длиннее пяти футов, но все же я хорошего здоровья и таких же способностей».

«Полагаю, что мог бы сделать к оборудованию вашего судна полезное добавление в виде изобретенного мною приспособления для полной утилизации силы ветра,—писал один доброжелатель.—Приспособление это не мешает при обычном маневрировании в легкий ветер и в то же время дает вам возможность использовать полностью силу самых бешеных шквалов, так что даже в тех случаях, когда обычно приходится убирать все паруса до последнего клочка,—вы сможете, благодаря моему приспособлению, не убирать их вовсе. Кроме того, это полезное добавление не дает судну перевернуться».

Предыдущее письмо было написано в Сан-Франциско и помечено 16 апреля 1906 года. Через два дня произошло большое землетрясение. Оно заставило, очевидно, бежать моего корреспондента, и мне не пришлось с ним встретиться.

Многие из моих братьев-социалистов возражали против моего желания отправиться в плавание, и особенно типично следующее возражение: «Идея социализма и миллионы угнетенных жертв капитализма имеют право на вашу жизнь и работу и требуют их. Если, тем не менее, вы будете упорствовать, вспомните, когда вы, утопая, будете глотать последний в вашей жизни глоток соленой воды, что мы протестовали против вашего поступка».

Один много слонявшийся по свету человек, который «мог бы при случае рассказать немало необычайных сцен и событий», потратил несколько листов бумаги, изо всех сил стараясь добраться до цели своего письма, и, наконец, изрек следующее: «До сих пор я ничего не сказал о цели моего письма. Скажу прямо: я прочел, будто вы и еще одно или два лица намерены совершить кругосветное плавание на небольшом паруснике, длиной футов в пятьдесят или шестьдесят. Не могу поверить, чтобы человек вашего ума и опыта мог решиться на поступок, который есть не что иное, как особый вид самоубийства. И даже если бы вы случайно уцелели,—и вы сами, и ваши спутники,—вы будете совсем разбиты непрекращающейся качкой

судна столь малых размеров, даже если бы оно было обито войлоком, что вовсе не принято на море». Однако этот благожелатель невольно касается моря. Он сам говорит о себе: «Я не пресноводный моряк, я плавал по всем морям и океанам». Он заканчивает следующими словами: «Не желая обидеть вас, скажу, что безумием было бы выйти из залива в открытое море на подобном судне, имея на борту женщину».

И все же в то самое мгновение, как я пишу это, Чармиан сидит в капитанской каюте за пишущей машинкой, Мартин готовит обед, Точиги накрывает на стол, Роско и Берт чистят палубу, и «Снарк» плывет со скоростью пяти узлов в час по волнам,—а «Снарк» не обит войлоком внутри.

«Прочитав в газетах о вашем предполагающемся путешествии, мы хотели бы узнать, не нужна ли вам хорошая команда; нас здесь шестеро молодых людей, хороших моряков, с хорошими рекомендациями с военных и частных судов; все мы настоящие американцы в возрасте от двадцати до двадцати двух лет,—служим в настоящее время в Объединенном Обществе Металлических Изделий в качестве мастеров по такелажу и очень хотели бы отправиться в плавание с вами».

Подобные письма частенько заставляли меня жалеть, что мое судно так мало.

А вот письмо женщины, единственной в мире женщины, пригодной для путешествия—исключая, очевидно, Чармиан: «Если вам не удалось еще заполучить повара, мне было бы очень приятно совершить с вами путешествие в этой должности. Мне пятьдесят лет, я женщина здоровая и вполне могу справиться со стряпней на такую небольшую компанию, как компания вашего «Снарка». Я—отличный повар и такой же отличный моряк. Что же касается продолжительности поездки, то десять лет для меня приятнее, чем один год. Рекомендации мои и т. д.».

Когда-нибудь, если мне удастся заработать кучу денег, я построю большую шхуну, вместимостью на тысячу добровольцев, чтобы обойти вокруг света.

Им придется самим исполнять «всякую работу безразлично»—как они, впрочем, и желают—или оставаться дома. И я нисколько не сомневаюсь, что они поедут, ибо авантюризм еще не умер; это мне доподлинно известно, потому что я сам состоял с ним в длительной и интимной переписке.

ГЛАВА IV

Ощупью в океане

— Но, послушайте,—протестовали друзья,—как же вы, однако, решаетесь пуститься по морю, не имея на борту ни одного опытного моряка? Вы же не учились управлять судном?

Мне пришлось признаваться, что не учился, что за всю жизнь я не брал ни разу в руки секстанта [1]) и что, пожалуй, даже не отличу его от альманаха по мореплаванию. А когда они спрашивали, моряк ли Роско, я покачивал головой. Роско обижался. Он просмотрел «Справочник», купленный для путешествия, умел пользоваться логарифмическими таблицами, видел секстант несколько раз и на основании всего этого, а также наличности плававших по морю предков, он считал себя опытным моряком. Но Роско ошибался, уверяю вас. Когда он был еще мальчиком, он приехал в Калифорнию с Атлантического побережья через Панамский канал—и это был единственный раз в его жизни, когда земля скрылась из его глаз. Он никогда не был в морском училище и никогда не сдавал экзамена по навигации; никогда также не приходилось ему плавать в открытом море, а следовательно, он ничему не мог выучиться у других моряков. Он был членом яхт-клуба в заливе Сан-Франциско, где нельзя удалиться от берега больше чем на несколько миль, и где искусство навигации не может быть применено.

Итак, «Снарк» пустился в путь без опытного моряка. Мы прошли Золотые Ворота 23 апреля и направились на Гавайские острова, лежащие на расстоянии двух тысяч ста морских миль по прямому направлению. Результат был нашим лучшим оправданием. Мы приплыли к Гавайским островам, и даже без неприятностей, как вы увидите, то-есть без серьезных неприятностей.

Управлять судном взялся Роско. С теорией он был знаком как нельзя лучше, но он впервые применял ее на деле, и это явствовало из странного поведения «Снарка». Нельзя сказать, чтобы «Снарк» был очень устойчив на воде; вензеля, которые он выписывал, отмечались на карте. Однажды, когда дул легкий бриз, он сделал на карте скачок, означавший «сильный шквал», а в другой раз, когда он быстро рассекал воды, он едва двинулся вперед по карте. Но если судно делает, при точной проверке лагом [2]), в течение двадцати

---

[1]) Секстант—угломерный инструмент, употребляемый для разных измерений, главным образом, в морском деле для измерения положения небесных светил.

[2]) Лаг—снаряд для определения скорости движения судна; состоит из сектора на длинной веревке (ланглинь), бросаемого в воду. По разматывающейся веревке судят о быстроте хода.

четырех часов по шесть узлов в час, это значит, что оно прошло сто сорок четыре морских мили. Море было в порядке и патентованный лаг также, а что до скорости, всякий мог видеть ее своими глазами. Поэтому все дело было только за вычислениями, которые не хотели двигать «Снарк» вперед по карте. Это случалось не каждый день, но все же это случалось. И это было вполне естественно, и ничего другого нельзя было ожидать от первой попытки применить теорию на практике.

Приобретение знаний в науке мореплавания имеет стройное действие на людские умы. Моряк говорит об этой науке с глубоким почтением. Профану она кажется непостижимой и страшной тайной; это вызывается в нем преклонением самих моряков перед наукой мореплавания. Я знавал искренних и скромных молодых людей, приступавших к изучению мореплавания и внезапно становившихся скрытными, подозрительными и самоуверенными, как будто бы они приобретали глубочайшие познания. Самый средний моряк кажется профану пророком какого-то таинственного культа. Затаив дыхание, любитель-моряк приглашает вас взглянуть на свой хронометр. Поэтому-то наши друзья испытывали такой страх, когда мы отправились в путь без моряка-специалиста.

Когда «Снарк» еще строился, мы с Роско заключили приблизительно такое условие: «Я поставляю книги и инструменты,—сказал я,—а вы изучаете навигацию. Мне сейчас совершенно некогда. А когда мы выйдем в открытое море, вы научите меня всему, что изучили». Роско был в восторге. Надо сказать, что в то время Роско был искренним, горячим и скромным, как те молодые люди, о которых я писал выше. Но когда мы вышли в открытое море, и он стал проделывать манипуляции таинственного ритуала[1]), на которые я смотрел, благоговейно затаив дыхание,—едва уловимая, но в то же время вполне определенная перемена произошла в нем. Когда он в полдень определял высоту солнца, на него как бы нисходил сияющий нимб[2]) подвига. Когда он, спустившись вниз и закончив вычисления, поднимался снова на палубу и объявлял нам широту и долготу, его голос звучал повелительно, что было для всех нас положительной новостью.

Но это было еще не самое худшее. Знания, наполнявшие Роско, оказались такого свойства, что их никак нельзя было передать кому

---

[1]) Манипуляция — совокупность ручных приемов для достижения той или иной цели. Ритуал (первоначальное значение) — совокупность церковных обрядов; вообще — церемониал.

[2]) Нимб — блестящий кружок, которым античные художники окружали изображения героев и богов. В христианской иконографии — сияние вокруг головы „святого“.

бы то ни было. И по мере того, как он проникал в таинственные причины странных прыжков «Снарка» по карте, и по мере того, как эти прыжки выравнивались,—знания его становились все более священными, таинственными и непередаваемыми. Мои ласковые намеки на то, что, пожалуй, время как раз подходящее, чтобы и мне чему-нибудь поучиться, никогда не встречали с его стороны сердечной и радостной готовности помочь мне. Ни малейшего желания выполнить договор у него не замечалось.

Роско, собственно, не был виноват,—что он мог сделать? Он шел по дороге всех людей, которые до него когда-либо изучали навигацию. Благодаря вполне естественной и простительной переоценке ценностей, плюс неуменье ориентироваться в новой научной дисциплине, он был раздавлен воображаемой ответственностью и чувствовал себя обладателем почти божественного могущества. Всю жизнь Роско провел на земле или в виду земли. Благодаря этому вокруг него всегда было достаточно всяких знаков, чтобы правильно—за редкими исключениями—передвигать свое тело по поверхности земли. Теперь он очутился в открытом море, в широко-раскинувшемся море, ограниченном только вечным кольцом неба. Это кольцо неба было всегда одно и то же. Никаких вех и знаков кругом не было. Солнце поднималось с востока и опускалось на западе, а ночью звезды описывали тот же полукруг. И кто, казалось, мог бы, посмотрев на солнце и звезды, сказать: «Я нахожусь сейчас в трех четвертях мили к западу от бакалейной лавки Джонса на Смизерсвилле», или: «Я отлично знаю, где я нахожусь сейчас, так как Малая Медведица говорит мне, что Бостон отсюда лежит в трех милях, второй поворот направо». А Роско именно это и говорил. Сказать, что он был ошеломлен своим могуществом—это еще слишком слабо. Он преклонялся перед самим собою; он творил изумительное дело. Акт, посредством которого он находил свое положение на поверхности океана, стал для него священнодействием, и он считал себя по отношению ко всем нам, не участвующим в священнодействии, существом высшего порядка, тем более что мы зависели от него, были его стадом, которое он пас на волнующемся, безграничном пространстве—на соленой дороге между двумя континентами, на которой не было никаких верстовых столбов. Управляясь с секстантом, он приносил жертвоприношение богу солнца, затем рылся в древних фолиантах, разбирая кабалистические [1]) знаки, бормотал про себя заклинания на каком-то непонятном языке, в роде

---

[1]) Фолианты — толстые, объемистые книги. Кабалистический (от еврейского слова „Кабалла") — загадочный, волшебный.

индексроюпараллаксрефракция [1]), писал магические знаки, что-то вычислял и, наконец, ставил палец на подозрительное пустое место священной карты и заявлял: «Мы здесь». Когда мы смотрели на подозрительное пустое место и спрашивали: «А где это, собственно?»—он отвечал на цифровом жаргоне высших священнослужителей: «31—15—47 северной, 133—5—30 западной» [2]). И тогда мы говорили: «О-о!»—и чувствовали себя совсем ничтожными.

Повторяю, Роско не был виноват. Он, и правда, был почти богом, потому что нес всех нас в горсточке своей руки через пустые пространства карты. Я питал к Роско необыкновенное почтение; оно было столь глубоко, что если бы ему вздумалось приказать: «Пади ниц и поклонись мне!»—я, наверное, немедленно шлепнулся бы на палубу и заплакал. Но однажды маленькая мысль шевельнулась у меня в голове: «Пожалуй, это не бог; это просто Роско,—такой же человек, как и я сам. И что может сделать он, то могу и я. Кто учил его? Он сам учился. Нужно поступать точно так же—быть своим собственным учителем». И Роско слетел с пьедестала и перестал быть верховным жрецом «Снарка». Я вломился в святилище и потребовал старинные фолианты и магические таблицы, а также и жертвенник, то-есть секстант.

А теперь я расскажу вам простыми словами, как я сам себя научил навигации. Один раз я провел все послеобеденное время у штурвала, правя одной рукой, а другой делая вычисления по таблице логарифмов. Другие два вечера—по два часа каждый вечер—я изучал общую теорию навигации и, в частности, процесс определения высоты меридиана. Потом я взял секстант, ввел поправку по «Индексу» и определил высоту солнца. Дальнейшие вычисления были просто детской игрой. В «Кратком руководстве» и в «Альманахе» оказались готовые таблицы, составленные математиками и астрономами. Пользоваться ими было так же легко, как таблицей процентов или электрическим счетчиком. Тайна перестала быть тайной. Я ткнул пальцем в карту и объявил, что мы находимся здесь. Я оказался прав, то-есть во всяком случае не менее прав, чем Роско, который указал на карте точку на четверть мили в сторону от моей. Он даже соглашался на меньшую разницу. Я раскрыл тайну,

---

[1]) Автор умышленно соединяет несколько терминов в одно непонятное слово. Индекс — указатель, реестр. Параллакс — угол, образуемый двумя прямыми линиями, проведенными от центра какой-нибудь звезды к центру земли и к той точке, на которой стоит наблюдатель. Рефракция, — в астрономии, — преломление световых лучей небесных светил в земной атмосфере, вследствие чего светило кажется выше своего действительного положения над горизонтом.

[2]) Указание на градусы, минуты и секунды широты и долготы.

но таково уж было волшебство ее, что я незамедлительно почувствовал в себе какую-то необыкновенную силу и гордость. И когда Мартин спросил меня—так же смиренно и почтительно, как некогда я спрашивал Роско,—где мы находимся в настоящее время, я ответил ему вдохновенно и внушительно на цифровом жаргоне высших священнослужителей и услышал от него такое же подобострастное «О-о!» А что касается Чармиан, то я почувствовал, что приобретаю новые права на нее, и что она очень счастливая женщина, если у нее такой муж, как я.

Что поделаешь? На мне отмщалось грехопадение Роско и всех предшествовавших мореплавателей. Яд власти подействовал на меня. Я уже не был обыкновенным человеком: я знал что-то, чего они не знали, я знал тайну неба, указывающую мне на дорогу над пучинами моря. Долгими часами я сидел на руле, правя одной рукой и держа в другой ключ к изучаемым тайнам. К концу недели такого самообучения я был уже способен на многое. Например, я определял высоту Полярной Звезды—конечно, ночью; я вводил нужные поправки, вычислял и находил нашу широту. И эта широта совпадала с широтой, определенной в полдень, с прибавкой тех изменений, которые должны были произойти за день. Мог ли я не гордиться? Но еще более возгордился я после следующего чуда. Обычно я уходил к себе в девять вечера. Я занимался самообучением и поставил себе задачей определить, какая звезда должна пройти через наш меридиан около половины девятого. Такой звездой оказалась Альфа Креста. Я никогда не слыхал об этой звезде. Я разыскал ее на карте звездного неба. Это была одна из звезд в созвездии Южного Креста. «Как!—подумал я,—мы плыли при свете Южного Креста по ночам и ничего не знали об этом! Идиоты! Дураки и кроты!» Я не поверил себе и еще раз проделал все вычисления. В этот вечер с восьми до десяти на руле стояла Чармиан. Я просил ее смотреть очень внимательно на южную сторону горизонта. И когда небо вызвездилось, невысоко над горизонтом стоял Южный Крест. Гордился я? Ни один врач и ни один жрец никогда не был так горд, как я. Еще лучше: с помощью священного секстанта я определил высоту Альфы Креста и по ней вычислил нашу широту. Еще лучше: я определил высоту Полярной Звезды, и все, что я узнал от нее, в точности совпадало с тем, что мне сообщил Южный Крест. Гордился ли я? Да ведь я, значит, понимаю язык звезд и слышу, как они указывают мне путь над пучиной!

Гордился ли я? Я был чудотворцем. Я позабыл, как легко я приобрел мои познания со страниц книг. Я позабыл, что вся работа (о, это была трудная работа!) была проделана до меня великими умами, астрономами и математиками, которые открыли и разобрали

всю науку мореплавания и составили таблицы в «Кратком руководстве». Я только помнил чудо: я умел понимать язык звезд, и они указывали мне то место на море, где я нахожусь. Чармиан не знала этого; Мартин не знал этого; Точиги, юнга, не знал этого. Но я сказал им. Я был вестником небес! Я стоял между ними и вечностью. Я переводил небесные речи на удобопонятный язык. Небо управляло нами, и я был тем, кто умел читать небесные знамения! Я! Я!

Теперь, когда восторг мой стал более умеренным, я спешу разъяснить полноту, простоту всего этого, разболтать тайну Роско и всех сведущих в мореплавании людей и прочих священнослужителей. Открываю я тайну из страха, что уподоблюсь им, сделавшись скрытным, бесстыдным и самоупоенным. Выскажу теперь все: любой юноша с нормальным серым веществом мозга, нормальным воспитанием и обыкновеннейшими способностями может добыть книги, карты, инструменты и научиться мореплаванию. Не поймите меня превратно. Стать моряком—другое дело. Этому не научиться в один или два дня, на это нужно убить годы. Поэтому плавать с помощью лага можно только после длительной учебы и практики. Но плавать, ориентируясь по солнцу, луне и звездам, стало, благодаря усилиям астрономов и математиков, детской игрой. Любой юноша может научиться этому в неделю. Еще раз прошу—не поймите меня превратно. Я не хочу сказать, что по истечении недели такой юноша сможет взять на себя управление пароходом с водоизмещением в пятьдесят тысяч тонн, который идет со скоростью двадцати узлов в открытом море, мчась от одного материка к другому, и в хорошую погоду, и в шторм, при ясном и при облачном небе, руководясь компасом и направляясь к земле с возможной точностью. Я хочу сказать только, что юноша, о котором я говорил, может сесть на надежное парусное судно и отправиться в плавание по океану, совсем не будучи знаком с навигацией, и по прошествии недели он настолько ознакомится с нею, что в состоянии будет определять по карте то место, где он находится. Он сможет вполне точно определить меридиан, а узнав его, он через десять минут, произведя необходимые вычисления, найдет широту и долготу. У него на борту нет ни груза, ни пассажиров, ничто не заставляет его торопиться поскорее доплыть до цели, он может спокойно плыть, а если он усомнится в своем искусстве мореплавания и испугается, как бы не наскочить на землю, он может лечь в дрейф на всю ночь и только с наступлением дня пускаться в дальнейший путь.

Джошуа Слокум несколько лет тому назад совершил кругосветное плавание на паруснике, длиной в тридцать семь футов, и сам управлял им. Я никогда не забуду того места в его рассказе об этом

путешествии, где он восторженно приветствует тех молодых людей, которые захотят на таких же небольших судах совершить подобные же путешествия. Меня захватила эта мысль, захватила до такой степени, что я взял с собою в путешествие мою жену. Экскурсия бюро Кука покажется рядом с таким путешествием совершенно ничтожной; не говорю уже о доставляемом им удовольствии, но оно окажет превосходное воспитательное влияние на молодого человека—не только внешне воспитает его. благодаря тому, что он увидит неведомые страны, людей и природу, а воспитает его и внутренне: воспитает его личность, даст ему возможность познать самого себя. Каждый научится в таких условиях владеть собой. Юноша познает здесь пределы своих возможностей,—а затем неминуемо будет стараться расширить эти пределы. И вернется из такого плавания и лучшим и более значительным человеком. А что касается спорта, то лучше нет спорта, чем обойти кругом света, выполняя всю работу собственными руками, завися только от одного себя, и, вернувшись, наконец, туда, откуда отправился, мысленно представить себе стремительно мчащуюся в мировых пространствах нашу планету, вокруг которой вы совершили свое путешествие, и сказать: «Я сделал это; собственными руками сделал я это. Я обошел вокруг вращающегося шара; я могу путешествовать один, без приставленного ко мне в качестве няньки капитана, который направлял бы мой путь по морям. Я не могу полететь на другие звезды, но на этой звезде я—хозяин!»

Когда я дописываю эти строки, я поднимаю глаза и смотрю на море. Я нахожусь в заливе Вайкики на острове Оаху. Далеко по бледно-голубому небу тянутся облака над зеленоватой бирюзой океана. Ближе к берегу вода переходит в оливковый цвет. Около коралловых рифов она становится дымчато-пурпурной, с кроваво-красными пятнами. Затем чередуются ярко-зеленые и рябиново-красные полосы, указывая места песчаных и коралловых отмелей. Через все эти изумительные краски и над ними и из них бьет и грохочет великолепный прибой. Как я уже сказал, я поднимаю глаза— и вдруг на белом гребне налетающей волны я вижу прямую темную фигуру не то сирены, не то морского божества; оно стоит по колено в дымящейся пене, гребень каждое мгновение вздымается и падает, заливая его по пояс, и вновь подымает его в кипящей пене, вынося к берегу на протяжении четверти мили. Это канак на своей доске. И я знаю, что как только я закончу эти строки, я тоже окажусь в этой вакханалии красок и кипящего прибоя и тоже буду пробовать кататься на гребнях, как он, и буду падать,—как он, разумеется, никогда не падает,—но зато буду жить так остро, как немногие. И картина этого моря, горящего разноцветными

яркими огнями, и летящего в волнах морского божества, конечно, достаточное основание для молодых людей плыть на запад и еще дальше на запад, до тех пор, пока они не окажутся опять на родине.

Но вернемся к навигации. Пожалуйста, не подумайте, что я уже изучил ее вдоль и поперек. Я знаю только основы навигации, и мне еще много осталось выучить. На «Снарке» имеется масса увлекательных книг по навигации, которые до сих пор ждут меня. Имеется, например, угол опасности Лекка,—очень интересный угол,—и линия Сумнера, которая определит вам безошибочно—когда вы уже окончательно собьетесь с дороги—не только то место, где вы находитесь, но и те места, где вы не находитесь. Существуют дюжины дюжин различных способов определения положения судна, и нужно посвятить на изучение целые годы, чтобы овладеть всеми этими тонкостями.

Даже в том немногом, чему мы научились, было кое-что такое, что объясняло странное прежнее поведение «Снарка». Так, например, в четверг, 16 мая, пассат совсем стих. В течение двадцати четырех часов, до самого полудня пятницы, мы, согласно показаниям лага, не прошли и двадцати миль. Вот, однако, наше положение на море в полдень этих двух дней, согласно нашим наблюдениям:

Четверг	20°	57′	9″	N[1])
„	152°	40′	30″	W
Пятница	21°	15′	33″	N
„	154°	12′	—	W

Расстояние между этими двумя точками равнялось приблизительно восьмидесяти милям. А мы прекрасно знали, что мы не прошли и двадцати миль. Вычисления наши были безукоризненно правильны. Мы несколько раз проверяли их; ошибка была сделана во время наблюдений. Правильное наблюдение требует большой практики и ловкости, особенно на таком небольшом судне, как «Снарк». Непрерывная качка судна и близость глаза наблюдателя к поверхности воды очень мешают. Большая волна, поднимающаяся на протяжении целой мили, в состоянии совсем закрыть горизонт.

Но в данном случае действовал другой мешавший нам фактор. Солнце, совершая ежегодный путь по небу, начало склоняться к северу. На девятнадцатой параллели северной широты солнце в половине мая стоит почти над головой. Угол свода равен восьмидесяти восьми или восьмидесяти девяти градусам. Если бы он равнялся девяноста градусам, солнце находилось бы совсем в зените. На другой день мы узнали кое-что о том, как ловить солнце, когда оно почти перпендикулярно над головой. Роско решил ловить солнце на востоке,

---

1) N — север, W — запад.

и настаивал на этом, несмотря на то, что солнце должно было пройти меридиан на юг. Со своей стороны, я решил ловить его на юго-востоке и все уклонялся на юго-запад. Как видите, мы еще продолжали учиться. Наконец, когда судовые часы показывали двадцать пять минут первого, я провозгласил полдень по солнцу. Это значило, что наше положение на поверхности земли изменилось на двадцать пять минут, что равняется приблизительно шести градусам долготы или тремстам пятидесяти милям. А это доказывало, что «Снарк» шел со скоростью пятнадцати узлов в течение двадцати часов, чего в действительности не было. Вышло смешно и нелепо... Но Роско, продолжая смотреть на восток, утверждал, что полдень еще не наступил. Он намерен был уверить нас, что мы идем со скоростью двадцати узлов. Тут мы начали быстро поворачивать наши секстанты по горизонту, и куда бы мы ни глядели, всюду мы видели солнце до страстности низко над горизонтом, а иногда и ниже его. В одном направлении солнце говорило нам, что еще раннее утро, а в другом—что полдень давно миновал. Но солнце показывало время правильно—значит, ошибались мы. И все послеобеденное время мы провели в каюте, стараясь разобрать этот вопрос с помощью книг и найти, в чем же состояла наша ошибка. Мы напутали в наших наблюдениях на этот раз, но мы не путали в следующий раз. Мы научились. И мы хорошо научились, лучше даже, чем сами предполагали. Как-то раз в начале второй вечерней вахты мы с Чармиан на баке играли в карты. Вдруг я увидел впереди какие-то горы, окутанные облаками. Мы, конечно, обрадовались земле, но я был очень огорчен нашими познаниями в навигации. Я полагал, что мы научились кое-чему, а согласно нашим наблюдениям в полдень, если прибавить то расстояние, которое мы прошли с тех пор, земля должна была находиться не ближе ста миль. Но это была земля, таявшая на наших глазах в лучах заката. Спорить было не о чем. Значит, наши вычисления неправильны. Но это было не так. В конце концов оказалось, что это была вершина горы Халеакала, Обители Солнца, величайшего потухшего вулкана на всем земном шаре. Он поднимается на десять тысяч футов над уровнем моря, и его видно на расстоянии ста миль. Мы шли к нему всю ночь со скоростью семи узлов, а на утро Обитель Солнца попрежнему стояла на горизонте, и потребовалось еще много часов, чтобы добраться до нее.

— Это остров Мауи,—решили мы после исследования карты.— Следующий остров, намечающийся на горизонте,—Молокаи, где находится колония прокаженных. А еще следующий—Оаху. На нем гора Макапуу. Завтра мы будем в Гонолулу. Выходит, что наша навигация совсем уж не так плоха.

ГЛАВА V

Первый причал

— На море совсем не будет скучно,—обещал я своим товарищам перед отправлением.—Море полно жизни. Оно так населено живыми существами, что мы каждый день будем встречать что-нибудь новое. Как только мы пройдем Золотые Ворота и повернем к югу, мы увидим летающих рыб. Мы будем поджаривать их на завтрак. Мы будем ловить также макрелей и дельфинов острогой с бушприта. А потом пойдут акулы. Акул будет без конца.

Мы прошли Золотые ворота и повернули к югу. Горы Калифорнии исчезли мало-по-малу с горизонта, а солнце с каждым днем становилось жарче. Но летающих рыб не было; макрелей и дельфинов тоже не было. Океан был совершенно лишен жизни. Никогда раньше я не плавал по такому несчастному океану. Прежде в этих самых широтах я всегда встречал летающих рыб.

— Ничего,—говорил я.—Подождите, пока мы поровняемся с берегом Южной Калифорнии. Там мы увидим летающих рыб.

Мы поровнялись с Южной Калифорнией, мы прошли вдоль всей Калифорнии, мы шли вдоль Мексиканского побережья—а летающих рыб не было. И ничего другого не было. Никакой жизни. Дни шли—и это отсутствие жизни становилось удручающим.

— Не беда,—говорил я.—Как только мы встретим летающих рыб, мы встретим и все остальное. Летающие рыбы—это в роде авангарда океана. Как только увидим летающих рыб, сразу явится и все остальное.

Чтобы попасть на Гавайские острова, мне нужно было бы держать на юго-запад, а я все держал на юг. Мне непременно хотелось отыскать этих летающих рыб. Наконец, настало время повернуть прямо на запад, если я хотел попасть в Гонолулу. Но я все продолжал итти на юг. На девятнадцатом градусе широты мы увидели первую летающую рыбу. Она казалась очень одинокой. Я заметил это. И пять пар внимательных глаз обшаривали море целый день и не заметили больше ни одной. А в следующие дни они попадались так скупо, что прошла целая неделя, пока все мои спутники заметили каждый по одной летающей рыбе. А что касается дельфинов, макрелей и прочих морских созданий, то их совсем не было.

Ни одна акула ни разу не разрезала водной поверхности своими темными зловещими плавниками. Берт ежедневно купался в море, держась за веревку у бушприта. И ежедневно говорил нам, как он бросит, наконец, веревку и будет купаться по-настоящему. Я всячески

уговаривал его не делать этого. Но он перестал считать меня авторитетом по части моря.

— Если акулы здесь есть,—говорил он,—то почему же они не показываются?

Я уверял его, что они сейчас же покажутся, как только он бросит веревку и поплывет в море. Собственно, с моей стороны, это было нахальство. Я и сам не верил. Два дня это его все же удерживало. А на третий день ветер упал, и стало очень жарко. «Снарк» двигался со скоростью одного узла. Берт спрыгнул в воду с бушприта и поплыл без веревки. И вот странная противоречивость жизни! Мы проплыли более двух тысяч миль по океану и не видали акул. А тут через пять минут после того, как Берт взобрался на судно, черный плавник акулы резал воду, кружась около «Снарка».

В этой акуле было что-то странное. Она положительно раздражала меня. С какой стати она очутилась посреди пустынного океана? Чем больше я об этом думал, тем это становилось непонятнее. Но через два часа мы заметили землю, и тайна объяснилась. Акула явилась к нам от берега, а не из необитаемых глубин океана. Она была вестником земли.

Через двадцать семь дней по выходе из Сан-Франциско мы подходили к острову Оаху, принадлежащему к группе Гавайских островов. Рано утром мы обогнули Алмазную Вершину и очутились против Гонолулу; и тут океан внезапно закипел жизнью. Сверкающие эскадроны летающих рыб пронизывали воздух. За пять минут мы их насчитали больше, чем за все предыдущее путешествие. И еще какие-то другие толстые рыбы выпрыгивали из воды. Жизнь была всюду—и на море и на берегу. Мы видели мачты и пароходные трубы в гавани, гостиницы и купальни по всей бухте Вайкики, и уютные дымки домов по вулканическим склонам Пуншевой Чаши и Тантала. Таможенный катер летел к нам на всех парах, а большая стая дельфинов проделывала у носа «Снарка» самые уморительные прыжки. К борту причалила шлюпка портового врача, а большая морская черепаха, выставила из воды спину и голову и с любопытством смотрела на нас. Ни разу еще на море не было вокруг нас такого водоворота жизни. Какие-то незнакомые лица появились на палубе, кричали незнакомые странные голоса, и перед глазами замелькали настоящие сегодняшние газеты с телеграммами из всех частей света. Из них мы узнали, между прочим, что «Снарк» со всем экипажем погиб в море и что это было ничего не стоящее судно. И пока мы читали это печальное сообщение, радио с вершины Халеакала сообщало всему миру о прибытии «Снарка» в Гонолулу.

Это был первый причал «Снарка»—и какой причал! Двадцать семь дней мы пробыли в пустынях океана, и нам довольно трудно

было принять в себя столько жизни. Главное—сразу. Мы были ошеломлены, и нам казалось, что все это—во сне. С одной стороны «Снарка» светло-голубое небо скатывалось в светло-голубое море. С другой—море вздымалось огромными изумрудными волнами, разбивавшимися снежной пеной о коралловые рифы бухты. Позади бухты мягкими зелеными уступами поднимались плантации сахарного тростника, взбираясь на крутые склоны, которые затем переходили в зубчатые вулканические хребты, окутанные туманами тропических ливней и огромными шапками принесенных муссоном облаков. Если это был сон, то чудесный сон. «Снарк» стал на рейд, и изумрудный прибой вздымался и грохотал по обеим его сторонам, и совсем близко около нас рифы скалили свои длинные, бледно-зеленые угрожающие зубы.

Внезапно сам берег двинулся на нас и охватил «Снарк» хаосом своих зеленых рук. Не было уже опасного прохода между рифами, не было изумрудного прибоя и бледно-голубого океана—ничего не было, кроме мягкой, теплой земли, застывшей лагуны и купающихся в ней темнокожих ребят. Океана больше не было. Якорь «Снарка» загрохотал цепью—и мы стали. Все было так красиво и странно, что мы никак не могли почувствовать реальности окружающего нас великолепия. По карте это место называется Жемчужной бухтой, но мы его назвали Бухтой Снов.

К нам подошла шлюпка; это члены местного яхт-клуба явились поздравить нас с приездом и сделали это с истинно гавайским гостеприимством. Это были, конечно, самые обыкновенные люди из плоти, крови и всего прочего, но появление их не нарушило очарования сна. Последние наши воспоминания о людях были связаны с появлением судебных приставов и маленьких перепуганных коммерсантов с потертыми долларами вместо душ. Эти людишки в смрадной атмосфере угля и копоти вцепились в «Снарк» грязными цепкими руками, не отпуская его в мир приключений и снов. Но люди, встретившие нас здесь, были чистыми и ясными. На щеках их лежал здоровый загар, а глаза не погасли от очков и от блеска вечно пересчитываемых долларов. Нет, они только еще больше убедили нас, что мы видим прекрасный сон.

Мы вышли вслед за этими чудесными людьми на волшебный зеленый берег. Мы пристали к миниатюрной пристани, и сон стал еще чудеснее. Вы не забудьте, что в продолжение двадцати семи дней мы качались по океану на маленьком «Снарке». В течение двадцати семи дней не было ни одной минуты без этого качающегося движения. Оно вошло уже в нашу плоть и кровь. И тела и души наши так долго качались и подкидывались, что когда мы вышли на миниатюрную пристань, мы все еще продолжали качаться. Мы,

естественно, приписали это самой пристани. Своего рода психологический обман. Я понесся вдоль пристани и чуть не слетел в воду. Взглянул на Чармиан—и способ ее передвижения меня опечалил. Пристань ни в чем не уступала палубе судна. Она поднималась, вздрагивала, качалась, стремительно летела вниз; а так как держаться было не за что, то я и Чармиан должны были прилагать все усилия, чтобы не упасть в воду. Я никогда не видал такой каверзной пристани! Когда я смотрел на нее, она переставала качаться, но как только мое внимание отвлекалось чем-нибудь, она опять становилась «Снарком». Один раз я поймал ее все-таки, как раз, когда она опускалась; я посмотрел с высоты около двухсот футов—и, честное слово, это была настоящая палуба настоящего судна, бросающегося вниз с гребня волны.

Наконец, поддерживаемые нашими новыми друзьями, мы кое-как преодолели пристань и ступили на твердую сушу. Но и суша оказалась не лучше. Первое, что она вздумала сделать—это быстро наклониться в одну сторону вместе со всеми горами и даже с облаками, и я далеко-далеко мог проследить ее наклон. Нет, это не была устойчивая, твердая земля, иначе она не выкидывала бы таких номеров. Она была так же нереальна, как и весь этот «причал». Каждое мгновение все может разлететься, как облако пара. Мне пришла в голову мысль, что это, может быть, моя вина: просто объелся чем-нибудь, и вот теперь кружится голова. Но я взглянул на Чармиан и ее неуверенную поступь: как раз в это мгновение она качнулась и толкнула шедшего рядом с ней яхт-клубиста. Я заговорил с ней, и она тотчас же пожаловалась мне на странное поведение земли.

Мы шли через широкую волшебную лужайку, спускались по аллее царственных пальм, и опять через лужайку, еще более волшебную, и остановились под благодатной тенью стройных деревьев. Воздух звенел птичьими голосами и совсем отяжелел от роскошных теплых ароматов огромных лилий, пылающих гибисков и других странных, опьяняющих тропических растений. Сон становился непереносимо прекрасным для нас, видевших перед собою так долго только соленую воду в беспрерывном движении. Чармиан протянула руку и уцепилась за меня. «Не может выдержать этой красоты»,—подумал я. Но оказалось другое. Когда я расставил ноги, чтобы поддержать ее, я заметил, что лужайка и кусты качаются и кружатся. Это было совсем как землетрясение, только маленькое; оно скоро прошло, и никому не причинило вреда. И главное—отчаянно трудно было поймать ее, то-есть землю, на этих фокусах. Пока я следил за нею, ничего не происходило, но стоило мне только отвлечься чем-нибудь посторонним, все кругом начинало качаться

и волноваться. Один раз мне удалось, при быстром и внезапном повороте головы, поймать красивое движение пальм, описывающих огромную дугу через все небо.

Но как только я поймал это движение, оно прекратилось, и вокруг меня был прежний безмятежный сон...

Наконец, мы вошли в сказочный дом с широкой прохладной верандой,—дом, где могли жить только сказочные существа, питающиеся лотосом. Окна и двери были широко открыты, и пение птиц, и запахи цветов приплывали и уплывали через них. Стены были затянуты плетеными цыновками из кокосовых волокон. Небольшие диваны, покрытые плетенками из зеленой травы, заманчиво глядели отовсюду, и тут же стоял большой рояль, который должен был издавать, как мне казалось, только баюкающие звуки. Служанки-японки в национальных костюмах порхали вокруг бесшумно, как бабочки. Все было овеяно сверхъестественной свежестью. Ничего похожего на грубые нападения солнца и ветра в безбрежном море. Нет, положительно все это было чересчур хорошо. Это не могло быть реальностью. Я понял это, потому что, быстро обернувшись, поймал рояль на каком-то подозрительном пируэте в углу комнаты. Я не сказал ничего,—как раз в то время к нам подошла прелестная женщина, настоящая мадонна, одетая в белые, разлетающиеся одежды, в сандалиях—и поздоровалась с нами так, как будто она знала нас всю жизнь.

Мы сели за стол на веранде, где вкушают лотос; нам прислуживали бабочки, и мы ели удивительные кушанья и пили нектар [1]), который называют здесь пói. Но по временам сон грозил растаять. Он вздрагивал и туманился, как радужный мыльный пузырь, готовый лопнуть. А когда я взглянул на зеленую лужайку, на стройные деревья и цветы гибиска, я вдруг почувствовал, что стол двигается. Стол и мадонна против меня, и веранда, где вкушают лотос, и пылающие гибиски, и лужайка, и деревья—все быстро поднялось и затем тяжело полетело вниз, как с гребня чудовищной волны. Я судорожно ухватился за ручки кресла и удержался. У меня было такое чувство, что я держусь не только за стул, но и за самый сон, и удерживаю его. Я нисколько не был бы удивлен, если бы вокруг кругом зашумело море, смыло бы всю эту волшебную страну, и я очутился бы опять на «Снарке», опять на руле, с таблицами логарифмов в руке. Но сон не исчезал. Я украдкой взглянул на мадонну и ее супруга. Они не изменились. И блюда не сдвинулись со стола. И гибиски, и деревья, и трава были на

---

[1]) Нектар, по верованию древних греков, — напиток богов, дарующий бессмертие.

месте. Ничего не изменилось. Я выпил еще немного нектара, и сон стал реальнее, чем когда-либо.

— Не хотите ли замороженного чая?—спросила мадонна, и конец стола, где она сидела, осторожно наклонился, и я ответил «да» уже под углом в пятьдесят пять градусов.

— Вот вы говорили об акулах,—сказал ее муж.—Там, на Ниихау был один человек...

В это мгновение стол качнулся и поднялся; я смотрел на говорившего снизу, под углом в сорок пять градусов.

Так шел завтрак, и я был счастлив, что по крайней мере могу не видеть походки Чармиан и не огорчаться. Вдруг какое-то таинственное слово сорвалось с губ небожителей.

«А-а,—подумал я,—вот тут-то сон начнет путаться и растает». Я с отчаянием вцепился в стул, твердо решившись вернуться в реальность «Снарка», захватив с собою вещественное доказательство существования страны лотоса. Я чувствовал, как сон притаился и сейчас уйдет. И еще раз раздалось таинственное страшное слово. Оно звучало как-то в роде «ре-пор-теры». Я взглянул и увидел, что три человека направляются к нам через лужайку. О, милые, благословенные репортеры! Значит, в конце концов этот сон был настоящей, неоспоримой реальностью! Я посмотрел вдаль на сияющее море и увидел «Снарк», стоявший на якоре, и вспомнил, как я плыл на нем от Сан-Франциско до Гавайских островов, и что вот это—Жемчужная бухта, и что сейчас меня с кем-то знакомят, и я уже отвечаю на первый вопрос:

— О да, погода была чудесная всю дорогу!

ГЛАВА VI

Спорт богов и героев

Да, это действительно лучший спорт для прирожденных героев.

Трава и деревья растут у самой воды в бухте Вайкики. И вот сидишь под их сенью и глядишь на величественный прибой у входа в бухту—почти под твоими ногами. На расстоянии полумили, там, где рифы, из безмятежной бирюзовой глубины выскакивают вдруг косматые, белоголовые чудовища и мчатся к берегу. Они летят друг за другом, захватывая целую милю в ширину, с дымящимися хребтами—белые батальоны бесчисленной армии океана. А ты сидишь и слушаешь несмолкаемый гул, и смотришь на бесконечную их процессию, и чувствуешь себя маленьким, жалким перед бешеной силой, воплотившейся в реве и ярости. Чувствуешь себя микроскопически-крохотным, и одна мысль о том, что можно вступить в бой с этими

волнами, заставляет содрогаться от страха. Эти волны, длиною в целую милю, эти зубастые чудовища весят добрую тысячу тонн и мчатся к берегу быстрее, чем может бежать человек. Можно ли решиться на это? Нет, нельзя,—решает трепещущий ум; и ты сидишь, и глядишь, и думаешь: как хорошо находиться среди травы, в тени на берегу...

И вдруг там, на вздымающемся гребне, где туман прибоя вечно поднимается к небесам, из водоворота пены, взбитой как сливки, показывается морской бог. Сначала появляется его голова. Потом черные плечи, грудь, колени, ноги—все выступает на белом фоне, как яркое видение. Там, где за минуту до этого было дикое отчаяние и непокорный рев стихии—стоит теперь человек, прямой, спокойный, и не борется из последних сил с бешеным врагом, не падает, не гибнет под ударами могучих чудовищ, а возвышается над ними, спокойный, великолепный, стоит на самой вершине—и только ноги его захватывает кипящая пена, да соленые брызги взлетают до колен, а все его тело купается в воздухе и солнце, и он летит в этом воздухе и солнце, летит вперед, летит так же быстро, как гребень, на котором он стоит.

Это Меркурий, смуглый Меркурий [1]). На ногах у него крылья, а в них вся сила и быстрота океана. Он вышел из волны, он скачет на ней, а она ревет и мечется под ним, и не может бросить его. А он даже не борется с ней, даже не балансирует. Он стоит неподвижный, бесстрастный, как каменное изваяние, вознесенное каким-то чудом со дна океана. И он летит прямо на берег, стоя своими крылатыми ногами на белом гребне. И дико разбивается пенистая волна и долго плещется у ваших ног; тут же на берегу спокойно стоит канак, смуглый, золотой от тропического солнца. Несколько минут назад он был маленьким пятнышком за четверть мили от берега. Он взнуздал упрямое морское чудовище, он ехал на нем, и гордость победы чувствуется во всем его прекрасном теле, когда он как бы равнодушно взглядывает на вас, сидящего на берегу в тени. Он чувствует себя человеком, представителем той удивительной породы, которая покорила материю, подчинила все другие звериные породы, завладела всем миром.

Все это прекрасно, когда сидишь и рассуждаешь здесь, в прохладной тени. Но, собственно говоря, вы такой же человек, из той же удивительной породы—и, значит, если канак может это делать, то и вы можете. Идите и пробуйте. Сбросьте одежду, которая только мешает здесь, в этом прекрасном климате. Идите и боритесь

---

1) Меркурий, по греческой мифологии,—сын Юпитера, вестник богов. Изображается с крыльями на ногах.

с океаном; окрылите свои ноги всей смелостью и силой, которыми вы наделены от природы; оседлайте дикие волны, покорите их и катайтесь на их спинах, как истинный повелитель вселенной.

Вот как случилось, что я научился кататься на прибое. И теперь, когда я умею это делать, я опять повторяю, с еще большей настойчивостью, это—спорт богов и героев.

Позвольте мне прежде всего объяснить технику спорта. Волна есть некое движущее единство. Вода, составляющая волну, сама по себе не двигается. Если бы она двигалась, в том месте, где упал бы брошенный вами камень, и откуда расходятся по воде круги, была бы все увеличивающаяся дыра. Нет, вода, составляющая тело волны, неподвижна. Вы можете наблюдать какую-нибудь небольшую часть океана, и вы увидите, как та же самая вода тысячу раз будет вздыматься и падать от движения тысяч следующих одна за другой волн. Теперь представьте себе, что это движение устремляется к берегу. По мере того как дно становится более высоким, примыкающая к нему часть волны задерживается. Но вода текуча, и верхняя часть волны не столкнулась ни с каким препятствием и продолжает мчаться вперед. А раз верхняя часть волны продолжает мчаться вперед, когда нижняя часть ее отстала, а гребень опрокидывается вперед и падает вниз, клубясь,—должно что-нибудь случиться. Нижняя часть волны уходит назад, пенясь и грохоча. Причиной всякого прибоя всегда бывает нижняя часть волны, ударяющаяся о возвышенности дна.

Но переход от плавного волнообразного движения к пенящимся волнам не внезапен, кроме тех случаев, когда дно моря сразу повышается. Если дно постепенно повышается на протяжении от одной четверти мили до мили, то и превращение волны протекает на таком же пространстве. Именно такое постепенно повышающееся дно у залива Вайкики, и прибой там восхитительно приспособлен к тому, чтобы кататься на нем. Вы забираетесь на хребет волны как раз тогда, когда она начинает расти, и стоите на ней все то время, пока она растет, устремляясь к берегу.

А теперь перейдем к частному вопросу о технике катания на прибое. Возьмите гладкую доску в шесть футов длины и два фута ширины, с закругленными концами. Ложитесь на нее вдоль, как ложатся ребята на санки, и гребите руками, пока не доберетесь до такой глубины, где уже начинают образовываться волны. Там оставайтесь на своей доске совершенно спокойно. Волна за волной набегает сзади, спереди, снизу, сверху, но они вас не сдвинут. Вам надо ждать волны с пенящимся гребнем. Такие волны выше и круче. Вообразите себя на доске, на переднем склоне такой высокой волны. Если бы волна стояла неподвижно, вы бы скатились с нее,

как дети на салазках с горы. «Позвольте,—говорите вы,—волна ведь не стоит на месте». Верно, волна не стоит на месте, но вода, образующая ее, стоит на месте—и в этом весь секрет. Если вы установите доску на переднем склоне волны, то вы будете все время скользить по ней, никогда не достигая ее основания. Пожалуйста, не смейтесь! Пусть склон волны будет всего-на-всего шесть футов—вы все-таки будете соскальзывать с него на протяжении четверти мили и полумили и все-таки не достигнете его основания. Потому что, видите ли, если волна—это только передача движения, и если вода, образующая волну, каждую минуту меняется, то новая вода поднимется под вами как раз тогда, когда передвинется волна. Вы, значит, лежите теперь на новой воде, и каждую секунду вы будете лежать в том же первоначальном положении на новой, которая поднимается как раз настолько, насколько передвинется волна. Вы скользите со скоростью, равной быстроте движения волны. Если она движется со скоростью пятнадцати миль в час, вы тоже скользите со скоростью пятнадцати миль в час. Между вами и берегом лежит водное пространство в четверть мили. По мере передвижения волны, она должна вобрать в себя всю эту воду, тяжесть ее довершает остальное, и вы соскальзываете вниз по всей ее длине.

А теперь о нескольких других технических приемах катанья на прибое. Нет правила без исключения. Действительно, вода, составляющая волну, не распыляется на части, уносящиеся вперед порознь. Но существует также нечто, что можно назвать авангардом волны. Вода на самом гребне ее двигается вперед, и вы сразу заметите это, если она ударит вас в лицо, или если вас захлестнет здоровенная волна, и вы с полминуты, задыхаясь и захлебываясь, пробудете под водой. Вода на гребне волны остается все время над водой, составляющей основание волны. Основание волны, доходя до земли, останавливается, тогда как гребень ее летит дальше. Основание больше не поддерживает верхушки. Там, где был крепкий фундамент из воды, теперь имеется только воздух, и впервые волна знакомится с земным притяжением и падает вниз, отделяясь в то же время от более медлительного основания, и летит вперед. Поэтому катанье на прибое и нельзя сравнивать с мирным катаньем на салазках. В самом деле, вас вышвыривает на берег с такой силой, как будто вас бросила рука титана.

Я покинул прохладную тень деревьев, надел купальный костюм и отправился с доской на берег. Доска была мала для меня. Но я этого не знал, и никто ничего не сказал мне. Я присоединился к компании малолетних канаков, упражнявшихся в сравнительно спокойной воде, где волны были невелики и во всех отношениях удобны—нечто в роде купального детского сада,—и стал

наблюдать за ребятами. Когда на них набегала волна, они бросались животом на доски, били ногами как сумасшедшие и неслись к берегу. Я попробовал сделать то же. Я подражал каждому их движению— и все-таки ничего не выходило. Волна проносилась мимо, но не подхватывала меня. Я пробовал много раз. Я бил ногами так же, как мальчишки около меня,—и все-таки оставался на месте. Вокруг меня было с полдюжины ребят. Все мы поджидали хорошую волну. Все вместе вскакивали на нее на наших досках и били ногами, как пароход спицами колес,—но чертянята уплывали, а я оставался на месте, точно какой-то отверженный.

Я провозился битый час и не мог убедить ни одну волну дотащить меня до берега. И тогда явился избавитель—Александр Юм Форд, путешественник по профессии и большой любитель сильных ощущений. В Вайкики он нашел их. Он плыл в Австралию, остановился здесь на неделю, чтобы испытать ощущение катанья на прибое—да так и остался. Он был здесь уже с месяц, катался каждый день, и очарование все не пропадало. Он сказал мне тоном эксперта:

— Бросьте эту доску, бросьте сейчас же! Посмотрите, как вы на ней лежите. Если она толкнется носом в дно, она неминуемо пробьет вам живот и выпустит кишки. Возьмите мою. У нее такой размер, как нужно для взрослого.

Когда я сталкиваюсь с наукой, я всегда становлюсь покорным и смиренным: Форд мог убедиться в этом. Он научил меня обращаться с доской. Потом, дождавшись хорошей волны, он подтолкнул меня в нужный момент. О, волшебная минута, когда я почувствовал, что волна подхватила меня и несет! Я пролетел на ней футов полтораста и мягко опустился на песок. Тут я погиб окончательно. Я вернулся к Форду с доской. Доска была прекрасная, толщиною в несколько дюймов и весила семьдесят пять футов. Форд надавал мне кучу советов. Его самого не учил никто, и то, что он сообщил мне в течение получаса, было добыто в результате нескольких недель труда. Через полчаса я уже мог кататься самостоятельно. Я катался и катался, а Форд ободрял и советовал. Он указал мне, например, насколько близко к переднему концу надо ложиться на доску. Но один раз я, очевидно, лег слишком близко, потому что проклятая доска у самого берега зарылась носом в дно, и сделала это так внезапно, что повернулась сама и грубейшим образом стряхнула меня с себя. Меня подбросило в воздух как щепку и постыдно смяло набежавшей волной. Тут я понял, что если бы не Форд, мне бы давно пробило живот. Форд говорил, что в этом заключается своеобразный риск спорта. Может быть, так с ним и случится до отъезда из Вайкики, и тогда—рассудил про себя—его тоска по сильным ощущениям будет удовлетворена надолго.

Я твердо убежден, что самоубийство все-таки лучше, чем убийство, а в особенности если предстоит убить женщину. Форд спас меня от убийства. «Вообразите свои ноги рулем,—сказал он.—Сожмите их плотно и правьте ими». Через несколько минут после того, как были сказаны эти слова, я лежал на гребне. Когда я был уже близко от берега, я увидел прямо перед собой женскую фигуру по пояс в воде. Что делать? Как остановить волну? Похоже было на то, что женщина погибла. В доске было семьдесят пять фунтов весу; во мне—сто шестьдесят пять. Все это неслось со скоростью пятнадцати миль в час. Я предоставляю кому угодно математически вычислить силу, которая должна была обрушиться на эту бедную нежную женщину. И тут я вспомнил Форда, моего ангела-хранителя. «Править ногами, как рулем»,—пронеслось у меня в голове. И я правил, правил отчаянно, правил изо всех сил, со всем напряжением ног. Доска повернулась боком к гребню волны. Тут одновременно произошло очень многое. Прежде всего волна легонько шлепнула меня, то-есть легонько, принимая во внимание мощь волны, но вполне достаточно для того, чтобы сбить меня с доски и сбросить на дно, с которым мне пришлось притти в крайне неприятное столкновение и некоторое время катиться по нему кубарем. Наконец, мне удалось освободить из воды голову, а потом набрать в легкие воздуха и встать на ноги. Передо мной стояла женщина. Я чувствовал себя героем. Я спас ее. А она... она смеялась. Как она хохотала надо мной! И это не была истерика от пережитого страха. Она даже не подозревала об опасности. Я урезонил себя тем, что в конце концов спас ее Форд, а не я и что мне с самого начала не следовало чувствовать себя героем. А кроме того, этот руль из ног оказался интереснейшей штукой. Через несколько минут упражнения я уже мог лавировать между купальщиками, и притом оказывался сверху волны, а не под нею.

— Завтра,—сказал Форд,—я возьму вас подальше, в голубую воду.

Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и увидел гигантских косматых чудовищ. По сравнению с ними волны, на которых я катался сегодня, казались рябью. Я не знаю, что бы я сказал ему, если бы не вспомнил во-время, что принадлежу к удивительнейшей породе животных, которая и т. д. Поэтому я сказал:

— Отлично, завтра непременно.

На следующее утро Форд зашел за мною, и мы отправились в море на целый день. Сидя на наших досках, или, вернее, лежа на них на животах, мы проплыли через «детский сад», где возились маленькие канаки. Мы попали в глубокую воду, и пенящиеся гребни с ревом полезли нам навстречу. Уже одна борьба с ними, чтобы устоять и

пробиться дальше, была прекраснейшим спортом. Тут надо было не горячиться и не зевать, потому что в противовес бешеным ударам одной стороны, другая сторона могла выставить только выдержку и сообразительность. Это была борьба между стихийной бессмысленной силой и разумом. Скоро я выучился кое-чему. Когда гребень нависал над моей головой, выпадало одно красивое мгновение: я видел тогда солнечный свет сквозь изумрудную волну; потом волна обрушивалась на меня, и надо было что есть силы цепляться за доску. Теперь падал удар, и зрителям с берега должно было казаться, что я погиб. А на самом деле и доска, и я уже успевали пройти через волну и вынырнуть с другой ее стороны. Но все же я бы не посоветовал пробовать эти удары слабым и нервным субъектам. Удары эти достаточно тяжелы, а вода обдирает кожу, как наждачная бумага. Когда пройдешь сквозь полдюжины таких гребней под ряд, то, пожалуй, откроешь массу преимуществ пребывания на суше.

В разгар нашей борьбы с косматыми чудовищами к нам присоединился третий товарищ, некий Фриз. Выбравшись из волны и приглядываясь к следующей, я увидел его на гребне,—он стоял на своей доске в беспечной позе молодого бронзового бога и мчался на волне. Форд окликнул его. Он соскочил с доски, поймал ее и, подплыв к нам, тоже занялся моим обучением. Между прочим, он показал мне, как поступать, если надвигающаяся волна слишком велика. Такие волны положительно опасны, и входить в них на доске не рекомендуется. Фриз учил меня, что при приближении такого огасного гиганта следует соскользнуть с заднего конца доски, удерживая доску поднятыми над головой руками. При таком положении, если даже волна ухитрится вырвать доску из ваших рук и ударит вас ею по голове (что волны очень любят делать), между головой и доской окажется водяная подушка больше фута толщиною. Я слышал, что многие серьезно пострадали от таких ударов.

Как я узнал, все искусство катанья на волнах заключается в уклонении от борьбы с волнами. Увертывайтесь от волны, которая бросается на вас. Ныряйте ногами вперед как можно глубже, и пусть вал, собирающийся раздавить вас, пронесется над вашей головой. Не сопротивляйтесь, будьте гибки, отдавайте себя на произвол воды, которая бушует и клокочет вокруг вас. Когда вас захватит подводное течение и понесет в открытое море над самым дном, не боритесь. Если вы станете бороться, вам угрожает опасность утонуть, так как течение это гораздо сильнее вас. Предоставьте воде нести вас. Плывите по течению, а не против него, и давление его на ваше тело ослабнет. И плывя по течению, обманывая его, чтобы оно вас не задерживало, плывите в то же время вверх. Вам совсем не трудно будет выбраться на поверхность.

Тот, кто хочет научиться кататься на прибое, должен быть хорошим пловцом и должен уметь подолгу оставаться под водой. А все остальное зависит только от его выносливости и сообразительности. Учесть силу больших волн почти невозможно. Случается, что пловца швыряет на несколько сот футов от доски, на которой он плыл. Тогда он должен уметь позаботиться о себе. Сколько бы ни было с ним товарищей по катанью на прибое, он предоставлен самому себе и не должен рассчитывать ни на чью помощь. Чувство воображаемой безопасности, которое внушила мне близость Форда и Фриза, заставляла меня позабыть, что я в первый раз выплывал в открытое море и впервые был среди больших волн. Тем не менее я внезапно вспомнил об этом, когда нахлынула большая волна и умчала обоих моих спутников к берегу. Я раз десять мог бы утонуть, прежде чем они успели бы вернуться ко мне.

Пловец скользит на хребте волны, лежа на доске, но для этого нужно раньше попасть на этот хребет волны. Пловец и доска должны с достаточной скоростью двигаться к берегу, прежде чем их подхватит волна. Когда вы замечаете приближение волны, которою вы хотите воспользоваться, вы поворачиваетесь к ней спиной и изо всех сил гребете руками и ногами к берегу, прибегая к так называемому «мельничному колесу». Этот маневр вы должны проделать с молниеносной быстротой. Если ваша доска двигается достаточно быстро, волна ускорит ее движение, и ваша доска начнет скользить вниз за четверть мили от берега.

Я никогда не забуду первой волны, на которую мне удалось взобраться здесь, в настоящей воде. Я видел, как она надвигалась. Я повернулся к ней спиной, лежа на доске, и начал грести что есть силы. Моя доска летела все быстрее, а что было позади, я не мог видеть: обернуться было невозможно. Я слышал только, как все ближе шипела и клокотала налетающая волна, и вдруг доску приподняло, и мы полетели. В первую минуту я даже не понял, что случилось. Хотя глаза мои были широко открыты, я ничего не видел в кипящей пене гребня. Но это было неважно. Я знал, что я на гребне, и испытывал настоящий экстаз. Через минуту я стал приглядываться. Я заметил, что три фута носа моей доски высунулись из воды и несутся в воздухе. Я продвинулся вперед и заставил нос опуститься. А потом я спокойно лежал в диком водовороте воды и разглядывал берег и купальщиков, которые становились все яснее. Однако мне не удалось доплыть на этой волне до берега: мне показалось, что передний конец доски опускается, я отодвинулся назад, но, очевидно, слишком сильно, и скатился с волны вместе с доской.

Но это был только второй день моего катанья на прибое, и я был очень доволен собой. Я пробыл в воде четыре часа и, уходя, был

уверен, что вернусь завтра утром. Однако пришлось отложить катанье на довольно продолжительное время. На следующее утро я лежал в постели. Вода в Гонолулу изумительная, но и солнце изумительное; тропическое солнце, и притом в первой половине июня. Коварное, предательское солнце. Первый раз в жизни я не заметил, что солнце сожгло мне кожу. Руки, плечи и спина и раньше много раз бывали обожжены и потому до некоторой степени закалились, но ноги впервые оказались под действием перпендикулярных лучей, да еще в продолжение четырех часов под ряд. Я сообразил это только на берегу. Солнечный ожог сначала чувствуется не очень сильно. Потом обожженное место покрывается пузырями. Сгибать суставы совершенно невозможно, потому что на сгибах кожа лопается, и мне пришлось пролежать весь следующий день в постели. Ходить я не мог. И вот почему сегодня я пишу тоже в постели. Сегодня мне лучше, но все же не очень хорошо. Зато завтра,—о, завтра я буду совсем здоров и опять отправлюсь кататься на прибое, и стану кататься стоя, как Форд и Фриз. А если завтра это не удастся, то удастся послезавтра, или после-послезавтра. Одно я решил твердо: «Спарк» не покинет Гонолулу, пока на моих ногах не вырастут крылья моря, и я не сделаюсь загорелым Меркурием, хотя бы и с облезшей кожей.

ГЛАВА VII

Колония прокаженных

Когда «Спарк» на пути в Гонолулу проходил вдоль побережья Молокаи, я взглянул на карту и, показывая на низменный полуостров, за которым возвышались неприступные скалы от двух до четырех тысяч фунтов высоты, сказал: «Вот преддверие ада—самое проклятое место на земном шаре». Мне стало бы очень стыдно, если бы я мог в ту минуту увидеть себя самого в этом «самом проклятом месте земного шара», постыдно-весело проводящего время в компании восьмисот прокаженных, которые тоже не скучали. Их веселье, разумеется, не было постыдным, но мое было таковым, потому что, конечно, мне не подобало веселиться в такой обстановке. Это я чувствовал и об этом говорил себе; единственным извинением было только то, что тогда никак нельзя было не веселиться.

Так, например, вечером четвертого июля все прокаженные собрались на ипподроме. Я оставил начальника колонии и врачей, чтобы сделать несколько снимков с финиша скачек. Состязания были

интересны, и тотализатор [1]) работал во-всю. Скакали три лошади: на одной ехал китаец, на другой—гавайец, на третьей—португальский мальчик. Все трое были прокаженными. Жюри и публика—тоже. Лошади должны сделать два круга по трэку. Китаец и гавайец скакали рядом, голова в голову, португальский мальчик отстал от них футов на двести. Так был сделан первый круг. С половины второго китаец выдвинулся вперед на голову. В то же время португальский мальчик начал нагонять, но его дело казалось совершенно безнадежным. Толпа пришла в неистовство: все здешние прокаженные—страстные любители лошадей и скачек. Португалец, видимо, нагонял. Я тоже пришел в неистовство... Они уже подходили к финишу. Португалец обогнал гавайца. Шумно стучали копыта, шумно храпели три лошади, сбившиеся в кучу, свистели хлысты жокеев, и во всю глотку кричали зрители и зрительницы. Ближе и ближе, дюйм за дюймом забирает португалец и обгоняет, да, обгоняет и мчится первым, на голову впереди китайца. Когда я пришел в себя, меня окружала кучка прокаженных. Все прокаженные орали, подбрасывали вверх шляпы, плясали вокруг, как черти в аду. И я делал то же самое! Я опомнился как раз в тот момент, когда, как оказалось, вертел шляпой высоко над головой и бормотал в экстазе:

— Чорт возьми, выиграл мальчишка! Мальчишка-то выиграл!

Я постарался урезонить самого себя. Я объяснил себе, что присутствую на одном из «ужасов Молокаи» и что для меня по меньшей мере неприлично быть легкомысленным при таких обстоятельствах. Но ничто не помогало. Следующей—была скачка ослов—настоящая потеха. Выигрывал отставший, и дело осложнялось еще тем, что никто не ехал на своем собственном осле. Поэтому каждый из участников гнал что есть силы осла, на котором сидел, чтобы оставить позади своего собственного осла, на котором ехал кто-то другой. В состязании участвовали, разумеется, только самые ленивые и упрямые ослы. Один осел, например, был обучен подгибать колени и ложиться, как только всадник дотрагивался каблуками до его боков. Некоторые ослы стремились повернуть назад; другие быстро подбегали к барьеру и, положив на него морды, отказывались двинуться дальше. Вообще все делали что-то неподобающее. На полдороге один из ослов решительно не поладил со своим жокеем. Когда все остальные уже прошли круг, эти двое все еще препирались между собой. Он и оказался выигравшим, хотя наездник, бросив осла, побежал вместо него сам. Около тысячи прокаженных

---

[1]) Тотализатор — счетчик, употребляемый на конских скачках и бегах и показывающий, сколько закладов поставлено на каждую лошадь. Также называется самая игра, — пари на скачках и бегах.

покатывались со смеху. Право, всякий на моем месте тоже хохотал бы вместе с ними.

Все это я рассказываю, чтобы самым решительным образом заявить, что недавно описанных «ужасов Молокаи» не существует. Колония несколько раз описывалась любителями сенсаций, из которых многие не видали ее в глаза. Конечно, проказа остается проказой—ужасной, отвратительной болезнью. Но, с другой стороны, столько мрачного писалось о Молокаи, что это становится уже несправедливым и по отношению к прокаженным, и по отношению к тем, кто посвятил им свою жизнь. Вот пример. Корреспондент одной газеты, который, разумеется, никогда и близко не подходил к колонии, описывал в ярких красках, как начальник колонии Мак-Вейф скорчившись сидит в тесной хижине, крытой травой, и днем и ночью его осаждают умирающие от голода прокаженные, на коленях умоляя выдать хоть какую-нибудь пищу. Эта корреспонденция, от которой волосы становятся дыбом, была сейчас же перепечатана всеми газетами Соединенных Штатов и дала материал для нескольких возмущенных и протестующих передовиц. Ну, так вот: в течение пяти дней я жил и спал в «хижине мистера Мак-Вейфа, крытой травой» (оказавшейся, кстати сказать, комфортабельным деревянным коттэджем,—во всей колонии вы не найдете ни одной хижины, «крытой травой»); слышал я также мольбы прокаженных—только мольбы эти были исключительно мелодичны и сопровождались аккомпанементом струнного оркестра—скрипок, гитар, укулэлэ и банджо [1]). Мольбы были разнообразны. Сначала молил трубный оркестр, потом—два общества пения, и, наконец, квинтет, составленный из прекрасных голосов. И это так же мало походило на мольбы о пище, как и все остальное на правду. Это была обычная серенада, которую колония устраивает всякий раз мистеру Мак-Вейфу, когда он возвращается из поездки в Гонолулу.

Проказа не так заразительна, как это обыкновенно думают. Мы с женой провели в поселке неделю, чего мы, конечно, не сделали бы, если бы боялись заразиться. Мы не носили длинных, наглухо застегнутых перчаток и не держались от прокаженных в стороне. Наоборот, мы постоянно были в их толпе и за неделю перезнакомились с очень многими. Единственная предосторожность, которая необходима, это—самая обыкновенная чистоплотность. По возвращении домой, здоровые, как, например, начальник поселка и доктора, приходившие в соприкосновение с прокаженными, должны тщательно умытся антисептическим мылом и переменить платье—вот и все.

---

[1]) Банджо — негритянская гитара, круглая, металлическая в основании. Очень распространенный в Америке музыкальный инструмент.

Что проказа заразительна, на этом, конечно, надо настаивать, так что изоляция прокаженных—по всему тому, что мы знаем об этой болезни—является необходимой. Но все же тот ужас и отвращение, с которыми прежде относились к прокаженным, конечно, не нужны и жестоки. Чтобы поколебать обычно преувеличенную боязнь заразительности проказы, я расскажу кое-что о жизни прокаженных и здоровых на Молокаи. На следующее утро после нашего прибытия мы с Чармиан присутствовали на состязании стрелков в местном клубе и в первый раз заглянули, таким образом, в это царство скорби. Разыгрывался кубок, пожертвованный мистером Мак-Вейфом, который состоит членом клуба, точно так же как и врачи Гудхью и Холлман, живущие в колонии со своими женами. Палатка была наполнена прокаженными. Больные и здоровые пользовались одними и теми же ружьями и прикасались друг к другу в тесном помещении. Большинство были гавайцами. Рядом со мною на скамейке сидел норвежец, а против меня стоял, готовясь стрелять,—американец, ветеран гражданской войны, сражавшийся в войсках Конфедерации. Ему было шестьдесят пять лет, но это не мешало ему состязаться с другими. Рослые гавайские полисмены,—тоже прокаженные,—одетые в хаки, тоже стреляли, а также и португальцы, китайцы и кокуасы—туземные слуги поселка, не прокаженные. А когда вечером, уезжая, мы с Чармиан поднялись на утес, на высоту двух тысяч футов, чтобы посмотреть на общий вид поселка, мы увидели, как заведующий колонией, доктора и масса больных и здоровых всех национальностей с увлечением играли в мяч.

Не так, конечно, относились к прокаженному и его ложно понимаемой болезни в средние века. Прокаженный объявлялся тогда юридически и социально-политически умершим. Похоронная процессия отводила его в церковь, где его отпевали, как покойника. На грудь ему бросали горсть земли, и он становился мертвым, заживо погребенным. Хотя, конечно, такое подчеркнуто жестокое отношение было совершенно не нужно, все же оно твердо устанавливало в понятии населения одну вещь—необходимость изоляции. В Европе проказа была неизвестна до тех пор, пока ее не занесли возвращающиеся из Азии крестоносцы, после чего она стала медленно и упорно развиваться, охватывая все большие и большие круги населения. Было ясно, что болезнь передавалась через прикосновение, и стала несомненной необходимость изоляции заболевших. Только благодаря этому распространение проказы было приостановлено.

Вследствие изоляции больных проказа уменьшается даже на Гавайских островах. Но изоляция прокаженных на острове Молокаи совсем не тот кошмар, который так превратно описывается «желтой» печатью с определенной целью. Прежде всего надо сказать, что

прокаженный не вырывается из родной семьи внезапно и безжалостно. Когда обнаруживается подозрительный в этом отношении субъект, министерство здравоохранения приглашает его явиться на испытательную станцию Калихи, в Гонолулу. Проезд и все издержки по поездке ему оплачиваются. Его подвергают бактериологическому исследованию, и если у него находят bacillus leprae (бациллу проказы), его передают особой комиссии, состоящей из пяти врачей-специалистов. Если и они подтверждают наличность проказы, испытуемый объявляется прокаженным и подлежит отправке на Молокаи. Но во время всей этой процедуры больной имеет право выбрать какого-нибудь врача, являющегося, таким образом, его представителем во внешнем мире. А кроме того он не сразу выбрасывается на Молокаи после того, как его признают прокаженным. Ему дается достаточно времени—недели, а иногда даже и месяцы, в продолжение которых он живет в Калихи и приводит в порядок все дела. На Молокаи больного могут посещать родственники, поверенные в делах и другие лица, хотя им и не разрешается есть и спать у него в доме. Для этого имеются особые дома для посетителей, которые содержатся в большой чистоте.

Образец того, какому тщательному обследованию подвергается подозрительный по проказе субъект, я видел при посещении станции в Калихи, вместе с мистером Пинкгэмом, председателем санитарной комиссии. Испытуемый был по происхождению гавайец, семидесятилетний старик, тридцать четыре года проработавший в Гонолулу в качестве наборщика. Бактериолог станции дал заключение, что он болен, но испытательная комиссия не могла притти ни к какому определенному решению, и в тот день, когда мы посетили станцию, врачи еще раз собрались в Калихи для вторичного осмотра больного.

Даже отправленные на Молокаи прокаженные имеют право требовать переосвидетельствования, и многие больные отправляются под этим предлогом в Гонолулу. На пароходе, на котором я плыл в Молокаи, были две возвращавшиеся обратно в колонию молодые женщины—прокаженные. Одна ездила в Гонолулу, чтобы продать какую-то недвижимую собственность, другая—чтобы повидать больную мать. Обе оставались в Калихи около месяца.

Климат на Молокаи еще лучше, чем в Гонолулу, особенно в колонии, расположенной на подветренной стороне острова, как раз на пути прохладных северо-восточных муссонов. Окрестности великолепны. С одной стороны безбрежно-голубой океан, с другой—грандиозная стена утесов—п а л и,—прерываемая то здесь, то там роскошными горными долинами. Всюду богатые пастбища, по которым бродят сотни лошадей, принадлежащих прокаженным. Многие прокаженные имеют собственные телеги, брички и другие экипажи.

В маленькой гавани Калаупапа стоит множество рыбачьих лодок и одна моторная. Все это принадлежит прокаженным. Их экскурсии по морю, разумеется, ограничены известным районом, но других ограничений нет. Рыбу они продают санитарному управлению колонии и деньги получают в полную собственность. В то время, когда я был там, улов одной ночи равнялся четырем тысячам фунтов.

Кроме рыболовства они занимаются и земледелием. Да и ремесла здесь процветают. Один из прокаженных, чистокровный гавайец, содержит малярную мастерскую. У него работают восемь человек, и он берет подряды на окраску различных зданий колонии. Он состоит членом стрелкового клуба, где я с ним и познакомился, и, должен сознаться, он был одет гораздо лучше, чем я. У другого— столярная мастерская. Кроме магазина управления имеется несколько маленьких частных лавочек, где субъекты с торгашескими наклонностями могут упражнять свои инстинкты. Помощник начальника колонии мистер Вайямау—очень образованный и талантливый человек—гавайец и сам прокаженный. Мистер Бартлет, заведующий магазином—американец, торговавший в Гонолулу до заболевания проказой. Все, что зарабатывают эти люди, идет в их собственную пользу. Если они не хотят работать, они все же получают от колонии пищу, кров, одежду и медицинскую помощь. Санитарное управление имеет собственные поля, виноградники и молочные фермы. Желающие работать на них получают хорошее вознаграждение. Но никто не принуждает больных работать: они находятся на положении призреваемых. Для малолетних, стариков и нетрудоспособных имеются приюты и больницы.

С майором Ли, американцем, долго служившим в Междуостровной Пароходной Компании, я познакомился в новой паровой прачечной, где он был занят установкой двигателя. Я часто встречал его потом, и однажды он сказал мне:

— Дали бы вы правдивую картину нашей жизни здесь, описали бы все, как оно есть. Положили бы конец всем этим россказням о «долине ужасов». Нам тоже не очень приятно, когда о нас распускают дикие слухи. Расскажите, как мы действительно живем здесь.

И то же самое говорили мне, в тех или других выражениях, многие мужчины и женщины, с которыми я разговаривал в колонии. Не было сомнения, что они очень остро и горько пережили недавнюю сенсационную кампанию, поднятую газетами.

За исключением самого факта тяжелой болезни, прокаженные в колонии почти счастливы. Они живут в двух деревнях и многочисленных усадьбах и дачах на берегу моря. Их всего около тысячи человек. У них шесть церквей, народный дом, принадлежащий

Обществу Христианских Юношей, несколько зал для собраний, музыкальный павильон, ипподром, площадки для игры в мяч и для стрельбы в цель, атлетический клуб, множество других клубов и два духовых оркестра.

— Им здесь так нравится,—сказал мне как-то мистер Пинкгэм,— что их отсюда и силой не выгонишь.

Впоследствии я убедился в этом лично. В январе этого года одиннадцать прокаженных, болезнь которых после довольно острого периода совершенно замерла, были посланы в Гонолулу на переосвидетельствование. Они не хотели ехать, а когда их спросили, куда они хотели бы отправиться, если бы были признаны здоровыми, они все как один отвечали: «Обратно на Молокаи».

Много лет назад, до открытия возбудителя проказы, на Молокаи попало по недоразумению несколько мужчин и женщин, страдавших совершенно другими болезнями. И когда через несколько лет бактериологи заявили им, что они не больны и никогда не были больны проказой, они все же не хотели оставлять Молокаи. Они запротестовали против отсылки их и остались в колонии, на службе у санитарного управления. Один из них—теперешний смотритель тюрьмы,— когда его признали здоровым, согласился взять эту должность, лишь бы остаться в колонии.

В настоящее время в Гонолулу живет один чистильщик сапог, американский негр. Мистер Мак-Вейф рассказывал мне о нем. Очень давно, когда еще не применялось бактериологическое исследование, он был прислан в колонию, как прокаженный. В качестве призреваемого государством он довел свою независимость до высшего предела и причинил весьма много неприятностей администрации. За несколько лет он надоел всем невероятно, и вот в один прекрасный день к нему применяется бактериологическое исследование, и оказывается, что он не прокаженный.

— Ага!—радостно заявил мистер Мак-Вейф.—Теперь я избавлюсь от вас. Вы отправитесь с ближайшим пароходом. Счастливого пути!

Но негр совсем не собирался уезжать. Он сейчас же женился на старухе в последний стадии проказы и стал хлопотать о разрешении остаться ухаживать за больной женой. Никто не будет ухаживать за его бедной женой так хорошо, как он,—восклицал он патетически. Его игру раскусили. Он был посажен на пароход, отвезен в Гонолулу и выпущен на свободу. Но он хотел жить на Молокаи. Он высадился на другой стороне острова, перебрался через пали ночью и снова явился в поселок. Его, конечно, задержали, обвинили во вторжении в чужие владения, присудили к небольшому штрафу и снова посадили на пароход, предупредив, что если он вновь появится в колонии—его

оштрафуют в размере ста долларов и посадят в тюрьму в Гонолулу. И теперь каждый раз, когда мистер Мак-Вейф бывает в Гонолулу, чистильщик-негр чистит его сапоги и неизменно заявляет:

— Послушайте, хозяин, я ведь все равно что покинул родной дом. Да, сэр, потерял родной дом.—Потом голос его переходит в конфиденциальный шопот, и он спрашивает:—Скажите, хозяин, вернуться нельзя? Может быть, вы как-нибудь устроите, чтобы мне вернуться?

Он прожил на Молокаи девять лет, и ему жилось там лучше, чем когда-либо на свободе.

Что касается страха перед проказой, то нигде в колонии я не наблюдал его—ни среди больных, ни среди здоровых. Ужас перед проказой вырастает, очевидно, в умах тех, кто никогда не видал прокаженных и не имеет никакого понятия о болезни. В Вайкики, в отеле, где я остановился, одна дама с дрожью в голосе изумлялась, как это я могу решиться ехать осматривать колонию. Из дальнейших разговоров я узнал, что она уроженка Гонолулу, прожила здесь всю жизнь и никогда не видала в глаза прокаженных. Этого не мог сказать про себя даже я, так как изоляция заболевших в Соединенных Штатах проводится довольно слабо, и мне приходилось встречать прокаженных на улицах больших городов.

Проказа ужасна,—кто станет отрицать это! Но поскольку я понимаю эту болезнь и степень ее заразительности, я бы с большим удовольствием согласился провести остаток жизни на Молокаи, чем в санатории для туберкулезных. В каждой городской и сельской больнице для бедняков Соединенных Штатов, а также и других государств можно встретить, конечно, такие же ужасы, как на Молокаи, и общая сумма этих ужасов там еще более чудовищна. Поэтому, если бы мне было предложено на выбор кончать мои дни на Молокаи или в трущобах лондонского Вест-Энда, нью-йоркского Ист-Сайда и чикагского Сток-Ярда, я без малейшего колебания выбрал бы Молокаи. Я предпочел бы даже один год жизни на Молокаи пяти годам жизни в этих сточных ямах, наполненных человеческими отбросами.

Обитатели Молокаи чувствуют себя счастливыми. Я никогда не забуду празднования четвертого июля, на котором мне пришлось присутствовать. В шесть часов утра «несчастные» были уже на ногах, разодетые в фантастические наряды, верхом на собственных лошадях, ослах и мулах, и разъезжали взад и вперед по поселку. Два духовых оркестра тоже были на ногах. Тридцать или сорок «пау», великолепных гавайских амазонок, гарцовали небольшими группами в роскошных национальных костюмах. После обеда мы с Чармиан в павильоне жюри помогали раздавать призы за искусную езду этим самым «пау». Вокруг нас столпились сотни веселых прокаженных

с цветами на голове, на шее и на плечах, шутили и смеялись. И всюду по склонам холмов и на цветущих лугах виднелись скачущие фигуры мужчин и женщин, одетых по-праздничному, украшенных цветами, поющих, смеющихся, носящихся как птицы и ветер. И когда я стоял в павильоне жюри, наблюдая все это, мне вдруг вспомнился Дом Лазаря в Гаванне, где я видел около двухсот прокаженных, запертых в четырех стенах до самой смерти. Нет, я положительно знаю тысячи мест на земном шаре, которым я предпочел бы Молокаи. Вечером мы пошли в зал народных собраний, где состязались певческие общества, а по окончании концерта молодежь танцовала всю ночь напролет. Я видел гавайцев, живущих в трущобах Гонолулу, и прекрасно понимаю, почему они все в один голос говорят: «Назад на Молокаи», когда их везут на переосвидетельствование.

Одно неоспоримо. Прокаженному в колонии живется несравненно лучше, чем на воле. На воле прокаженный является отверженцем, одиноким, живущим в постоянном страхе, что его вот-вот откроют, и он сгнивает медленно и неуклонно. Проказа протекает неровно, скачками. Наложив руку на свою жертву и произведя в организме более или менее сильные опустошения, она может совершенно затихнуть на неопределенное время. Может пройти пять лет, и десять лет, и даже сорок лет—и пациент будет чувствовать себя совершенно здоровым. Впрочем, эти первые приступы редко излечиваются сами собой. Требуется помощь искусного хирурга, и этой помощью искусного хирурга не может воспользоваться больной, который скрывается. Пусть, например, болезнь проявилась в форме незаживающей язвы на подошве ноги. Как только язва дойдет до кости—начнется некроз [1]). Скрывающийся больной не может прибегнуть к оперативному вмешательству. Некроз захватывает мало-по-малу кость ноги, и в очень короткое время больной погибает от гангрены или каких-либо других осложнений. Если бы этот больной находился на Молокаи, хирург вырезал бы ему язву, вычистил кость и приостановил бы разрушение тканей в этом месте. Через месяц после операции больной скакал бы на лошади, состязался в беге, катался на прибое и взбирался на скалы за горными яблоками. И болезнь оставила бы его на пять, десять, а может быть—и сорок лет.

Прежние ужасы проказы относятся к тем временам, когда не было еще асептической хирургии, когда не было таких врачей, как доктор Гудхью и доктор Холлман, отдающих свою жизнь прокаженным. Доктор Гудхью был первым хирургом поселка, и никакими

---

[1]) Некроз—омертвение тканей или костей животного организма, при сохранении связи с организмом.

словами нельзя достаточно оценить его труд. Я провел с ним одно утро в операционной. Из трех произведенных им операций две были сделаны новым больным, прибывшим на одном пароходе со мной. У всех троих на теле было затронуто какое-нибудь одно место. У одного была язва на щиколотке, притом застарелая, у другого такая же застарелая язва под-мышкой. В обоих случаях доктору Гудхью удалось сразу приостановить разрушение. Через четыре недели эти больные будут так же здоровы и сильны, как они были до болезни. Единственный разницей между ними и мной или вами будет то, что в их теле таится болезнь в спящем состоянии, и в любой момент она может проявиться снова.

Проказа стара, как сама история. Упоминания о ней встречаются в самых древних исторических документах. И тем не менее, в сущности, о ней теперь знают почти столько же, сколько знали и в древности. Самое существенное знали и тогда, а именно, что она заразительна и что изоляция заболевших необходима. Разница между настоящим временем и прошедшим заключается, главным образом, в том, что теперь изоляция проводится строже, и в то же время обращение с прокаженными стало гораздо гуманнее. Но сама по себе проказа остается попрежнему ужасной и непроницаемой тайной. Если вы будете читать отчеты врачей и специалистов всех стран, то прежде всего убедитесь в противоречивом отношении к этой болезни. Специалисты не сходятся между собой в определении ни одной из стадий болезни. Они просто не понимают до конца ни одной. Прежде они обобщали,—наскоро и догматически. Теперь они не обобщают. Единственное возможное обобщение всех исследований—это то, что проказа мало-заразительна. Но каким способом происходит заражение—неизвестно. Возбудитель проказы в настоящее время найден. Бактериологическое исследование может определить, болен данный человек или нет; но и теперь, как и прежде, совершенно неизвестно, каким образом бациллы проникают в тело здорового человека. Продолжительность инкубационного периода тоже не установлена. Пробовали делать прививку проказы различным животным, но это не удалось.

Итак, специалисты еще не нашли средства, при помощи которого можно было бы бороться с проказой. Несмотря на все старания, они не открыли еще ни причины болезни, ни способов ее излечения. Иногда они опьянялись надеждами,—появлялись многообещающие теории, рекомендовались чудодейственные средства, но всякий раз неудачи гасили пламя надежд. Один доктор заявил, например, что причиной проказы является слишком продолжительное питание рыбой. Он очень основательно доказывал свою теорию, пока другой врач из гористой части Индии не потребовал от него объяснения, почему заболевают

проказой жители его округа, которые не только сами никогда не ели рыбы, но и все поколения их предков даже не видели ее. Кто-нибудь находит способ излечивать проказу каким-нибудь маслом или настойкой, а через пять, десять или сорок лет болезнь снова обнаруживается у его пациентов. Это обычная уловка проказы—оставаться в скрытом состоянии в теле больного неопределенное время; благодаря этому и было найдено столько «новых, верных средств». Одно остается неоспоримым: до сих пор не было еще ни одного несомненного случая излечения [1]).

Проказа мало-заразительна,—но как же все-таки происходит заражение? Один австрийский врач привил проказу себе и своим ассистентам, и никто из них проказой не заболел. Но это не показательно в виду известного случая с гавайским преступником, которому смертная казнь была заменена—с его согласия—привитием проказы. Через некоторое время после прививки болезнь явственно обнаружилась, и этот человек кончил свои дни в колонии на Молокаи. Но и это не показательно, так как впоследствии обнаружилось, что некоторые члены его семьи были больны проказой и уже находились на Молокаи в то время, когда ему делали прививку. Он мог еще меньше заразиться от них проказой, и она могла уже таиться в его теле, когда ему делали прививку. Затем рассказывают еще о герое-священнике, Демиэне, который поселился в колонии здоровым человеком и умер прокаженным. Много говорили о том, каким именно образом он заболел проказой, но в точности ничего известно не было. Он и сам не знал. Во всяком случае не меньшей опасности подвергается женщина, которая и сейчас живет в колонии; она живет здесь много лет, у нее было пять прокаженных мужей, и были дети от них, и до сих пор она совершенно здорова.

Итак, до сих пор никто еще не проник в тайну проказы. Когда мы будем больше знать о ней, может быть, будет найден и способ ее излечения. Если бы только удалось выработать действительную прививку, проказа, в виду ее слабой заразительности, совершенно исчезла бы с лица земли. Но как найти секрет этой прививки или какое-нибудь другое средство? Это вопрос очень серьезный. В одной Индии существует более полумиллиона прокаженных, живущих на свободе. Библиотеки Карнеджи, университеты Рокфеллера

---

[1]) Бергенская международная конференция по борьбе с проказой в 1909 году выдвинула очень осторожный лозунг: „проказа не неизлечима". Но уже 3-я международная конференция в Страсбурге в 1923 году определенно высказалась за возможность систематической борьбы с проказой. На Всесоюзном совещании по борьбе с проказой в Москве в 1926 году были приведены многочисленные факты, убеждающие в том, что выздоровление от проказы вполне возможно.

и тому подобные благотворительные учреждения очень хороши, конечно,—но невольно приходит в голову, как много можно было бы сделать даже на несколько тысяч долларов, пожертвованных на колонию в Молокаи. Обитатели колонии—это случайные неудачники, козлы отпущения какого-то таинственного закона природы, о котором люди ничего не знают, заключенные на острове ради благополучия их сограждан, которые могли бы заразиться от них. Но не столько даже для них самих нужны эти тысячи долларов,—они нужны, прежде всего, на дальнейшие исследования, на открытие какой-то прививки или какого-то еще более изумительного средства, которое поможет победить bacillus leprae. Вот, господа филантропы, хорошее употребление для ваших денег!

ГЛАВА VIII

Обитель Солнца

Толпами, как какие-нибудь беспокойные духи, мечутся люди взад и вперед по свету в поисках каких-то особенно красивых морских или горных видов и разных других чудес природы. Европу они наводняют целыми армиями; вы можете встретить их стада на Флориде, в Вест-Индии, у пирамид, по склонам и вершинам канадских и американских Скалистых Гор; но в Обители Солнца они такая же редкость, как живые динозавры [1]. Обитель Солнца по-гавайски—Халеакала. Это великолепное жилище находится на острове Мауи, и его посетило такое ничтожное число туристов, что число это можно считать за нуль. И все же я рискну утверждать, что, может быть, существуют на земле места такие же изумительные по красоте и величию, как Обитель Солнца, но более прекрасных и более величественных, конечно, нет. От Сан-Франциско до Гонолулу—шесть дней пути пароходом; до Мауи от Гонолулу—один день пароходом; и уже через шесть часов путешественник—если он торопится—может очутиться в Коликоли, на высоте десяти тысяч тридцати двух футов над уровнем моря, у «главного входа» в Обитель Солнца. Но туристы не являются, и Халеакала спит в своем одиноком и никем не оцененном величии.

Но так как мы, обитатели «Снарка», не туристы, то мы и отправились на Халеакала. На склонах громадной горы расположено ранчо, занимающее около пятидесяти тысяч акров; в нем мы заночевали на высоте двух тысяч футов. На следующее утро на сцену

---

[1]) Динозавры — группа ископаемых пресмыкающихся юрского периода.

явились высокие сапоги, седые ковбои и вьючные лошади, и мы добрались до Укулэлэ, горной фермы на высоте пяти тысяч футов, где по ночам необходимы одеяла, а вечером—хороший огонь в камине. Укулэлэ по-гавайски означает, собственно,—«прыгающая блоха», но этим же именем называется музыкальный инструмент, напоминающий гитару. Торопиться нам было некуда, и мы провели в Укулэлэ целый день в научных рассуждениях о влиянии высоты места над уровнем моря на показания барометра, время от времени демонстрируя наш собственный барометр, который при умелом потряхивании давал любые показания. Вообще наш барометр—самый очаровательно-покладистый инструмент, который я только видел. Затем мы собирали горную малину величиною с куриное яйцо, смотрели на перерезанные чудесными пастбищами, покрытые лавой склоны Халеакала и наблюдали стихийную битву облаков, сталкивающихся под нами, в то время как сверху изливалось ослепительное солнечное сияние.

День за днем идет эта бесконечная борьба облаков. Укиукиу—так зовут северо-восточный муссон—с яростью налетает на Халеакала. Но Халеакала так высока, что изменяет направление ветра и разрезает муссон на две части, так что на противоположной стороне горы ветра нет вовсе, а часть его резко поворачивает назад, прямо в пасть муссону. Этот обратный ветер называется Наулу. И день за днем, и ночь за ночью борются между собою Укиукиу и Наулу, отступая, налетая, огибая, извиваясь, крутясь и перепрыгивая друг через друга, что можно наблюдать по движениям облачных масс, разрываемых, отбрасываемых и снова нагромождаемых целыми батальонами, армиями, горами. Иногда Укиукиу удается перекинуть сразу огромные массы туч на вершину Халеакала, тогда Наулу быстро подхватывает их, формирует из них свои полки и бросает ими в своего древнего, вечного врага. И опять Укиукиу посылает огромную армию облаков вдоль восточного склона горы—это обходное, фланговое движение, хорошо рассчитанное и выполненное. Но Наулу из засады на противоположной стороне горы замечает фланговое движение, он схватывает армию врага, топчет ее, крутит, рвет и опять сбивает и отбрасывает назад к Укиукиу вдоль западного склона горы. И все время выше и ниже главного поля сражения несутся с двух сторон маленькие обрывки облаков, яростно сталкиваясь между собою, застревая в ущельях и между деревьями, подстерегая друг друга, делая внезапные вылазки и опять убегая в ущелья. Но когда Укиукиу и Наулу двигают свои главные силы, маленькие яростные авангарды оказываются смятыми, и они на тысячи футов взлетают вверх вертикальными вихревыми столбами.

Но главное сражение разыгрывается все же на западном склоне Халеакала. Сюда стягивает Наулу свои грознейшие силы и здесь

одерживает самые блестящие победы. К вечеру Укиукиу ослабевает— как и всегда муссоны—и Наулу берет верх над ним. Наулу—хороший стратег. Целый день он собирает огромные резервы на западном склоне. Вечером он выводит их в бой стройной колонной в милю шириной, много миль длиной и в несколько сот футов толщиной. Колонна спереди заострена. Она медленно врезается в широкий боевой фронт Укиукиу, и вот Укиукиу, все слабеющий и слабеющий, смят ею. Но он еще не совсем обессилен. Он борется все еще с остервенением. Он охватывает куски облачной армии Наулу в полмили длиною и далеко отбрасывает их к западу. Иногда, когда обе армии сходятся вплотную по всему фронту, получается гигантский вихревой столб, и рваные лохмотья облаков взлетают, кружась, на тысячи футов вверх. Любимым приемом Укиукиу является отправка плотно сбитой массы облаков низом, над самой землей, под позиции Наулу. Если Укиукиу удается забраться вниз, он начинает вытягиваться. Иногда мощный центр Наулу не выдерживает натиска, но обычно он отбрасывает атакующих—смятых и истерзанных в мелкие клочья. И все время, не переставая, яростные маленькие авангарды карабкаются по склонам, ползут из ущелий, наскакивая друг на друга неожиданными прыжками. А на небе—высоко-высоко— солнце склоняется к закату безмятежно и одиноко, и Халеакала смотрит вниз на сражающихся. Приходит ночь. Но наутро Укиукиу—по обычаю муссонов—набирается силы и опрокидывает полчища Наулу. И так день за днем. День за днем идет вечный бой облаков, вечно бросаемых друг против друга двумя ветрами—Укиукиу и Наулу—на склонах Халеакала.

С утра опять появляются на сцену высокие сапоги, седла, ковбои и вьючные лошади, и мы начинаем взбираться на вершину. Одна из вьючных лошадей везет двадцать галлонов воды, налитой в четыре пятигаллонных меха. На вершине кратера вода—редкая драгоценность, хотя по склонам кратера дождей выпадает больше, чем в каком-либо другом месте земного шара. Поднимаясь на гору, приходится переезжать прямиком через бесчисленные потоки застывшей лавы, без малейшего намека на тропинку, и ни разу в жизни я не видел, чтобы лошади ступали так необыкновенно уверенно, как эти тридцать лошадей нашего отряда. Они влезали или спускались по совершенно отвесным кручам с легкостью и спокойствием горных коз, и ни разу ни одна не упала и даже не споткнулась.

Когда поднимаешься на гору, испытываешь всегда одну и ту же странную иллюзию. По мере подъема развертываются все большие и большие пространства земли, и кажется, будто горизонт поднимается выше того пункта, на котором стоит наблюдатель. Эта иллюзия особенно остра на Халеакала, так как вулкан поднимается

непосредственно из океана. И вот, чем выше взбирались мы по мрачным склонам Халеакала, тем глубже опускались, точно падая в какую-то бездну, сама Халеакала, и мы, и все вокруг. Где-то там, выше нас, лежала линия горизонта. Океан точно скатывался на нас с горизонта. Чем выше мы поднимались, тем ниже, казалось нам, мы опускались. Это было что-то нереальное, противоестественное, фантастическое, и в голове мелькали мысли о кратере вулкана, через который Жюль Верн попал к центру земли.

И когда, наконец, мы достигли вершины этой гигантской горы, мы оказались не на вершине и не на дне—мы находились на краю страшной пропасти огромного кратера; этот кратер и есть Обитель Солнца. На двадцать три мили по окружности тянулся головокружительный барьер кратера. Мы стояли на части почти отвесной его стены, и дно кратера лежало под нами на расстоянии полумили. Дно это, залитое потоками лавы и покрытое мелкими конусами из шлаков, было такого ярко-красного цвета, точно лава застыла в нем только вчера. Самые маленькие из этих второстепенных конусов имели четыреста футов высоты, а большие до девятисот, но они казались небольшими кучками песка. Две большие расщелины глубиною по несколько тысяч футов разрывали края кратера, и Укиукиу напрасно старался прогнать через них свои белые полчища облаков. По мере того как они продвигались к середине, жар кратера растворял их, и они без следа исчезали в воздухе.

Перед нами была картина дикого запустения, строгая, страшная, подавляющая и чарующая. Под нами было жилище подземного огня, мастерская природы, все еще занятая древними делами мироздания. Местами пробиваются из недр земли жилы первичных каменных пород и виднеются на когда-то расплавленной и теперь остывшей поверхности. Все это было нереально и невероятно. Над нами (на самом деле—внизу, под нами) шла облачная битва между Укиукиу и Наулу. Еще выше, по склонам кажущейся пропасти, выше полчищ облаков, были подвешены в воздухе острова Ланаи и Молокаи. По другую сторону кратера, опять как будто над нами, поднималось бирюзовое море, почти белая линия прибоя гавайского побережья, потом пояс облаков муссона, а еще выше торчали в голубом небе, стоя на пьедестале из облаков, страшные шапки Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, покрытые снегом, укутанные туманами.

Предание рассказывает, что на месте, называемом сейчас Западным Мауи, жил некий Мауи, сын Хины. Мать его, Хина, занималась изготовлением капа. Вероятно, она приготовляла капа по ночам, потому что днем она занималась просушкой их. Каждое утро, много дней под ряд, расстилала она свои капа на солнце. Но едва успевала она разостлать их, как надо было начинать собирать их на

ночь. Имейте в виду, что дни тогда были гораздо короче, чем сейчас. Мауи смотрел на тяжелый и бесплодный труд матери, и ему было обидно за нее. Он решил, что надо помочь ей,—о, конечно, не помочь развешивать и собирать капа, он был слишком умен для этого. Он придумал заставить солнце двигаться медленнее. По всей вероятности, он был первым гавайским астрономом. Так или иначе, он произвел несколько наблюдений над солнцем с разных пунктов на острове. Он вывел из этих наблюдений, что солнце идет как раз над Халеакала. Не в пример Иисусу Навину, он обошелся без всякой божественной помощи. Он собрал достаточное количество кокосовых орехов, сделал из их волокон хорошую веревку с петлей на одном конце,—как раз такую веревку, как делают и сейчас ковбои на Халеакала. Потом он забрался в Обитель Солнца и стал ждать. Когда солнце показалось на своей дорожке, быстро несясь, чтобы поскорее закончить день, храбрый юноша накинул свой аркан на один из самых крупных и крепких солнечных лучей. Этим он немного задержал солнце, но луч сломался. Тогда он стал накидывать аркан на все лучи под ряд, обламывая их, и солнце сказало, что согласно вступить в переговоры. Мауи выставил свое условие для заключения мира, а именно: чтобы впредь солнце двигалось медленнее—и солнце согласилось. Благодаря этому у Хины стало достаточно времени, чтобы просушивать свои капа, а дни стали длиннее, чем были раньше, что вполне согласно с учением современной астрономии.

Мы позавтракали вяленым мясом и терпким п о и в каменной ограде, служившей прежде для ночевок скота, прогоняемого через остров. Потом, проехав около полумили по краю кратера, мы стали спускаться на его дно. Оно лежало под нами на расстоянии двух тысяч пятисот футов, и лошади скользили и сползали по вулканическим шлакам. Черная плотная поверхность шлаков, разбиваемая копытами лошадей, превращалась в желтую пыль, кислую на вкус, взвивавшуюся облаками. Проскакали небольшую гладкую площадку до нового спуска, менее крутого, извивающегося между конусами шлаков, кирпично-красными, бледно-розовыми и черно-красными. Над нашими головами выше и выше вырастали стены кратера, а мы перебирались через бесчисленные потоки лавы, между черными волнами окаменелого мира с фантастическими утесами и пропастями. Наш путь не меньше семи миль шел над бездонной пропастью вдоль или над самым потоком застывшей лавы последнего извержения.

Наконец, мы сделали привал у подножия стены в полторы тысячи футов высотою, в маленькой роще деревьев о л а п а и к о л е а. Здесь была и трава для лошадей, но воды не было, и нам пришлось прежде всего отправиться чуть не за милю к известному нашим

проводникам водоему. Но воды и там не оказалось. Тогда вскарабкались еще выше футов на пятьдесят и ведром перелили воду, найденную в верхней впадине, в нижнюю. Воды оказалось бочек шесть; драгоценная жидкость потоком побежала вниз по скале и наполнила нижнюю впадину. Ковбои напоили лошадей. Потом мы разбили палатку, стреляли диких коз, прыгавших вверху целыми стадами. К вяленому мясу и терпкому пои прибавилась козлятина, жареная на вертеле. По гребню кратера, как раз над нашими головами неслось море облаков, гонимых Укиукиу. Облака неслись непрерывно, но никогда не достигали середины кратера и ни разу не заслонили нам месяца, потому что жар вулкана немедленно уничтожал облака. Привлеченные нашим огнем, пробирались к нам в лунном свете дикие быки и долго и удивленно смотрели на нас. Они были довольно жирны, хотя почти не видели воды, за исключением утренней росы на траве. Роса, впрочем, была очень сильная, так что мы были весьма благодарны нашей палатке, в которой уснули под звуки хула неутомимых гавайских ковбоев, в жилах которых, конечно, течет кровь Мауи, их храброго предка.

Фотографический аппарат не в силах воздать должного Обители Солнца. Хитроумнейшие светочувствительные пластинки, разумеется, не лгут, но они, конечно, не передают всей правды. Можно правильно воспроизвести Куулау-Геп, как он отражается на матовом стекле кодака, и все же на готовом снимке не получится всей гаммы неуловимых оттенков и подлинного величия зрелища. Стены кратера, которые кажутся имеющими сотни футов в вышину, на самом деле вздымаются на несколько тысяч футов; край облака, выдвинувшийся клином над отверстием кратера,—около мили в ширину, а за стеной кратера это облако равняется целому океану; передний план из глыб шлака и вулканической пыли, который кажется темным и бесцветным, на самом деле великолепно играет красками,—он и кирпично-красный, и цвета терракоты, и розовый, и цвета желтой охры, и черный с отливом пурпура. Слова бессильны и могут привести в отчаяние. Ведь сказать, что вышина стены кратера—две тысячи футов, значит только всего и сказать, что вышина ее две тысячи футов, но к этой стене нельзя подходить с одними цифрами. Солнце находится от нас на расстоянии девяноста трех миллионов миль, но для сознания смертного человека соседняя провинция кажется более отдаленной. Эта немощность человеческого воображения особенно ясна на примере с солнцем. Такова же она и в отношении Обители Солнца. Халеакала, воплощение чуда и красоты, так подавляюще действует на человеческую душу, что передать это словами нельзя даже приблизительно. Коликоли находится в шести часах езды от Кахулуи; Кахулуи—на расстоянии одной ночи от

Гонолулу; Гонолулу—в шести днях пути от Сан-Франциско, а вы сами—живете там.

Наутро мы опять карабкались по откосам кратера, заставляли лошадей проходить по невероятным местам, сбрасывали вниз камни и стреляли в диких коз. Я не попал ни в одну,—потому, вероятно, что был слишком занят камнями. Один раз мы столкнули камень величиною с лошадь. Он двигался сначала довольно медленно, переворачиваясь с боку на бок, намереваясь остановиться. Но уже через несколько минут делал прыжки футов по двести. Он быстро уменьшался и, наконец, стал походить на маленького скачущего кролика, оставляя за собою узкую желтую полоску на черном склоне. И камень и облачко пыли вокруг него делались все меньше, и наконец кто-то сказал, что камень остановился. Он сказал это, конечно, потому, что просто перестал видеть камень. Другие, может быть, видели его еще некоторое время—я, например. Я даже глубоко убежден, что он и сейчас все еще катится.

В последний день нашего пребывания в кратере Укиукиу показал себя во всем величии. Он смял Наулу по всей линии, наполнил облаками Обитель Солнца до краев и вымочил нас до нитки. Водомером нам служил сосуд вместимостью в одну пинту, стоявший под маленьким отверстием в парусине палатки. В эту бурную ночь он наполнился до краев в одно мгновение, и так как нам нечем было измерять воду, стекавшую под одеяла, то не было решительно никакого резона оставаться в кратере. Мы снялись, едва забрезжил рассвет, и начали спускаться с восточной стороны по расщелине Каупо. Весь восточный берег Мауи не что иное, как громадный поток лавы. Мы спустились по этому потоку с высоты шести тысяч пятисот футов к берегу моря. Такой перегон был бы тяжелым рабочим днем для всех лошадей, только не для наших. В трудных местах они шли спокойно, не торопясь, но как только попадали на более ровное место, где можно было перейти в рысь,—они переходили в рысь. Их невозможно было удержать, пока дорога не становилась опять опасной,—тогда они останавливались сами. Несколько дней лошади непрерывно и тяжело работали, питаясь травой, которую сами находили, пока мы спали, а в этот последний день они сделали двадцать восемь головоломных миль и примчались в Хана, как веселые жеребята. Многие из них никогда не были подкованы, и после трудных многодневных переходов по острым, как стекло, осколкам лавы, с тяжестью человеческого тела на спине,—их копыта были в лучшем состоянии, чем копыта многих подкованных лошадей.

Местность между Виейрасом и Хана (мы проехали ее в полдня) так хороша, что здесь стоило бы прожить и неделю, и месяц. Но вся ее дикая красота ничто в сравнении со сказачной страной,

начинающейся за плантациями каучуковых деревьев между Хана и ущельем Хономану. Мы проехали в два дня эту волшебную местность, лежащую по северному склону Халеакала. Местные жители называют ее Страной Канав,—название не слишком многообещающее, но что делать, так уж назвали: никто кроме местных жителей здесь не бывает, и никто кроме них этой местности не видел. За исключением горсточки людей, которых дела заставляют проезжать здесь, никто никогда не слышал ничего о Стране Канав на острове Мауи. Известно, что такое канава,—это всегда нечто грязное, пересекающее обычно самые однообразные и неинтересные местности. Но Канава Нахику—совсем необычайная канава. Вся подветренная сторона Халеакала изрезана тысячью ущелий, по которым несутся потоки, образуя многочисленные каскады и водопады. Здесь за год выпадает больше дождей, чем где бы то ни было в другом месте на земле. Вода здесь означает сахар, а сахар—это душа Гавайских островов. Вот откуда и произошла Канава Нахику, которая, собственно, не канава, а целая сеть тоннелей. Вода находится все время под землей, и видна только тогда, когда, пройдя через ущелье по высокому, легкому акведуку [1]), снова погружается в глубины земли на противоположной стороне. Назвать это изумительное гидравлическое сооружение «Канавой» можно, пожалуй, с тем же правом, как галеру Клеопатры [2])—товарным вагоном.

В этой стране нет колесных дорог, а в прежнее время, до постройки Канавы, не было даже и тропинок. Громадное количество осадков, выпадающих на плодородную почву под тропическим солнцем, означает бешеную растительность. Если бы кто-нибудь захотел пробиться пешком сквозь здешние заросли, он смог бы сделать в день не больше одной мили. Через неделю, при последнем издыхании, он был бы принужден ползти обратно, чтобы как-нибудь выбраться, пока проложенная им тропинка не заросла опять. О'Шауфнесси—фамилия дерзкого инженера, который завоевал джунгли и ущелья и соорудил не только Канаву, но и проложил тропинку вдоль нее. Он работал долго и упорно, взрывая скалы, и создал одно из самых изумительных гидравлических сооружений в мире. Каждый маленький проток и ручеек отведены подземными ходами в главную Канаву. Но дождя выпадает иногда столько, что нужны бесчисленные мелкие канавы, чтобы отвести избыток воды в море.

Тропинка для верховых—не широка. Она проложена совсем в духе дерзкого инженера—очень смело. Когда Канава уходит глубоко

---

[1]) Акведук — мост для провода воды.

[2]) Галера (гребное судно) египетской царицы Клеопатры отличалась чрезвычайной роскошью.

в гору, тропинка вьется над нею, а когда вода идет через ущелье по акведуку, то и тропинка бежит тут же. Вообще тропинка весьма беспечна и совсем не заботится об удобстве путешественников. Она идет по самому отвесу пропастей, где над головой стена в несколько сот футов, а под ногами провал в несколько тысяч футов; она по камням обходит водопады или проходит под ними, а они летят сверху с невероятным грохотом и яростью. Но удивительные горные лошади столь же беспечны, как и тропинка. Они бегут рысцой по скользким от дождя камням и поскакали бы галопом, ежеминутно обрываясь задними ногами с края обрыва, если бы им позволили это. Я не посоветовал бы ехать по тропинке вдоль Канавы Нахику людям недостаточно выдержанным или со слабыми нервами. Один из наших ковбоев считался на большой ферме, откуда мы его взяли, самым сильным и смелым. Он провел всю жизнь верхом в гористой местности на западной стороне Халеакала. Он лучше всех объезжал лошадей, и когда все другие отказывались, он шел в загон для дикого скота укрощать какого-нибудь свирепого быка. Одним словом, у него была блестящая репутация. Но он еще ни разу не ездил вдоль Канавы Нахику, и здесь репутации его суждено было погибнуть. Когда ему пришлось в первый раз переправляться через акведук, узенький, без перил, перекинутый через ущелье на неизмеримой высоте, при чем один бешеный поток воды летел сверху, а другой снизу, и оба вместе оглушали ревом и ослепляли брызгами,—ковбой слез со своей лошади, наскоро объяснив, что у него жена и несколько детей, и перешел акведук пешком, держа лошадь в поводу.

Единственным отдохновением от акведуков было пробираться по краю пропасти, и единственным отдохновением от пропастей были акведуки, за исключением, впрочем, тех случаев, когда Канава уходила глубоко под землю в расщелины, через которые мы проходили поодиночке по еле держащимся первобытным деревянным мостикам, ведя лошадь в поводу. Признаюсь, что первое время я во всех опасных местах вынимал ноги из стремян, а когда мы ехали по краю пропасти, то вполне сознательно и преднамеренно освобождал ту ногу, которая висела над бездной глубиною в тысячу футов. Я сказал «первое время», потому что как в кратере мы очень скоро потеряли представление о грандиозности, так и здесь, на Канаве Нахику, мы скоро перестали воспринимать глубину. Ощущения неизмеримой высоты и такой же неизмеримой глубины сменялись так часто, что стали, наконец, обычной формой восприятия действительности, и смотреть с седла в глубину четырех или пятисот футов стало уже чем-то естественным и обыденным и не вызывало ни малейшей дрожи. Теперь мы уже перебирались по головокружительным

высотам или ныряли под водопады так же беспечно, как эти сказочные тропинки и эти сказочные лошади.

Да, это была поездка! Мы ехали то выше облаков, то ниже облаков, то в самых облаках. Время от времени луч солнца прорезывал, как прожектор, черные глубины пропастей или зажигал над нашими головами край кратера где-нибудь на высоте тысячи футов. На каждом повороте дороги нашим глазам открывался новый водопад или дюжина новых водопадов. Около нашей первой ночевки в ущелье Кине мы насчитали, стоя на одном месте, тридцать два водопада. Дикая растительность покрывала эту дикую страну. Целые рощи коа, колеа и орешника. Были здесь еще деревья, называемые охиа-аи, с ярко-красными яблоками, сочными, нежными и изумительно вкусными. Дикие бананы росли всюду, свешиваясь над ущельями, а иногда ветвь ломалась под тяжестью громадных спелых гроздей, и бананы лежали поперек тропинки, заграждая путь. А над лесом вздымалось зеленое живое море вьющихся растений всевозможных пород; одни качались в воздухе, как тончайшее кружево, другие толстыми сочными змеями вползали на деревья; одно из них—эи-эи,—чрезвычайно похожее на ползучую пальму, перебрасывалось толстыми гирляндами с ветки на ветку, с дерева на дерево и душило свою живую опору, по которой ползло все выше и выше. Сквозь море зелени древесные папоротники поднимали свои нежные листья с тонкой прорезью, и ярко горели огромные красные цветы лехуа. По земле расстилались странные травы яркой окраски, которые можно увидеть в Соединенных Штатах только в оранжереях. В сущности, вся Страна Канав острова Мауи представляет огромную оранжерею. Особенно много папоротников, и кроме всех известных видов очень много неизвестных и необыкновенных, начиная от тончайшего и нежнейшего «девичьего волоса» до грубого хищника стагхорна, врага местных дровосеков, образующего плотные массы в пять-шесть футов толщины, покрывающие иногда площади во много акров.

Да, это была изумительная поездка. Мы сделали ее в два дня, потом выехали на колесную дорогу и вернулись на ферму галопом. Конечно, это было очень жестоко—гнать галопом лошадей после такого длинного и трудного путешествия, но, к сожалению, ничего нельзя было сделать: мы все натерли поводьями пузыри на руках и все-таки не могли сдержать лошадей. Вот каких необычайных лошадей выращивает Халеакала.

На ферме мы застали празднество: там жарили быков, пили брэнди и скакали на необъезженных лошадях. А высоко над головами храбро сражались Укиукиу и Наулу, а еще выше купалась в солнечных лучах могучая вершина Халеакала.

ГЛАВА IX

Через Тихий океан

«От Гавайских островов до Таити.—Этот переход чрезвычайно затрудняют пассаты. Китоловы и все другие моряки говорят, что с Гавайских островов очень трудно добраться до Таити. Капитан Брюс разъясняет, что судно должно сначала направляться к северу, пока оно не попадет в полосу ветра, прежде чем направить свой путь к цели. Капитан Брюс во время своего плавания в ноябре 1837 года, идя с Гавайских островов к Таити, никак не мог поймать переменных ветров, и ему не удавалось добиться отклонения к востоку, несмотря на все его усилия...»

Вот что говорится в указаниях для судов о южной части Тихого океана—и это все, что там сказано. Ни слова больше, чтобы облегчить измученному путешественнику этот долгий переход,—там нет также ни слова о пути с Таити до Маркизовых островов, лежащих в восьмистах милях к северо-западу от Таити, а этот путь еще труднее. Отсутствие каких-либо указаний объясняется, я полагаю, уверенностью в том, что ни один путешественник не станет предпринимать такое невозможное путешествие. Но невозможное не пугало «Снарк», главным образом, потому, что мы прочли эти краткие «Указания парусникам» после того, как мы отправились в путь.

Мы отплыли от Хило (Гавайские острова) 7 октября и прибыли на Нука-Хива (Маркизовы острова) 6 декабря. Расстояние по карте—две тысячи миль, мы же сделали по меньшей мере четыре; а если бы держали прямо на Маркизовы, то прошли бы не меньше пяти или шести тысяч миль, что и доказывает раз навсегда, что прямая линия далеко не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками.

Одно мы решили твердо с самого начала: не пересекать экватора западнее 130-го меридиана. В этом и была вся задача. Переходя экватор западнее 130-го меридиана, мы попадали во власть юго-восточных муссонов, которые так отклонили бы нас от Маркизовых островов, что впоследствии пришлось бы итти почти против ветра. А еще вдобавок экваториальное течение, скорость которого равна от двадцати до семидесяти пяти миль в день! Нечего сказать, приятная штучка итти против ветра и против течения! Нет, дальше 130-го градуса мы не пойдем. Но так как юго-восточные муссоны можно встретить на пять или шесть градусов севернее экватора, мы должны были держаться значительно севернее экватора и севернее муссонов по крайней мере до 128-го меридиана.

Я забыл упомянуть, что газолиновый двигатель в семьдесят пять лошадиных сил, по своему обыкновению, не работал, так что приходилось рассчитывать только на паруса. Мотор шлюпки тоже не работал. Кстати сказать, пятисильная динамо, обслуживающая освещение, насосы и вентиляторы, тоже числилась больной. И во сне и наяву передо мной стоит чрезвычайно эффектное заглавие для книги. Непременно напишу книгу под заглавием: «Плавание вокруг света с тремя газолиновыми двигателями и женой». Боюсь только, что не напишу такой книги из опасения оскорбить самолюбие кого-либо из молодых людей, которые обучались своему ремеслу на двигателях «Снарка» в Сан-Франциско, Гонолулу и Хило.

На бумаге все это казалось чрезвычайно легко. Вот тут—Хило, а там—цель нашего плавания под 128-м градусом западной долготы. Попутный северо-восточный пассат мог бы погнать нас по прямой линии между этими двумя точками. Но самое неприятное в пассатах заключается в том, что никогда точно не известно, где найти их, и в каком именно направлении они будут дуть. Нас подхватил северо-восточный пассат, едва мы отошли от Хило, но этот жалкий ветерок быстро умчался прямо на восток. Кроме него было еще северное экваториальное течение, несшееся к западу подобно мощной реке. Небольшое суденышко при ветре и сильном волнении очень плохо подвигается вперед. Его швыряет вверх и вниз, и оно все остается на одном месте. Паруса его надуты и наполнены ветром, каждое мгновение подветренный борт почти касается воды; судно кружится, подскакивает и дергается—и только. Когда же оно, наконец, пойдет—оно взлезает на огромную водяную громаду и, разумеется, опять останавливается. И «Снарк», вследствие его малых размеров, восточного пассата и мощного экваториального течения, сильно уклонялся к югу. Только не прямо к югу. Он угрожающе отклонялся к юго-востоку. Одиннадцатого октября он отклонился к востоку на сорок миль; двенадцатого октября—на пятнадцать миль; тринадцатого октября—не отклонился совсем; четырнадцатого октября—на тридцать миль; пятнадцатого октября—на двадцать три мили; шестнадцатого октября—на одиннадцать миль, и семнадцатого октября «Снарк», наконец, подвинулся к западу на четыре мили. Таким образом, за неделю он отклонился к востоку на сто пятнадцать миль, что составляет в среднем шестнадцать миль в день. Но меридиан Хило и 128-й градус западной долготы отстоят друг от друга на двадцать семь градусов, или, приблизительно, на тысячу шестьсот миль. Считая по шестнадцати миль в день, нам необходимо было сто дней, чтобы пройти это расстояние. И то мы попали бы на 128-й градус западной долготы в пяти градусах к северу от экватора, тогда как цель нашего плавания—Нука-Хива в группе

Маркизовых островов—лежит на девять градусов к югу от экватора и в двенадцати градусах к западу!

Нам оставалось только одно—спуститься к югу, выйти из полосы пассатов и вступить в полосу переменных ветров. Капитан Брюс совершенно прав, когда пишет, что не встретил переменных ветров, и что ему «никак не удавалось добиться отклонения к востоку». Переменные ветры были для нас единственным исходом, и мы молились, чтобы нам повезло больше, чем капитану Брюсу. Переменные ветры занимают определенный пояс в океане и лежат между обеими полосами пассатов. Они образуются следующим образом: столбы нагретого воздуха поднимаются вверх, встречаются с пассатами и постепенно опускаются вниз, пока не опустятся до поверхности океана, и их находят... там, где находят: границы их пояса лежат между обоими поясами пассатов, а это значит, что территория их весьма неопределенна и изменчива.

Мы нашли переменные ветры на одиннадцатой параллели северной широты и изо всех сил держались одиннадцатой параллели северной широты. К югу лежала полоса южных пассатов. К северу—полоса северо-восточных пассатов, которые не хотели дуть с северо-востока. Дни шли за днями, и «Снарк» все время оставался близ одиннадцатой параллели. Переменные ветры и в самом деле были переменчивы. Легкий ветерок вдруг падал и оставлял нас в полосе мертвого штиля на сорок восемь часов. Потом ветерок снова начинал дуть, дул три часа и снова оставлял нас в полосе штиля на новых сорок восемь часов. Потом—о радость!—начинал дуть ветер с запада,—свежий, чудесный свежий ветер—и нес «Снарк» прямо туда, куда нужно. Но по истечении получаса ветер внезапно стихал... И так все время. Мы оптимистически держали пари из-за каждого порыва ветра, который продолжался больше пяти минут, но этого было мало.

И все же были исключения. Когда вы имеете дело с переменными ветрами, если вы ждете достаточно долго, вы всегда можете рассчитывать на счастливый случай, а мы так хорошо были снабжены водой и съестными припасами, что могли позволить себе ждать. Двадцать шестого октября мы прошли сто три мили к востоку, и этот переход много дней служил у нас темой для разговоров. В другой раз нас подхватил ветер, дувший с юга в течение восьми часов. Он дал нам возможность пройти семьдесят одну милю к востоку! А как раз в то время, когда этот ветер совсем спадал, подул ветер прямо с севера и заставил подвинуться еще на один градус к востоку.

Много лет ни одно парусное судно не совершало такого перехода, и мы оказались в полном одиночестве среди Тихого океана. За все шестьдесят дней, пока длилось наше плавание, мы не повстречали

ни одного паруса, не заметили ни разу дымка парохода над горизонтом. Поврежденное судно могло бы сотни лет пробыть среди этой водной пустыни и не получить ниоткуда помощи. Помощь могла притти только с какого-либо судна в роде «Снарка», а «Снарк» оказался здесь, главным образом, потому, что мы пустились в путь, не прочтя во-время относящегося до этого перехода абзаца в «Указаниях парусникам». Когда мы стояли во весь рост на палубе, прямая линия от наших глаз до горизонта равнялась трем с половиной милям. Таким образом, диаметр той части поверхности океана, имевшей форму окружности, центром которой мы являлись, равнялся семи милям. Мы все время пребывали в центре окружности и все время двигались то в одну, то в другую сторону; следовательно, окружности, которые мы видели, все время менялись. Но все окружности были похожи одна на другую. Никакие острова, серые мысы или сверкающие пятна белых парусов не нарушали линии горизонта. Облака проносились над нами, появляясь над одним краем окружности, пролетали над ее поверхностью и скрывались за противоположным ее краем.

Недели шли за неделями, и внешний мир забывался нами. Он тускнел в памяти до тех пор, пока не осталось для нас уже ничего, кроме «Снарка» и его семи обитателей. Воспоминания о прежней жизни в далеком большом мире стали похожи на сны о каком-то прежнем существовании, которое мы пережили раньше, чем родились здесь, на «Снарке». О свежих овощах, например, которых мы не видали очень давно, мы упоминали так, как, бывало, мой отец о каких-то особенных яблоках, которые он едал в детстве. Человек создается привычками—и мы, обитатели «Снарка», были созданы нравами и обычаями «Снарка». Все, что входило в их круг, казалось важным и существенным, все остальное—раздражало и почти оскорбляло.

Да и не было для внешнего мира никакого пути воздействовать на нас. Никто не мог притти к обеду, не было ни телеграмм, ни телефонных звонков, нарушавших спокойствие нашего существования. Никуда не надо было итти, и нечего было бояться опоздать на какой-то поезд, и не было утренних газет, из которых, потратив на это достаточно времени, мы могли бы узнать, что случилось с тысячью пятьюстами миллионами наших собратьев по земному шару.

Но скуки не было. В нашем маленьком мире дела было достаточно, а кроме того он—в противоположность большому миру—двигался к определенной цели, и мы должны были способствовать этому. Затем нам приходилось сталкиваться и бороться с космическими силами, чего также не бывает в большом мире, несущемся без препятствий по своей орбите в безветренной пустоте вселенной. А мы

никогда не знали заранее, что случится через пять минут. Разнообразия было сколько угодно. Вот, например, в четыре утра я сменяю Германа у руля.

— Ост-норд-ост,—сообщает он мне курс.—Отклонились на восемь линий румба, но править невозможно.

Удивительно, нечего сказать! Разве существует судно, которым можно было бы управлять при полном штиле?

— Недавно еще был кое-какой ветерок,—может быть, опять вернется,—обнадеживает Герман перед уходом.

Бизань туго закрепили. Ночью, при качке без ветра, слишком отвратительно слушать, как хлопают пустые паруса и скрипят канаты. Впрочем, мелкие паруса оставлены на всякий случай. Небо покрыто звездами. Без особой причины я поворачиваю руль в противоположном направлении, чем Герман, и—смотрю на звезды. Что же еще делать? Что же еще делать на паруснике, качающемся при полном штиле?

Потом я вдруг чувствую на щеке едва заметное прикосновение потом еще и еще, и, наконец, это уже несомненный легонький бриз. Как там ухитряются поймать его паруса «Снарка», я не знаю, но очевидно—все-таки ухитряются, потому что стрелка компаса задвигалась в своей коробке. То-есть, конечно, не стрелка компаса, которую удерживает земной магнетизм. Движется сам «Снарк», вращаясь и слегка покачиваясь, как от самого нежнейшего воздействия алкоголя.

Наконец «Снарк» попадает на прежний курс. Дыхание ветра уже дает легкие толчки. «Снарк» слегка вздрагивает. Над головой плывет какая-то дымка, и я замечаю, что звезды гаснут одна за другой. Черные стены плотнее обступают меня, и когда, наконец, гаснет последняя звезда, темные стены уже так близко, что, кажется, я могу дотронуться до них рукой. Я прислоняюсь к темноте и чувствую ее прикосновение на лице. Порывы ветра следуют один за другим, и я рад, что бизань свернута. Пфф! Вот это был удар! «Снарк» подпрыгивает и зачерпывает подветренным бортом. Тихий океан начинает сердиться. Еще штук пять таких порывов, и я, пожалуй, пожалею, что кливер не свернут. Волны поднимаются все выше; порывы ветра крепче и чаще; воздух полон водяной пылью. Смотреть в наветренную сторону не стоит. Черная стена начинается на расстоянии вытянутой руки. Но мне все-таки хочется знать, в чем дело. С наветренной стороны надвигается, должно быть, что-то очень скверное и зловещее. Мне кажется, что если я буду всматриваться в темноту достаточно долго и напряженно, то пойму, что-нибудь. Но это, конечно, вздор. В промежутке между двумя порывами ветра я успеваю сбегать в каюту, посмотреть на барометр.

Я чиркаю спички одна за другой и вижу—29,90. Наш чувствительнейший барометр не желает отмечать маленькое осложнение, которое скрипит и воет в снастях. Я успеваю подойти к рулю как раз к моменту нового порыва, еще более сильного. Ну, во всяком случае, ветер есть, «Снарк» держит курс правильно и забирает к востоку. Кливера меня раздражают; я бы очень хотел, чтобы они были убраны. «Снарку» было бы легче итти, да и риска меньше. Ветер храпит и фыркает в реях, и редкие капли дождя стучат как градины. Я прихожу к заключению, что придется вызвать всех на верх; но через минуту решаю, что можно еще подождать. Может быть, сейчас все кончится, и я вызову их понапрасну. Пусть еще поспят. Я держу «Снарк» в курсе, а из тьмы хлещет уже настоящий ливень с воющим ветром. Затем все временно затихает и ослабевает—за исключением, конечно, темноты,—и я радуюсь, что не позвал никого.

Ветер немного успокоился, но волны становятся все выше. Теперь идут белоголовые косматые гребни, и «Снарк» прыгает как пробка. А потом снова летят из тьмы порывы ветра все сильнее и сильнее. Если бы только я мог знать, что там скрывается с наветренной стороны! «Снарку», видимо, трудно; его подветренный борт зачерпывает воду чаще и чаще. Ветер воет и ревет все сильнее. Нет, если уж звать кого-нибудь, то сейчас. Я решаю—звать. И опять налетает ливень, и опять слабеет ветер—и я не зову. Но только это очень-очень одиноко и тоскливо стоять так на руле и править маленьким миром в ревущей непроглядной тьме. И потом—это все-таки большая ответственность—быть совершенно одному на поверхности мира в минуту опасности и думать за всех спящих его обитателей. От чувства ответственности освобождают меня порывы ветра, еще более сильные, и волны, которые уже стали хлестать через борт. Морская вода кажется мне что-то уж слишком теплой; она призрачно сверкает яркими фосфорическими точками. Я, конечно, вызову всех сейчас, чтобы окончательно убрать паруса. Зачем им, собственно, спать? Я прямо дурак, что деликатничаю! Ясно, мой интеллект не поладил с сердцем. Это сердце сказало мне тогда—«пусть еще поспят». Да, но интеллект подтвердил это решение. Ну, тогда пусть сейчас решает один интеллект; но пока я выдвигаю доводы за и против, ветер стихает. Посмотрю, что будет дальше,—решаю я. В конце концов это право моего интеллекта—решать, что способен выдержать «Снарк», и звать на помощь только в последнюю минуту.

Наконец сквозь толщу облаков пробивается рассвет, серый, ненастный; можно разглядеть море, вздымающееся под порывами ветра. Потом опять налетает ливень, и все долины между громадными гребнями заполняются молоком водяной пыли. И ветер и дождь точно

сплющивают волны, которые ждут только малейшего перерыва, чтобы подняться с новой силой. Понемногу на палубу выползают люди. Лицо Германа расплывается от изумления, когда он видит «ветерок», который он надеялся «подхватить». Я передаю руль Уоррену и задерживаюсь на минуту, чтобы поправить кухонную трубу, которую сдвинуло. Ноги у меня босы и достаточно привыкли цепляться за доски палубы, но когда борт заливает зеленая волна, со мной делается что-то странное—я внезапно оказываюсь сидящим на залитой водой палубе. Герман, естественно, спрашивает, зачем мне понадобилась такая поза. Но в это время набегает новая волна, и он тоже садится—внезапно и без малейшего промедления. «Снарк» бросает вверх и вниз, подветренный борт в воде, и мы с Германом, вцепившись в драгоценную трубу, катимся вместе с нею к борту. Наконец я внизу и, переодеваясь в сухое платье, улыбаюсь от удовольствия—«Снарк» здорово забирает к востоку.

Нет, скучно у нас не было! Вот мы только что были в полосе затишья и радовались, если удавалось сделать десяток миль в продолжение многих часов, а в такой день, как этот, мы прошли через «дюжину шквалов, и окружены многими дюжинами еще. И каждый из таких шквалов был опасной дубиной, занесенной над головой «Снарка». Иногда мы попадали в самый центр шквала, иногда нас задевало только краем, но никогда заранее нельзя было предвидеть, что именно случится. Иногда грандиозный шквал, захватывающий полнеба, вдруг разделялся на два, которые обходили нас с двух сторон, а иногда маленький, невзрачный шквальчик, с каким-нибудь боченком дождя и одним фунтом ветра вдруг принимал циклопические размеры и ожесточенно обрушивался на нас. Шторм через несколько часов становится просто утомительным и совсем неинтересным, но шквалы интересны всегда, и тысячный шквал будет так же интересен, как первый, если не еще интереснее [1]).

Самое бурное наше приключение произошло в полосе затишья. Оказалось, это случилось 20 ноября,—что половина запаса пресной воды каким-то образом вытекла. Так как мы вышли из Хило сорок три дня назад, то запас этот вообще был невелик. Потерять половину его—было катастрофой. При условии экономного употребления запаса воды могло хватить дней на двадцать. Но ведь мы были в полосе затишья—и кто мог знать, где и когда нам удастся подхватить юго-восточный муссон?

Вода стала выдаваться раз в день порциями. Каждый из нас получал по кварте для личного употребления, а повар получал восемь

---

1) Шторм — сильная буря; шквал — неожиданный сильный порыв ветра на море.

кварт для приготовления обеда. Теперь на сцену появилась психология. После первой же раздачи воды я почувствовал мучительную жажду. Мне казалось, что никогда за всю жизнь мне не хотелось так пить, как теперь. Свою маленькую кварту я мог бы выпить одним глотком, и требовалось большое напряжение воли, чтобы не сделать этого. И не со мной одним было так. Мы все говорили о воде, думали о воде и даже во сне видели только воду. Мы тщательно исследовали карту, надеясь найти вблизи хоть какой-нибудь островок, к помощи которого можно было бы прибегнуть. Но такого островка не было. Ближайшими были Маркизовы острова, но они лежали по ту сторону экватора, а мы были в полосе затишья. Мы были под третьим градусом северной широты, а Маркизовы острова под шестым градусом южной,—расстояние около тысячи миль, да еще около четырнадцати градусов на запад от нашей долготы. Недурненький перегон для кучки несчастных существ, затерявшихся в знойном тропическом затишье.

Посредине палубы мы укрепили палубный тент [1]), приподняв его с кормы так, чтобы весь дождь можно было собрать на носу. Целый день мы наблюдали за шквалами, проходившими в разных частях неба. Они появлялись то справа, то слева, то спереди, то сзади, но ни один не подошел близко. К вечеру стала надвигаться большая туча, и мы глядели с отчаянием, сколько бесчисленных галлонов драгоценной воды выливала она в соленое море. Мы еще раз с величайшей тщательностью осмотрели наше сооружение и стали ждать. Уоррен, Мартин и Герман представляли из себя интересную живую картину. Они стояли кучкой, держась за снасти, раскачиваясь и напряженно вглядываясь в приближающуюся тучу. Беспокойство, страх и жадная тоска были в каждом их движении. Но как они сразу размякли и обвисли, когда шквал вдруг разделился, и часть его прошла далеко спереди, а другая далеко с кормы!

Ночью дождь все же пошел. Мартин, которого психологическая жажда заставила уже давно выпить свою кварту, приставил рот прямо к отверстию тента и сделал такой невероятный глоток, которого я не видел никогда в жизни. В два часа мы набрали сто двадцать галлонов. Замечательно, что после этого до самых Маркизовых островов не было больше ни одной капли дождя. Если бы и этот шквал прошел мимо, нам пришлось бы употребить остаток газолина для дистилляции морской воды.

Теперь мы могли спокойно заниматься рыбной ловлей. Это происходило очень просто, так как рыба была тут же, за бортом. Трех-

---

[1]) Тент — парусиновый навес над палубой судна для защиты от дождя и солнца.

дюймовый стальной крючок на крепкой лесе и кусок белой тряпки в виде приманки—вот все, что было нужно, чтобы ловить макрелей от десяти до двадцати пяти фунтов весом. Макрели питаются летающими рыбами, а потому не клюют потихоньку, а набрасываются на крючок сналета и так дергают лесу, что кто тащит их первый раз, то этого ощущения никогда не забудет. Кроме того макрели своего рода людоеды. Как только одна из них попадается на крючок, другие набрасываются на нее с жадностью. Очень часто мы вытаскивали на борт макрелей со свежими ранами величиной с чайную чашку.

Одна стая в несколько тысяч штук макрелей плыла с нами в течение более трех недель. Благодаря «Спарку» у них была чудеснейшая охота: они плыли по обе его стороны, набрасываясь на вспугиваемых его движением летающих рыб, и опустошили таким образом полосу океана в полмили шириною и в тысячу пятьсот миль длиною. Так как они постоянно преследовали отстающих летающих рыб, то в любую минуту можно было видеть сотни серебряных спин на поверхности волн. Наевшись досыта, они с наслаждением отдыхали в тени судна, и целые сотни их лениво скользили здесь в прохладной воде.

Бедные, бедные летающие рыбы! В воде их преследовали и пожирали живьем макрели и дельфины, а когда они ради спасения жизни выпрыгивали в воздух, их загоняли обратно в воду хищные морские птицы. Спасения не было нигде. Летающие рыбы выскакивают из воды вовсе не для забавы. Это для них вопрос жизни и смерти. Тысячи раз в день мы могли наблюдать эту трагедию. Вот перед вашими глазами легкими кругами реет чайка высоко в воздухе. Вдруг она останавливается и камнем падает вниз. Вы опускаете глаза. Темная спина дельфина быстро прорезает воду, а перед самым его носом поднимается в воздух дрожащая серебряная полоска,—нежнейший органический летательный аппарат, наделенный способностью самопроизвольного управления, наделенный чувствительностью и любовью к жизни. Чайка налетает на серебряную полоску, но промахивается, и летающая рыба продолжает забирать высоту, поднимаясь против ветра, как воздушный змей; описывает полукруг над судном и уже скользит вниз по ветру с другой стороны. А внизу все время плывет дельфин, следя своими большими жадными глазами за улетающим завтраком, который вздумал путешествовать в какой-то другой, недоступной для дельфина, среде. Подняться сам он не может, но он—прожженный эмпирик [1]) и прекрасно знает, что рано или поздно рыба вернется в воду, если только ее не

[1]) Эмпирик — основывающийся на опыте.

слопает по дороге чайка. И дождавшись, он позавтракает. Мы жалели бедных крылатых рыб, и нам противно было смотреть на грязную, жадную гадину. Но когда ночью маленькая крылатая рыбка, ударившись о грот-мачту, падала, задыхаясь и трепеща, на палубу, тот, из нас, кто держал ночную вахту, набрасывался на нее так же жадно и жестоко, как дельфины и макрели. Надо вам сказать, что летающие рыбы—удивительно вкусный завтрак. Но мне всегда было непонятно, почему такая нежная пища, попадая постоянно в ткани хищника, не делает их более деликатными и утонченными. Может быть, дельфины и макрели грубеют от той громадной скорости, которую они должны развивать на охоте? Но нежнейшие летающие рыбы развивают такую же скорость...

Изредка мы ловили акул на большие крючки на цепочках, привязанных к коротким канатам. Некоторые из них были несомненными людоедами, с круглыми глазами, как у тигров, с двенадцатью рядами зубов, острых как бритвы. Кстати сказать, все обитатели «Снарка» пришли к единогласному заключению, что очень многие из обычно употребляемых в пищу рыб далеко уступают по вкусу мясу акулы, поджаренному в томатовом соусе. А один раз на крючок, который обычно тащился у нас за кормой, попалась какая-то странная рыба, напоминающая змею, более трех футов в длину и не больше трех дюймов толщиной, с четырьмя зубами во рту. Она оказалась самой очаровательной, самой нежной и ароматной из всех океанских рыб.

Весьма приятным и ценным пополнением нашего провианта явилась морская черепаха весом в сто фунтов, которая фигурировала в самых аппетитных жирных супах и соусах; она закончила свои появления изумительным ризотто [1]), заставившим всех нас поглотить больше риса, чем это было необходимо и возможно. Черепаху заметили с наветренной стороны: она мирно спала на поверхности океана, окруженная стаей любопытных дельфинов. Это была, конечно, настоящая океанская черепаха, потому что ближайшая земля была за много тысяч миль. Мы поставили «Снарк» так, чтобы черепаха пришлась за кормой, и Герману удалось пробить ей голову острогой. Когда ее вытащили, она вся оказалась обсаженной прилипалами, а из складок кожи на ногах выпало несколько больших крабов. После первого же обеда с черепахой вся команда «Снарка» пришла к единогласному заключению, что ради черепахи можно было бы и еще раз задержать «Снарк».

Но самой интересной океанской рыбой является все же дельфин. Его цвет до того изменчив, что вы никогда не увидите двух дельфинов

---

[1]) Ризотто — густая похлебка из риса, лука, масла, бульона.

совершенно одинакового оттенка. Его обычный небесно-лазурный цвет представляет чудо переливов и оттенков. Но это все же ничто в сравнении с теми цветовыми превращениями, на которые он способен. Иногда он бывает зеленым—бледно-зеленым, темно-зеленым, фосфорически-зеленым; иногда — синим, темно-синим, синим-электрик—словом, целой гаммой синевы. Вы поймали его на крючок, и он становится золотом,—бледно-желтым золотом или настоящим пылающим золотом. Вытаскиваете его на палубу, и он перед вашими глазами пробегает всю гамму невероятных, непередаваемых синих, зеленых и желтых тонов, потом вдруг становится мертвенно-белым с ярко-синими пятнышками, и вы вдруг делаете открытие, что ведь он крапчатый, как форель. Потом из белого он опять проходит через все оттенки и становится, наконец, темно-перламутровым.

Для любителей рыбной ловли я не могу придумать ничего более интересного, чем ловля дельфинов. Разумеется, ловить их следует тонкой лесой с удилищем и шпулькой. Крючок системы О'Шанесси № 7—как раз то, что требуется, и на него нужно насадить в качестве приманки целую летающую рыбу. Подобно макрели, дельфин питается летающей рыбой, и он бросается на приманку с быстротой молнии. Первое предупреждение вы получаете тогда, когда шпулька заскрипит, и вы увидите, что леса натянулась под прямым углом к борту судна. Прежде чем вы успеете выразить опасение относительно недостаточной длины вашей лесы, рыба уже выскочит из воды, и начнутся прыжки. Так как дельфин не менее четырех футов в длину, вытащить его на борт не легкое дело. Как только он попадает на крючок, он немедленно становится золотистого цвета. Все эти прыжки дельфин проделывает, стараясь избавиться от крючка, и тот, кто сыграл с ним эту шутку, должен быть создан из железа или быть форменным ублюдком, чтобы его сердце не забилось особенным образом при виде такой чудовищной рыбы, сверкающей золотой чешуей и рвущейся подобно заводскому жеребцу всякий раз, как она поднимается в воздух. Смотрите, не зевайте! А не то крючок во время одного из этих прыжков полетит в сторону на двадцать футов. Осторожно маневрируя лесой, вы можете подтянуть ее, и через час тяжелой работы вам удастся вытащить рыбу на палубу. Я поймал одного такого дельфина, и он оказался четырех футов и семи дюймов в длину.

Герман ловил дельфинов более прозаическим способом. Короткая леса и хороший кусок акульего мяса—вот все, что ему было нужно. Его леса была очень толста, но не раз она рвалась, и рыба уплывала. Однажды дельфин удрал, захватив с собой приманку и четыре крючка системы О'Шанесси. Меньше чем через час этого самого дельфина

мы поймали на удилище и, разрезав его, нашли все четыре крючка. Дельфины, которые сопровождали наше судно в течение месяца, покинули нас к северу от экватора, и за все время остального плавания мы не видели больше ни одного дельфина.

Так шли дни. Дела было столько, что время никогда не тянулось слишком долго. Но даже если бы и нечего было делать, время не могло казаться слишком долгим под таким изумительным небом. Сумерки рассвета походили на медленные пожары исполинских городов под арками перекинутых через них радуг. Закаты заливали море реками кровавого металла, вытекавшими из солнца, от которого по небу расходились ярко-голубые лучи. А ночью море горело фосфорическим огнем, и в глубине его, как яркие кометы с длинными призрачными хвостами, шныряли макрели и дельфины.

Мы все больше отклонялись к востоку, плывя через полосу переменных ветров.

Во вторник, 26 ноября, во время сильнейшего шквала, ветер вдруг повернул на юго-восток. Это был, наконец, настоящий пассат. Шквалы кончились; стояла ясная, ровная погода; ветер был попутный, паруса подняты, и все в порядке. Десять дней спустя, 6 декабря, в пять утра мы заметили землю как раз там, где ей «быть надлежало». Мы обошли Уа-Хука и Нука-Хива и ночью, в сильный ветер и непроглядную мглу, вошли в узкую бухту Тайоха и стали на якоре. С берега доносилось блеяние диких коз, а воздух был душен от аромата цветов. Переход был кончен. В шестьдесят дней мы сделали этот путь от одной земли к другой через пустынный океан, на горизонте которого никогда не встают паруса встречных кораблей.

ГЛАВА X

Тайпи

Оставшаяся на востоке Уа-Хука скрылась за густой завесой дождя, который уже догонял «Снарк». Но «Снарк» бежал отлично. Пролетели мимо мыса Мартина, юго-восточной оконечности Нука-Хива, миновали широкий вход в Контролерскую бухту, где виднелась белая Скала Парус, как две капли воды похожая на парус лодки для ловли лососей.

— Как вы думаете, что это такое?—спросил я у Германа, который стоял на руле.

— Рыбачья лодка,—решил он после внимательного исследования.

А на карте стояло совершенно определенно—Скала Парус.

Но нас гораздо больше интересовала внутренность Контролерской бухты, где глаза наши жадно искали три небольших заливчика,

средний из которых переходил в едва заметную в сгущающихся сумерках узкую долину между высокими стенами скал. Сколько раз мы отыскивали на карте этот маленький, средний заливчик и оканчивающуюся в нем долину,—долину Тайпи. Карта называла ее Таипи, что, конечно, было правильнее, но мне гораздо больше нравится Тайпи, и я всегда буду произносить—Тайпи. Когда я был маленьким мальчиком, я прочел удивительную книгу, которая так и называлась «Тайпи», книгу Германа Мельвиля [1],—и много-много часов провел я, мечтая над этой книгой. Но я не только мечтал. Я твердо решил, что когда вырасту—будь что будет, а я поеду на Тайпи. Потому что власть и тайна неведомых стран уже овладели моим сознанием, а затем водили меня по разным странам и ведут меня и сейчас. Годы шли, но Тайпи не была забыта. Однажды, вернувшись в Сан-Франциско из семимесячного плавания по северной части Тихого океана, я решил, что время пришло. На Маркизовы острова отправлялся бриг «Галилей», но экипаж был уже набран; и вот мне, порядочному моряку и достаточно молодому, чтобы гордиться этим выше всякой меры, пришлось унизиться до того, чтобы предложить себя в качестве каютного боя, чтобы только как-нибудь попасть на Тайпи. «Галилей» вернулся бы без меня, потому что я, конечно, разыскивал бы Кори-Кори и Фэвея. Может быть, капитан прочел в моих глазах это намерение улизнуть. А может быть, должность боя действительно была занята. Во всяком случае—я ее не получил.

И опять шли годы, полные проектов, достижений, неудач; но Тайпи не была забыта, и вот я, наконец, здесь и вглядываюсь в ее неясные очертания, пока налетевший шквал не закрывает «Снарк» потоками дождя. Впереди мелькнул Часовой с бурлящей полоской прибоя. Мелькнул и скрылся в дожде и наступающей темноте. Мы держали прямо на эту скалу. У нас не было ничего кроме компаса, чтобы ориентироваться здесь, и если бы мы упустили Часового, мы не попали бы в бухту Тайоха, и пришлось бы повернуть «Снарк» обратно в море и там дожидаться рассвета,—не очень приятная перспектива для путешественников, измученных шестидесятидневным переходом через Тихий океан, тоской по твердой земле, тоской по свежим плодам и больше всего многолетней, давнишней тоской по милой долине Тайпи.

Неожиданно из хаоса дождя вынырнул с ревом Часовой почти перед носом «Снарка». Мы резко повернули и прошли в бухту. Ветер дул с востока, запада, севера и юга, и мы двигались с трудом, тщетно высматривая в темноте красный огонек, который должен

---

[1]) Герман Мельвиль — американский писатель (1819—1873). Много путешествовал и описывал свои впечатления.

был гореть на развалинах старого форта, показывая нам, где можно бросить якорь. Со всех сторон доносился рев прибоя, разбивающегося о скалы, с высокого берега было слышно блеяние диких коз, а наверху сквозь последние клочки уходящей тучи начинали просвечивать звезды. Через два часа, пройдя внутрь бухты около мили, мы бросили якорь на глубине шестидесяти шести футов. Так мы очутились в Тайоха.

Утром мы проснулись в сказочной стране. «Снарк» отдыхал в безмятежной, уютной гавани. Берег поднимался в виде обширного амфитеатра, увитого диким виноградом, и отвесные скалы, казалось, поднимались из самой воды. Далеко на востоке мы заметили узенькую ленточку тропинки, которая, перекинувшись через стену, сползала по ней вниз.

— Тропинка, по которой Тоби убежал из Тайпи!—воскликнули мы.

Нам очень хотелось сейчас же выйти на берег, достать лошадей и ехать на расследования, но путешествие пришлось отложить. Два месяца, проведенные на море босиком, почти без движения, были плохой подготовкой к длительной прогулке, да еще в кожаной обуви. А кроме того надо было переждать, пока земля не перестанет тошнотворно качаться, чтобы решиться ехать по головокружительным горным тропинкам на быстроногих горных лошадях. Поэтому, в целях тренировки, мы предприняли короткую поездку по джунглям и посетили одного почтенного, заросшего мохом, идола, попав к нему в очень трагическую минуту его жизни. Какой-то немецкий коммерсант и норвежский капитан спорили относительно веса названного идола и вычисляли уменьшение его в случае, если идол распилить пополам. Они крайне непристойно и святотатственно относились к старичку, тыкая в него перочинными ножами, чтобы исследовать, насколько он крепок и насколько толст слой моха на нем, и приказывая ему отправиться вниз к морю собственными силами, без лишних разговоров. Но так как идол этого не сделал, то девятнадцать канаков повалили его на носилки из палок и поволокли к судну, где он был заперт в трюм и, может быть, еще и сейчас путешествует по направлению к Европе—этому прибежищу всех языческих идолов, за исключением немногих, устроившихся в Америке, и одного, который сейчас скалит зубы на моем столе и, если только мы не потонем, будет скалить их до самой моей смерти. И он, конечно, переживет меня. И будет скалить свои зубы и тогда, когда я превращусь в прах.

В целях тренировки мы побывали в тот же день на пиршестве, которое устроил Танара Тамарии, сын гавайского матроса, сбежавшего с китобойного судна, в память своей покойной матери-туземки. Он зажарил четырнадцать кабанов целиком на угощение

деревни. Когда мы приблизились, нас приветствовала в качестве местного герольда молодая девушка, стоя на высокой скале и распевая, что все это празднество устроено в честь нас. То же самое повторяла она всем приходящим. Как только мы уселись, ее пение вдруг резко изменилось, и все присутствовавшие чрезвычайно заволновались. Ее возгласы стали быстрыми и пронзительными. Откуда-то издали послышались ответные крики мужских голосов, перешедшие в дикую варварскую песнь, заставлявшую думать о крови и борьбе. Потом в прогалине между тропическими растениями показалась процессия дикарей, совершенно голых, если не считать пестрых узких повязок вокруг бедер. Они двигались медленно, издавая гортанные возгласы, торжествующие и восхищенные. Они несли на плечах на длинных палках какие-то таинственные, очевидно, очень тяжелые, предметы, тщательно завернутые в зеленые листья.

Это были поросята,—невинные, откормленные и зажаренные на вертеле поросята,—но люди несли их в лагерь так, как в древние времена они носили длинную свинью. Надо вам сказать, что длинная свинья—это вовсе не свинья. Длинная свинья—это полинезейское название человеческого мяса. И вот теперь эти потомки людоедов во главе с сыном короля несли к столу поросят с теми же обрядами, как их прадеды носили убитых врагов. Иногда процессия приостанавливалась, чтобы дать возможность несущим издать ужасные возгласы победы, презрения к врагу и предвкушения гастрономических наслаждений. Только два поколения назад Мельвиль был свидетелем, как несли таким образом обернутые в листья тела убитых гаппарских воинов на пиршество в Ти. Там же Мельвиль в другой раз обратил внимание на «сосуд странной формы», и заглянув в него, увидел «в беспорядке набросанные части человеческого остова, совсем свежие, с обрывками мускулов и сухожилий».

Многие высоко-цивилизованные люди склонны считать каннибализм чуть ли не сказкой: им, может быть, неприятно думать, что их собственные предки упражнялись в нем. Капитан Кук тоже скептически относился к этому вопросу, пока однажды у берегов Новой Зеландии ему не принесли на его судно премилую, высушенную на солнце, человеческую голову. По приказанию Кука, от нее отрезали кусочек и предложили туземцу, который съел его с жадностью. Как видите, капитан Кук, был настоящим эмпириком. Во всяком случае, он дал науке конкретный факт, в котором она сильно нуждалась. Конечно, он не подозревал в то время о существовании небольшой группы островов, за несколько тысяч миль, где впоследствии возникло довольно курьезное судебное разбирательство. Один престарелый вождь из племени Мауи судился за клевету, так как утверждал, что его тело является живой гробницей для большого

пальца ноги капитана Кука. Говорят, что истцам так и не удалось доказать, что старый вождь не съел большого пальца путешественника, и процесс был ими проигран [1]).

Пожалуй, в наши упадочные дни мне не удастся видеть, как едят длинную свинью; но я уже заполучил доподлинную маркизанскую чашу, возрастом более ста лет, овальной формы, любопытно выточенную, из которой была выпита кровь двух капитанов. Один из этих капитанов был весьма непорядочный человек. Он продал одному из маркизанских вождей старый, гнилой морской вельбот за новый, покрасив его предварительно в белый цвет. Как только капитан уехал, вельбот, конечно, развалился. Но капитану чрезвычайно повезло. Через некоторое время он потерпел крушение как раз у этого острова. Маркизанский вождь был весьма слабо осведомлен по части бухгалтерии, но у него было твердое первобытное понятие о честности и такое же первобытное ощущение необходимости экономии в природе. Он сбалансировал свой счет, съев человека, который его надул.

На рассвете, когда было еще совсем темно, мы отправились в Тайпи верхом на маленьких свирепых жеребчиках, которые визжали, лягали и кусали друг друга всю дорогу, не думая ни о хрупких человеческих созданиях, сидящих на их спинах, ни о скользких тропинках, ни о пропастях, ни о шатающихся камнях под ногами.

Мы ехали старой заброшенной дорогой через заросли хау. По обе стороны виднелись следы прежней плотной заселенности острова. Всюду, куда мог проникнуть взгляд, возвышались каменные стены и фундаменты домов от шести до восьми футов высотою, хорошо сложенные. Это были каменные платформы, на которых когда-то стояли дома. Но люди вымерли, дома разрушились, и лес мало-по-малу овладел постройками. Эти постройки носят название паэ-паэ.

Теперешние обитатели Маркизовых островов были бы не в силах ворочать такие огромные каменные глыбы. Да это им и не нужно. Вокруг них целые тысячи этих паэ-паэ, заброшенных и никому не нужных. Раза два, спускаясь в долину, мы видели жалкие, крытые соломой хижины, примостившиеся на грандиозных великолепных паэ-паэ; впечатление было смешное, в роде того, как если бы на основании пирамиды Хеопса [2]) насадили деревянный ларек. Маркизовы острова вымирают, и единственное, что задерживает еще вымирание,—сужу по Тайоха,—это постоянный приток свежей крови

---

[1]) Кук — знаменитый английский мореплаватель (1728—1779). На острове Мауи он был убит туземцами и съеден ими. Не удалось собрать даже его останков; только кости позже были найдены.

[2]) Пирамида Хеопса — одно из высочайших сооружений, имеет в основании квадрат со сторонами 227,5 метра, и высоту—137,2 метра.

со стороны. Чистокровный маркизанец—большая редкость. Все они метисы, и притом являются самым невозможным смешением различных рас. Для погрузки пальмового масла торговцы едва могут набрать в Тайоха девятнадцать порядочных рабочих, и в жилах этих рабочих течет кровь англичан, американцев, датчан, немцев, французов, корсиканцев, испанцев, португальцев, китайцев, гавайцев. Жизнь здесь слабеет, чахнет, исчезает. В этом ровном, теплом климате—настоящем земном раю,—с поразительно ровной температурой, с воздухом чистым и пахучим, как целительный бальзам, постоянно освежаемом богатыми озоном муссонами,—не менее пышно, чем в джунглях, расцветают туберкулез, астма и другие болезни легких. Из каждой соломенной хижины раздается прерывистый мучительный кашель изъеденных легких. Много и других страшных болезней, но болезни легких производят самые большие опустошения. Имеется, например, одна форма скоротечной чахотки, которую называют здесь «галопирующей». В два месяца она уносит самого сильного человека, превращая его перед смертью в скелет. Долина за долиной, вымирали целиком до последнего человека, и джунгли снова овладели обработанной плодородной землей. Еще во времена Мельвиля долина Хапаа (он называет ее Хаппар) была населена сильным воинственным племенем. Через одно поколение оставалось уже всего двести человек. В настоящее время это безлюдная, заглохшая тропическая пустыня.

Мы поднимались все выше и выше, и наши неподкованные лошади очень ловко карабкались по камням, пробираясь между заброшенными паэ-паэ и сквозь чащи ненасытных джунглей. Нам попались красные горные яблоки, которые мы знали еще с Гавайских островов, и мы отправили за ними туземца. Мы нарвали также кокосовых орехов. Я пил кокосовое молоко еще на Ямайке и на Гавайских островах, но пока я не попробовал его здесь, я и не представлял себе, что это за удивительный напиток. Иногда мы проезжали под лимонными и апельсинными деревьями,—деревья дольше выдерживали натиск дикой природы, чем люди, насадившие их.

Мы ехали через бесконечные заросли кассии [1]), сплошь покрытой желтой цветочной пылью,—только разве это была нормальная езда! Заросли были полны ос! И каких ос! Эти желтые твари были ростом с маленькую канарейку, и когда они неслись по воздуху, сзади у них болтался пучок из их ног дюйма в два. Ваша лошадь вдруг останавливается и, упершись на передние ноги, поднимает задние к

---

[1]) Кассия — обширный род растений из семейства бобовых и их подсемейства цезальпиниевых. Небольшие густые полукустарники, от половины до одного метра высотою, с травянистыми листьями.

небесам. Затем она опускает их вниз на одно мгновение, чтобы сделать отчаянный прыжок вперед, и снова встать в вертикальное положение. Не смущайтесь! Ее толстая кожа была слегка проколота жгучим жалом осы. В это время еще одна лошадь, и еще одна, и все лошади начинают брыкаться и вставать на передние ноги над самыми пропастями. Раз! Добела накаленный кинжал вонзается в щеку. Раз! Такой же удар по шее. Я в арьергарде, и на мою долю приходится несправедливо много. Спастись некуда. Лошади, брыкающиеся спереди на опасной тропинке, обещают мало приятного. Моя лошадь обгоняет лошадь Чармиан, и это чувствительное создание, то-есть лошадь Чармиан, ужаленное в такой психологический момент, естественно, поднимает задние ноги и всаживает одно копыто в меня, другое в мою лошадь. Я благодарю небо, что она не подкована, и сейчас же дико подскакиваю в седле от легкого прикосновения нового раскаленного кинжала. Да, на мою долю достается несравненно больше, чем на долю моих спутников, и моя бедная лошадь от страха и боли ошалела не меньше меня.

— С дороги! Еду вперед!—кричу я, неистово отмахиваясь от крылатых гадин.

С одной стороны тропинки стена вверх; с другой—стена вниз. Единственная возможность уйти с дороги—это нестись вперед. Как нашим лошадям удалось не слететь вниз, я не понимаю,—они неслись как сумасшедшие, наскакивая одна на другую, прыгая, спотыкаясь и методически подбрасывая зады к небесам всякий раз, когда их жалила оса. Через некоторое время мы могли вздохнуть, наконец, и подсчитать потери. И так повторялось не раз и не два, а много-много раз. И, странно сказать, это совсем не было однообразно. Знаю, что я, по крайней мере, пролетал через каждый такой залп с неослабевающим интересом человека, спасающегося от верной смерти. Нет, уверяю вас, по дороге между Тайоха и Тайпи ни один путешественник скучать не будет.

Наконец, мы поднялись выше области ос. Всюду вокруг нас, куда только хватал взгляд, торчали остроконечные скалы, доходя вершинами до облаков. Внизу, с той стороны, откуда мы приехали, виднелся совсем маленький игрушечный «Снарк» в тихой бухте Тайоха. Впереди лежали очертания Контролерской бухты. Мы спустились на тысячу футов ниже, и Тайпи, наконец, лежала под нами. «Если бы мне дано было заглянуть в райские сады, я едва ли пришел бы в такой же восторг»,—говорит Мельвиль о том мгновении, когда первый раз смотрел на долину. Он видел перед собою цветущий сад. Мы видели дикую чащу. Куда делись громадные рощи хлебных деревьев, о которых говорит он? Перед нами были джунгли, и только джунгли, да еще две хижины, крытые соломой, и несколько

кокосовых пальм. Где жил знаменитый Ти,—главный вождь Мехеви, в его дворце холостяков, где женщины были табу, и где он решал дела племени, окруженный младшими вождями и полудюжиной выживших из ума и разваливающихся старцев, единственным назначением которых было напоминать собою о славном прошлом? С берегов быстрого потока не доносились голоса девушек и женщин, колотивших тапа. А где была хижина, которую вечно строил старый Нархейо? Напрасно я искал его где-нибудь на кокосовой пальме, на высоте девяноста футов над землею, занятого утренним завтраком.

Мы спустились по зигзагообразной тропинке через тоннель из переплетшихся деревьев, где неслышно взлетали огромные бабочки. Татуированный дикарь, вооруженный палицей и дротиком, не охранял больше входа в долину, и мы могли переходить поток где вздумается. Священное и беспощадное табу не царствовало больше над долиной. Впрочем, нет,—табу осталось, только это было уже новое табу. Когда мы подошли слишком близко к нескольким жалким туземным женщинам, мы услышали предостерегающее табу. Это было вполне кстати, так как женщины были прокаженные. Человек, предупредивший нас, был обезображен последней стадией элефантиазиса [1]). Все, кроме того, были чахоточными. Долина Тайпи стала жилищем смерти, и оставшаяся горсточка ее обитателей испускала последние вздохи в мучительном угасании вымирающего племени.

Конечно, победили не более сильные, потому что тайпийцы были когда-то могучим племенем, более сильным, чем племя Хаппа, чем племя Тайоха, чем все племена Нука-Хива. Слово «тайпи», или, точнее, «таипи», означало первоначально «потребитель человеческого мяса». Но так как все население Маркизовых островов потребляло человеческое мясо, то, очевидно, это название обозначало, что носители его были людоедами в высочайшей степени. И тайпийцы славились своей храбростью и свирепостью не только во всей Нука-Хива, но и по всем другим Маркизовым островам. Они были непобедимы. Их имя всюду произносилось с трепетом. Даже французы, захватившие Маркизовы острова, не тронули Тайпи. Однажды капитан Портер с фрегата «Эссекс» вторгся в долину. Кроме матросов, у него было две тысячи туземцев из племени Хаппа и Тайоха. Они прошли довольно далеко в глубь долины, но встретили такое отчаянное сопротивление, что рады были, когда удалось добраться до лодок и спастись бегством.

---

[1]) Элефантиазис — „слоновая болезнь“, утолщение кожи и загрубение в пораженных болезнью местах клетчатки, преимущественно на нижних конечностях.

Из всех дикарей Южных Морей обитатели Маркизовых островов считались самыми сильными и самыми красивыми. Мельвиль говорит о них: «Я был положительно ошеломлен их изумительной физической силой и красотой... По красоте тела они превосходили всех виденных мною доселе людей. В толпах, участвовавших в празднествах, я ни у кого не заметил ни малейшего намека на какое-нибудь физическое уродство. Каждый был прекрасно сложен в своем роде, и почти каждый мог бы послужить моделью для скульптора». Менданья, открывший Маркизовы острова [1]), тоже упоминает о необычайной красоте их обитателей, а Фигероа, его хроникер, говорит о них: «Кожа у них почти белая; они высоки ростом и красиво сложены». Капитан Кук говорит, что между ними не встретишь никого менее шести футов ростом.

А теперь вся эта мощь и красота исчезли, и долина Тайпи является пристанищем нескольких жалких созданий, съедаемых чахоткой, элефантиазисом и проказой. Мельвиль исчислял население долины в две тысячи человек, без небольшой смежной долины Хо-о-у-ми. Люди точно сгнили в этом изумительном саду, с климатом более здоровым и более очаровательным, чем где бы то ни было в другом месте земного шара. Тайпийцы были не только физически прекрасны,— они были чисты. Воздух, которым они дышали, никогда не содержал никаких бацилл и микробов, отравляющих воздух наших городов. И когда белые люди завезли на кораблях всевозможные болезни, тайпийцы сразу поддались им и начали вымирать.

Если внимательно разобраться во всем этом, то приходишь к заключению, что белая раса процветает именно благодаря всей нечистоте, гнили и болезням, которыми она отравлена. Действительно, мы, белые, являемся племенем, выжившим в борьбе с микроорганизмами; являемся потомками сотен и тысяч поколений, которые также вели эту борьбу и также выживали. А выживали только те, кто мог побеждать болезни. Мы, живущие в настоящее время, приобрели иммунитет [2]), приспособившись к среде, кишащей болезнями. Бедные жители Маркизовых островов не имели в прошлом такого естественного подбора. У них не было иммунитета. И они вымерли.

Мы расседлали лошадей на время завтрака, разогнали их в разные стороны, чтобы они не дрались, и, побившись безрезультатно с мухами-песочницами, подкрепились бананами и мясными консервами, запивая их кокосовым молоком. Смотреть, собственно, было нечего. Разросшиеся джунгли поглотили работу людей. Там и здесь виднелись паэ-паэ, но на них не было никаких надписей, иероглифов,

---

[1]) Маркизовы острова были открыты Менданьей в 1595 году.
[2]) Иммунитет — невосприимчивость организма к заразным болезням.

рисунков. Из середины их росли большие деревья, раскалывающие и разбрасывающие сложенные камни; словно из ненависти к человеку и его работе они старались скорее превратить все в первоначальный хаос.

Мы оставили джунгли и пошли купаться, в надежде избавиться от песочниц. Но не тут-то было. Чтобы войти в воду, надо снять с себя платье. Мухи это прекрасно знают и ждут вас на берегу мириадами. Туземцы называют их н а у-н а у, произнося это слово, как английское «now-now» (теперь-теперь). Название чрезвычайно подходящее, так как мухи эти действительно самое неотложное и реальное настоящее. И прошедшее и будущее совершенно исчезают, когда они облепят вам кожу. Я готов ручаться чем угодно, что Омар Хайям никогда бы не написал своих «Рубаи» в долине Тайпи: это было бы просто психологически невозможно. Я сделал одну крупную стратегическую ошибку, раздевшись на высоком берегу, с которого я мог отлично спрыгнуть, но на который не мог влезть обратно. Чтобы добраться до своего платья, когда я кончил купаться, мне пришлось пройти ярдов сто по берегу. При первом же моем шаге тысяч десять нау-нау уселись на меня. Когда я сделал второй шаг, вокруг меня было уже облако. На третьем—солнце затмилось в небе. А что было дальше—я совершенно не знаю. Когда я добежал до платья, у меня помутился рассудок. И тогда-то я совершил еще одну ошибку, на этот раз тактическую [1]). В борьбе с нау-нау надо твердо помнить одно правило: никогда не давить их. Делайте, что хотите, только не давите их! В момент гибели они впускают вам под кожу капельку яда. Их надо нежно снимать с себя, осторожно взяв между большим и указательным пальцами и ласково убеждая отнять свое жало от вашей вздрагивающей от боли кожи. Получается нечто в роде нежного выдергивания зубов. Но беда была в том, что зубы держались сильнее, чем я тащил их, поэтому мне пришлось их давить, а поступая так, я накачивал себя ядом. Это случилось неделю тому назад. В настоящую минуту я напоминаю выздоравливающего от оспы, которого, к сожалению, небрежно лечили.

Хо-о-у-ми—маленькая долина, отделенная от Тайпи невысокими холмами; мы спустились в нее, как только нам удалось взнуздать наших непокорных и ненасытных лошаденок. Мы доехали до выхода из долины Тайпи и заглянули вниз, на бухту, через которую бежал Мельвиль. Вон там, вероятно, был спрятан вельбот; а здесь,

---

[1]) Стратегия — искусство руководства совокупностью военных действий на театре войны; тактика — искусство располагать и передвигать на поле сражения войска разного рода оружия и руководить ими в бою.

должно быть, стоял в воде Каракос, канаба-табу, и торговался с моряками. А там, должно быть, Мельвиль в последний раз обнял Фэвея, раньше чем бросился вплавь к лодке. Мы восстановили в уме всю сцену его бегства, так подробно им описанную.

Потом мы спустились в Хо-о-у-ми. Мельвиля так тщательно стерегли, что он и не подозревал о существовании этой долины, хотя, конечно, ему часто приходилось встречаться с ее обитателями, подчинявшимися тайпийцам. Мы ехали опять между такими же заброшенными паэ-паэ, но, приблизившись к берегу моря, встретили массу кокосовых пальм, хлебных деревьев, таро и группу хижин, крытых травой. В одной из них мы решили устроиться на ночь и принялись сразу за приготовление к пиршеству. Закололи молодую свинью, и пока она поджаривалась между горячими камнями, а цыплята варились в кокосовом молоке, я убедил одного из наших поваров взобраться на необычайно высокую кокосовую пальму. Кисть орехов на ее вершине находилась от земли по крайней мере на высоте ста двадцати пяти футов, но туземец подошел к дереву, обхватил его руками, изогнулся так, что его ступни плотно прилегли к стволу, и затем просто пошел наверх, не останавливаясь. На дереве не было сучков, и он не закидывал в помощь себе веревки. Он просто шел по дереву—сто двадцать пять футов вверх—и, дойдя до вершины, стал рвать орехи. Впрочем, не у многих здесь хватило бы силы и легких, чтобы проделать такую штуку, так как большинство туземцев вечно кашляют.

Пиршество наше было сервировано на широком паэ-паэ, перед домом, где мы собирались переночевать. Первым блюдом была сырая рыба под соусом п о и - п о и, который здесь был гораздо кислее и острее, чем гавайское п о и, сделанное из таро. Пои-пои Маркизовых островов делается из плодов хлебного дерева. Со спелых плодов снимается кожура, и они растираются камнем в густую клейкую кашу. В таком виде пои может сохраняться несколько лет, если его завернуть в листья и закопать в землю. Перед употреблением в пищу пои, обернутые листьями, кладут на горячие камни и запекают. Затем пои разводят холодной водой до степени жидковатой каши, так, чтобы ее можно было захватывать двумя пальцами. При ближайшем знакомстве, оказывается, что это весьма приятное и питательное блюдо. А плоды хлебного дерева, когда они хорошо выспели и хорошо сварены или поджарены! Это уж совсем великолепно. Плоды хлебного дерева и таро—превкусная вещь, только первые, конечно, патентованные самозванцы, ибо вкусом напоминают вовсе не хлеб, а скорее земляную грушу, только менее сладкую.

Пиршество окончилось, и мы смотрели на луну, поднимавшуюся над Тайпи. Воздух был напоен запахом ароматных смол с тонкой

примесью запаха цветов. Это была волшебная ночь с завороженной тишиной, и ни один вздох ветра не трогал листвы. И такая была красота вокруг, что дыхание останавливалось, и в груди что-то до боли сжималось от восторга. Шум прибоя доносился из бухты, далекий и слабый... Кроватей не было, и все устроились на полу. Где-то близко стонала и задыхалась во сне женщина, и со всех сторон доносился из мрака прерывистый кашель вымирающих островитян.

ГЛАВА XI

Дитя природы

Первый раз я встретил его на Маркет-Стрит в Сан-Франциско. Был сырой, неприятный ветер, моросил дождь, а он шел по улице в коротких до колен штанах и в рубашке с короткими рукавами; босые ноги шлепали по грязной мостовой. За ним бежало штук двадцать уличных мальчишек. И все встречные—а их были тысячи—с любопытством поворачивали головы, когда он проходил. Обернулся и я. Ни разу в жизни я не видел такого милого загара на теле. Он весь был покрыт ровным золотистым загаром, который бывает только у блондинов, если их кожа не лупится от солнца. Его желтые волосы были тоже сожжены солнцем, как и борода, ни разу в жизни не тронутая бритвой. Он был весь покрыт позолотой и сиял от поглощенного им солнца. «Еще один пророк,—подумал я,—принесший в город откровение, которое должно спасти мир».

Через несколько дней после этого я был на даче у своих друзей на Пьедмонтских холмах над бухтой Сан-Франциско. «Нашли его, все-таки нашли,—смеялись они.—Поймали на дереве; только он довольно ручной, и его можно будет кормить из рук. Иди скорее, посмотри!» Я взобрался с ними вместе на крутой холм, и там, в плохоньком шалаше среди эвкалиптовой рощи, увидел своего сожженного солнцем пророка.

Он поспешил к нам навстречу, прыгая и кувыркаясь в траве. Он не стал пожимать нам руки, его приветствие выразилось самыми необычайными телодвижениями. Он перевернулся несколько раз через голову, извивался, как змея, а потом поднял ноги вверх и быстро пробежался перед нами на руках. Он крутился, и прыгал, и танцовал вокруг, как опьяневшая от вина обезьяна. Это была песня без слов о его горячей солнечной жизни. «Как я счастлив, как я счастлив»,—означала она.

Он пел свою песню весь вечер с бесконечными вариациями. «Сумасшедший,—подумал я.—Я встретил в лесу сумасшедшего». Но

сумасшедший оказался интересным. Прыгая и кувыркаясь, он изложил свое учение, которое должно было спасти мир. Оно состояло из двух основных заповедей. Прежде всего страдающее человечество должно сорвать с себя одежды и носиться в первобытном виде по горам и долинам; а затем—несчастный мир должен усвоить фонетическое правописание. Я попробовал представить себе всю сложность социальной проблемы, которая возникнет, когда жители городов начнут бегать по окрестностям, а взбешенные фермеры будут гоняться за ними с ружьями, собаками и вилами.

Прошло несколько лет, и вот в одно солнечное утро «Спарк» просунул свой нос в узкий проход между коралловыми рифами перед бухтой Папити. Навстречу нам шла лодка с желтым флагом. Мы знали, что это направляется к нам портовый доктор. Но на некотором расстоянии от нее показались очертания другой небольшой лодочки, которая заинтересовала нас, потому что на ней был поднят красный флаг. Я внимательно рассматривал лодку в бинокль, боясь, что она означает какую-нибудь скрытую опасность—затонувшее судно или что-нибудь в этом роде. В это время причалил доктор. Он осмотрел нас, удостоверился, что мы не скрываем на «Спарке» живых крыс, а когда кончился осмотр «Спарка», я спросил доктора, что означает лодка с красным флагом.

— О, это Дарлинг,—был ответ.

И тогда сам Дарлинг, Эрнст Дарлинг, из-под красного флага, обозначающего братство народов, окликнул нас:

— Алло, Джэк! Алло, Чармиан!

Он быстро приближался, и я узнал в нем золотого пророка с Пьедмонтских холмов. Он поднялся на борт, как золотой бог солнца,—с ярко-красной повязкой вокруг бедер и с дарами Аркадии в обеих руках,—бутылкой золотого меда и корзиной из листьев, наполненной золотыми плодами манго, золотыми бананами, золотыми ананасами, лимонами и апельсинами—золотым соком земли и солнца. И вот таким-то образом я еще раз под небом тропиков встретил Дарлинга, человека, вернувшегося в природу.

Таити—одно из самых красивых мест на земном шаре. К сожалению, оно населено ворами, грабителями, лжецами,—впрочем, и кучкой порядочных людей. И вот, так как изумительная красота Таити разъедается ржавчиной человеческих мерзостей, мне хочется писать не о Таити, а о человеке, вернувшемся в природу. От него, по крайней мере, веет здоровьем и свежестью. Вокруг него особенная атмосфера доброты и ясности, которые никому не могут сделать зла и никого не заденут, кроме, конечно, хищнических и наживательских чувств капиталистов.

— Что означает ваш красный флаг?—спросил я.

— Социализм, разумеется.

— Ну, да, конечно, это я знаю,—продолжал я.—Но что означает он в ваших руках?

— То, что я нашел истину.

— И проповедуете ее на Таити?—спросил я недоверчиво.

— Ну, конечно,—ответил он просто.

Впоследствии я убедился, что так и было.

Когда мы бросили якорь, спустили шлюпку и высадились на берег, Дарлинг сопровождал нас.

«Ну,—подумал я,—вот теперь этот сумасшедший совершенно изведет меня. Ни во сне, ни наяву он не оставит меня в покое, пока мы опять не снимемся с якоря».

Но никогда в жизни я не ошибался до такой степени. Я нанял себе домик, где жил и работал, и ни разу этот человек, это дитя природы, не пришел ко мне без приглашения. Он часто бывал в то же время на «Снарке», завладел нашей библиотекой, придя в восхищение от большого количества научных книг и возмущаясь (как я узнал впоследствии) подавляющим скоплением в них фиктивной научности. Люди, вернувшиеся в природу, конечно, не теряют времени на фикции [1]).

Через неделю во мне заговорила совесть, и я позвал его обедать в один из городских отелей. Он явился в куртке из бумажной материи, в которой, очевидно, очень скверно себя чувствовал. Когда я предложил ему снять ее, он просиял от радости и сейчас же сделал это, обнажив свою солнечную, золотую кожу, покрытую фуфайкой из тонкой рыбачьей сетки. Ярко-красная повязка вокруг бедер дополняла его костюм. С этого вечера началось наше знакомство, перешедшее в настоящую дружбу за время моего продолжительного пребывания на Таити.

— Так вы, значит, пишете книги?—сказал он однажды, когда я, усталый и вспотевший, заканчивал свою утреннюю работу.—Я тоже пишу книги,—объявил он.

«Ага,—подумал я,—вот когда он меня изведет—он будет читать мне все мои литературные произведения».

И я уже заранее возмущался. Не для того же я проехал все Южные Моря, чтобы фигурировать здесь в качестве литературного бюро.

— Вот книга, которую я пишу!—воскликнул он, звучно ударив себя в грудь сжатым кулаком.—Горилла африканских джунглей доводит свою грудную клетку до такого совершенства, что удар по ней слышен за полмили.

---

[1]) Фикция — выдумка, плод воображения.

— У вас тоже недурная грудь,—сказал я с восхищением,—ей, пожалуй, и горилла позавидует.

В этот день и следующие я узнал подробности о необыкновенной книге, которую написал Эрнст Дарлинг. Двенадцать лет тому назад он был при смерти. Он весил девяносто фунтов и был так слаб, что не мог говорить. Доктора отступились от него. Отец его, опытный практикующий врач, тоже от него отказался. Все консультации единогласно заявляли, что надежды нет. Его свалили переутомление (он был преподавателем в школе и в то же время сам учился в университете) и два воспаления легких. День ото дня он терял в весе. Его организм не усваивал тяжелых питательных веществ, которыми пичкали его окружающие, и никакие пилюли и порошки не могли помочь его пищеварению. Он стал не только физической калекой, но и духовным. Его сознание омрачилось. Он был болен и устал от лекарств; он был болен и устал от людей. Человеческая речь раздражала его. Человеческое внимание приводило его в ярость. Тогда ему пришла в голову мысль, что раз ему все равно придется умереть, то уж лучше умереть на свободе. А может быть, за всем этим пряталась маленькая надежда, что он и не умрет, если только ему удастся сбежать от «питательной» пищи, лекарств и добродетельных людей, которые приводили его в ярость.

И вот Эрнст Дарлинг, скелет, обтянутый кожей, еле двигающийся полутруп, в котором жизни было ровно настолько, чтобы еле двигаться, покинул людей и жилища людей и потащился в кустарники за пять миль от города Портлэнда в Орегоне. Конечно, он был сумасшедшим. Только сумасшедший может потащиться куда-то перед смертью.

Но в кустарниках Дарлинг нашел то, что ему было нужно,—покой. Никто не раздражал его бифштексами и свининой. Врачи не дергали его усталых нервов, щупая пульс или наполняя слабый желудок пилюлями и порошками. Он немного успокоился. Солнце было теплое, и он грелся в его лучах целый день. Солнечный свет казался ему жизненным элексиром. Потом ему почудилось, что все его искалеченное тело требует солнца. Тогда он сорвал с себя платье и купался в солнце. Он почувствовал себя лучше. Это было первое облегчение после многих месяцев пытки.

Когда ему стало немного лучше, он начал наблюдать окружающую природу. Вокруг него порхали и чирикали птицы, играли и прыгали белки. Он завидовал их здоровью и веселью, их счастливому, беззаботному существованию. Он стал сравнивать их жизнь со своею: это было неизбежно, и точно так же неизбежен был вопрос—почему же они полны сил, а он слаб и жалок. Ответ был прост—потому что они живут естественной жизнью, а он живет совершенно

неестественно; он отсюда сделал вывод, что если он хочет жить, он должен вернуться к природе.

Там, в глуши, он выработал свое учение и попробовал применить его на практике. Сбросив одежду, он стал прыгать и скакать, и бегать на четвереньках, и лазить по деревьям,—короче говоря, он делал физические упражнения, купаясь в солнечном свете. Он подражал животным. Он построил себе гнездо из сухих листьев и травы, чтобы забираться туда ночью, и покрыл его корой для защиты от первых осенних дождей.

— Вот великолепное упражнение,—сказал он мне однажды, хлопая себя изо всей силы по бокам,—я научился ему у ворона.

В другой раз я заметил, что он пьет кокосовое молоко с особым громким причмокиванием. Он объяснил мне, что таким образом пьют коровы, и он решил, что в этом должен быть какой-нибудь смысл. Он попробовал, нашел, что выходит хорошо, и с тех пор пьет таким образом.

Он заметил также, что белки питаются исключительно орехами и плодами. Он то же перешел на орехи и плоды с добавлением хлеба—и стал прибавляться в весе. В течение трех месяцев он вел свое первобытное существование в кустарниках, пока осенние орегонские дожди не загнали его обратно в человеческие жилища. Трех месяцев, конечно, было недостаточно, чтобы жалкое существо, весом в девяносто фунтов, перенесшее два воспаления легких, могло настолько закалиться, чтобы перенести орегонскую зиму на открытом воздухе.

Он достиг многого, но все это пошло на смарку. Ему пришлось вернуться в дом отца, а там, живя в закупоренных комнатах, с легкими, которым нужен был простор и лесной воздух,—он схватил третье воспаление. Он ослабел еще больше, чем раньше. В полуживом теле мозг оказался парализованным. Он лежал, как труп,—слишком слабый, чтобы говорить, слишком раздраженный и утомленный, чтобы слушать, что ему говорили. Единственное волевое движение, на которое он был способен,—это заткнуть уши пальцами, отказываясь слушать что-либо. Тогда обратились к психиатрам. Психиатры признали его ненормальным и заявили, что он проживет не более месяца.

Один из знаменитых экспертов увез его в санаторий на гору Табор. Там убедились, что он из «тихих», и предоставили ему свободу. Ему не предписывали никакой особой диэты, и он мог вернуться к своим плодам и орехам, оливковому маслу, маслу из турецких бобов, бананам. Немного окрепнув, он твердо решил, что с этого времени будет жить по-своему. Жить, как другие, согласно всем социальным условностям, он не может—он умрет. А умирать ему не хотелось.

Страх смерти был одним из главных факторов его выздоровления. Но чтобы жить, ему необходима естественная пища, свежий воздух и благодатное солнце.

Так как орегонская зима не благоприятствует возвращению к природе, Дарлинг отправился на поиски более подходящего климата. Он сел на велосипед и поехал на юг, в страну солнца. На год он задержался в Стэнфордском университете, где продолжал разрабатывать свою теорию, посещая лекции в том минимальном количестве одежды, которое разрешалось администрацией, и по мере возможности применяя принципы жизни, которым научился в царстве белок. Самым его излюбленным методом обучения было, сбросив платье, лежать на солнце на холме позади университета и впитывать в себя книжную мудрость, впитывая в то же время всем телом солнечный свет.

Но в Центральной Калифорнии все же бывает зима, и это заставило Дарлинга итти еще дальше на юг. Он пробовал устроиться в Лос-Анжелосе и Южной Калифорнии. Там его неоднократно арестовывали и отправляли на испытание в психиатрическую больницу, потому что его образ жизни не походил на образ жизни «нормальных» людей. Пробовал он жить и на Гавайских островах, но местные власти, не будучи в состоянии доказать, что он сумасшедший, просто-напросто выслали его. Это, собственно, не была высылка в точном смысле слова. Он мог и остаться под условием отбыть год тюремного заключения. Но тюрьма—это смерть для человека, вернувшегося к природе, так как он может сохранить жизнь только на открытом воздухе, купаясь в солнце. Нельзя, конечно, обвинять гавайские власти. Дарлинг был для них совсем нежелательным гражданином. Каждый человек становится нежелательным для того, с кем он не согласен. А когда человек расходится с другими до такой степени, как Дарлинг, да притом еще со всеми, то его нежелательность для властей вполне понятна.

Таким образом, Дарлингу пришлось искать климат не только желательный для него самого, но и такой, где он сам не был бы слишком нежелательным. И он нашел его в саду садов—на Таити.

Вот каким образом писалась страница за страницей его книга. Здесь он носит только повязку на бедрах и сетчатую рубашку без рукавов. Вес его—сто шестьдесят пять фунтов. Он вполне здоров. Зрение его, которое одно время сильно расстроилось, сейчас превосходно. Легкие, разрушенные тремя воспалениями, не только поправились, но стали сильнее, чем когда-либо.

Я никогда не забуду, как он, разговаривая со мною в первый раз, раздавил москита. Противное существо укусило его посредине спины, между лопатками. Не прерывая разговора, не пропустив ни

одного слова, он поднял сжатый кулак, загнул его назад и ударил себя между лопатками, при чем его грудная клетка издала звук барабана.

— Горилла в африканских джунглях колотит себя в грудь так, что звук этот слышен за полмили!—восклицал он иногда совершенно неожиданно и поднимал такой дьявольский шум ударами по своей груди, что положительно волосы становились дыбом.

Однажды он заметил у меня на стене перчатки для бокса, и глаза его засияли от радости.

— Вы боксируете?—спросил я.

— Я даже давал уроки бокса в Стэнфордском университете,—ответил он.

Тогда мы сняли платье и надели перчатки. Бахх! Длинная рука гориллы сверкнула и хлопнула меня перчаткой по носу. Бахх! Он хватил меня по голове сбоку и чуть не сшиб с ног. Шишка от удара оставалась у меня целую неделю. Я изловчился и ударил его в живот. Удар был основательный, так как я обрушился всею тяжестью своего тела. Я ожидал, что он скорчится и упадет. Но лицо его просияло от удовольствия, и он сказал: «Вот это великолепно!» А в следующую минуту он уже перешел в нападение, и я должен был защищаться от целого урагана ударов со всех сторон. Я опять как-то изловчился и ударил его в солнечное сплетение. Удар был удачный. Он раскинул руки, задохнулся и внезапно сел на пол.

— Ничего. Сейчас!—сказал он.—Подождите минутку.

И через тридцать секунд он уже был на ногах и возвратил мне долг—тоже в солнечное сплетение. Теперь уже я раскинул руки, задохнулся и сел на пол, только чуточку скорее, чем это сделал он.

На основании рассказанного, я смело утверждаю, что человек, с которым я боксировал, был совсем не тот несчастный девяностофунтовый калека, от которого отказались врачи. Книга, написанная Эрнстом Дарлингом, была превосходная книга, и переплет у нее тоже был недурен.

Гавайские острова много лет жалуются на недостаток хороших колонистов, и все-таки островная администрация выслала человека, вернувшегося на лоно природы. Я пользуюсь случаем, чтобы рассказать им, какого колониста они потеряли. Приехав на Таити, он стал искать кусок земли, чтобы прокормиться. Но землю, то-есть даровую землю, найти было трудно, а капиталов у человека, вернувшегося в природу, конечно, не было. Наконец, высоко в горах он нашел восемьдесят акров густой заросли кустарников, которые, очевидно, никому не принадлежали. Местные власти сказали ему, что если он очистит землю и будет работать на ней в течение тридцати лет, она станет его собственностью.

Он немедленно принялся за работу. И за какую работу! Земля была сплошь покрыта кустарниками, где кишело множество кабанов и бесчисленное количество крыс. Одна дорога к этому месту взяла у него несколько недель. Кабаны и крысы съедали у него все посаженное, едва пробивались первые ростки. Он стрелял кабанов и расставлял западни для крыс. Крыс он наловил полторы тысячи за две недели. И все, что ему было нужно, он должен был приносить на спине; эту работу вьючной лошади он исполнял обыкновенно по ночам.

Мало-по-малу он завоевывал землю. У него уже было пятьсот кокосовых пальм, пятьсот папайя, триста манго, много хлебных деревьев, не говоря уже о виноградниках и огородах. Он устроил систему ирригации [1]) и вскоре не только кормился сам, но мог продавать излишки своих продуктов жителям Папити.

Тогда оказалось, что земля, официально ни за кем не числившаяся, имеет хозяина и что все бумаги у него в порядке. Вся работа, сулившая прекрасные результаты, должна была считаться потерянной. В конце концов у них все-таки состоялось соглашение, но Дарлингу пришлось выплатить порядочную сумму.

Тогда на него обрушился еще более тяжелый удар. Ему был прекращен доступ на рынок. Дорогу, им же самим построенную, перегородили тремя рядами колючей проволоки,—одно из обычных удовольствий нашей нелепейшей социальной системы. В конце концов это было проявление той же тупой, консервативной силы, которая таскала Дарлинга на психиатрическое освидетельствование и выслала его с Гавайских островов. Очевидно, местная администрация имела некоторое отношение к этой консервативной силе, потому что дорога, построенная Дарлингом, закрыта и сейчас. Но он, сделавшийся истинным сыном природы, попрежнему поет и танцует. Он и не думает сидеть ночи напролет, размышляя о несправедливости, которую ему оказали; обиды и огорчения он предоставляет тем, кто желает иметь дело со злом. А у него нет времени на огорчения. Он верит, что живет на свете для того, чтобы быть счастливым, и ему некогда терять время на какие-то другие цели.

Итак, дорога загорожена. Новой он построить не может, просто потому, что у него нет своей земли для этого. Власти, правда, оставили ему кабанью тропинку, проходящую по кручам. Я как-то лазил с ним по этой тропинке, и нам приходилось висеть на руках, ползти и карабкаться. Переделать эту тропинку в дорогу тоже невозможно, потому что для этого нужны инженер, машины и стальной канат. Но о чем беспокоиться этому человеку, вернувшемуся в

---

[1]) Ирригация — искусственное орошение.

природу? По его благородной этике полагается на зло отвечать добром. И разве он не счастливее всех тех, кто ему делал зло?

— Не беда, не стоит и думать об их глупой дороге,—сказал он мне, когда мы вылезли на какую-то скалу, чтобы передохнуть.—Скоро у меня будет воздухоплавательный аппарат, и я их всех оставлю в дураках. Я уже делаю площадку для спуска аэропланов; в следующий раз, когда вы приедете на Таити, вы будете прилетать прямо к моей двери.

У Дарлинга, надо сказать, имеются странные идеи и помимо тренировки себя по системе гориллы африканских джунглей. Так, например, идея левитации, то-есть преодоления тяжести и полета на манер птиц.

— Да, сэр,—сказал он мне как-то раз,—левитация не невозможна. И подумайте только, как это будет прекрасно—подниматься с земли одним актом воли. Астрономы уверяют, что вся наша солнечная система умирает, что она застынет, и на ней будет невозможна жизнь. Ну, и пусть! В эти дни все люди уже будут вполне законченными левитаторами, они оставят нашу погибающую планету и отправятся искать более гостеприимные миры. Вы спрашиваете,—какой путь? Прогрессирующие посты. Я пробовал поститься несколько раз и к концу всегда становился легче.

«Он сумасшедший»,—подумал я.

— Впрочем,—прибавил он,—это только мои теории. Мне приятно размышлять о светлом будущем человечества. Может быть, левитация и невозможна, но мне нравится думать о ней, как о чем-то возможном.

Однажды вечером, когда он зевнул, я спросил, сколько часов в сутки он позволяет себе спать.

— Семь часов,—ответил он.—Но через десять лет я буду спать шесть часов, а через двадцать—только пять. Как видите, я буду урезывать от сна по часу каждые десять лет.

— Так что, когда вам будет сто, вы совсем не будете спать?—спросил я.

— Совершенно верно. Именно так. Когда мне будет сто лет, сон не будет мне нужен. Кроме того, я буду жить за счет воздуха. Вы же знаете, конечно, что растения питаются воздухом.

— Но разве это удавалось хоть одному человеку?

Он покачал головой.

— Я никогда не слыхал о таком человеке. Но ведь это только одна из моих теорий,—это усвоение питательных веществ из воздуха. Это ведь было бы удивительно хорошо,—не правда ли? А может быть, это и невозможно. Скорее всего, что так. Видите, я не такой уж смелый фантазер, я никогда не забываю о действительности.

Даже когда я лечу сломя голову в будущее, я всегда оставляю за собою ниточку, чтобы можно было вернуться.

Иногда мне кажется, что Дарлинг просто шутит. Но во всяком случае он добился своего и живет самой простой жизнью. Свои обычные издержки он оценивает в пять центов в день. Сейчас он живет в городе, частью потому, что дорога перегорожена, частью потому, что увлекается пропагандой социализма, и его издержки, вместе с квартирной платой, доходят до двадцати пяти центов в день. Чтобы покрыть их, он занимается в вечерней школе для китайцев. Дарлинг—не ханжа и не фанатик. Когда нет ничего кроме мяса, он ест и мясо,—например, когда он попадает в тюрьму или на борт судна. Вообще у него, кажется, нет ни одного застывшего догмата, кроме убеждения в необходимости солнца и воздуха,—прежде всего солнца и воздуха.

— Бросайте якорь, где хотите, и он вас все-таки не остановит,— если, конечно, душа ваша бескрайнее и бездонное море, а не поросячья лужа,—говорил он мне однажды.—Вы видите, у меня якорь покорно тащится сзади. Я живу во имя прогресса и оздоровления человечества. Для меня это—одно и то же. И я стараюсь тащить мой якорь всегда в эту сторону. Меня спасло именно то, что я не стоял на якоре, а тащил его за собою. Вот я потащил его в кустарники, когда был болен, и оставил в дураках всех докторов. Когда я плыл на пароходе на Таити, один матрос растолковал мне, что такое социализм. Он доказал мне, что прежде всего нужно правильно распределить средства к жизни, а потом уже люди смогут жить согласно с природой. Я опять потащил якорь в новом направлении и теперь стараюсь работать на пользу социализма...

— Вчера ночью я видел сон,—продолжал он задумчиво, и радость медленно заливала его лицо.—Мне снилось, что двадцать пять человек мужчин и женщин, вернувшихся к природе, приехали сюда из далекой Калифорнии на пароходе, и что я, будто бы, собираюсь вести их на свою плантацию по горной кабаньей тропинке...

Ах, милый Эрнст Дарлинг, поклонник солнца и простой естественной жизни: иногда я готов завидовать вам и вашей беспечной жизни! Я и сейчас вижу вас танцующим и кувыркающимся на веранде; с волос ваших капает соленая вода после купанья, глаза сверкают, тело, золотое от солнца, тоже сверкает, и грудь дьявольски резонирует под ударами, когда вы распеваете: «Горилла в африканских джунглях до тех пор колотит себя в грудь, пока шум от ударов не бывает слышен за полмили». И я всегда буду видеть вас таким, как видел в последний день, когда «Снарк» еще раз просунул свой нос в узкий проход между рифами, направляясь в

открытый океан, а я махал шляпой и прощался с оставшимися на берегу. И неподдельно горячим было мое последнее приветствие золотому солнечному богу в ярко-красной повязке вокруг бедер, стоявшему в своей маленькой лодочке [1]).

ГЛАВА XII

В стране изобилия

Когда прибывают чужестранцы, всякий старается сдружиться с кем-нибудь из них и привести его в свое жилище, где гостя с величайшей любезностью чествуют все живущие в округе; они сажают его на почетное место и угощают самой лучшей пищей...

Полинезийские изыскания.

«Снарк» стоял на якоре у острова Райатеа, против деревни Утуроа; мы подошли к острову ночью, когда уже было темно. Рано утром я заметил, как скользил по лагуне узенький челнок с огромным парусом. Челнок, похожий на гроб, был выдолблен из цельного ствола, имел четырнадцать футов длины, не более четырнадцати дюймов ширины и дюймов двадцать глубины. У него, собственно, не было никакой формы, если не считать двух заостренных концов. Его борта были перпендикулярны к воде, как у ящика. Если бы у него не было аутригера (длинный брус, параллельный корпусу челнока), он бы опрокинулся в десятую долю секунды. Аутригер держал его.

Парус челнока был невероятно огромен. Это была одна из тех вещей, которым не только нельзя поверить, пока не увидишь, но даже когда видишь, так и то не веришь. Вообще это была не парусная лодка и даже не челн, а какая-то плавательная машина, и человек, сидящий в ней, управлял ею, главным образом, помощью

---

[1]) „Социалист“, непротивящийся злу как толстовец, — вегетарианец, убивающий кабанов, — „дитя природы“ — Дарлинг мог вызвать симпатии Джэка Лондона своей жизнерадостностью и физическим здоровьем. Но в социальном смысле такой тип, как Дарлинг,—определенно отрицательная величина. Его мечты — „оголить“ все человечество, поставить на-четвереньки и отправить пастись на лужайку, чтобы там брать уроки у коровы жевать жвачку,—бессмысленны уже потому, что человечество—слишком большое „стадо“, чтобы прокормиться на подножном корму „матери-природы“. Кроме того, „социалист“ Дарлинг, очевидно, ничего не понял в сущности социализма и классовой борьбы, если он думает обеспечить сытое и здоровое существование трудящихся масс возвратом к полуживотному состоянию, а не борьбой с силами природы и классом эксплоататоров (которые, кстати, не проявляют особой склонности к возвращению в первобытное состояние).

своего веса, а еще больше, конечно, крепостью своих нервов. Я наблюдал, как он лавировал по заливу, сидя почти все время на брусе, и, наконец, я заявил решительно:

— Ладно, это решено. Я не уеду из Райатеа, пока не покатаюсь на таком челноке!

Несколько минут спустя Уоррен крикнул мне вниз:

— Челнок, о котором вы говорили, уже здесь, у нашего борта!

Я бросился со всех ног на палубу и поздоровался с владельцем челна, стройным полинезийцем с простодушным лицом и блестящими умными глазами. На нем была красная повязка вокруг бедер и соломенная шляпа. В руках у него были подарки—рыба, связка зелени и несколько огромных плодов ямса. Я поблагодарил его улыбками и многократными повторениями м а у р у - у р у (что значит на языке Таити «благодарю вас») и потом показал ему знаками, что хотел бы покататься в его челноке.

Его лицо засияло от удовольствия, и он сказал: «Тахаа», показывая пальцем на высокие, покрытые облаками утесы острова в трех милях от нас—острова Тахаа. В ту сторону ветер был попутный, но назад итти против ветра было бы очень трудно. А кроме того мне совсем не хотелось ехать сейчас на Тахаа. Мне нужно было передать письма на Райатеа, повидать местные власти, да и Чармиан собирались сойти на берег. Я настойчиво объяснил знаками, что хочу только немного покататься по лагуне. Его лицо моментально выразило полное разочарование, но он сейчас же мило улыбнулся и закивал утвердительно.

— Идем кататься на челноке!—крикнул я вниз Чармиан.—Только наденьте купальный костюм, потому что будет обрызгивать.

Это был положительно какой-то сон. Это не могло быть реальностью. Неуклюжий челнок скользил по воде, как полоска серебра. Я перелез на брус и играл, таким образом, роль необходимого балласта, а Тэхэи (произносить надо Тэихэии) фигурировал в качестве крепких нервов. В трудные минуты он тоже перебирался ко мне, не выпуская из рук длинного кормового весла и удерживая парус ногою.

Когда мы вернулись на «Снарк» после небольшой прогулки, Тэхэи спросил меня знаками, куда направляется «Снарк». Я последовательно перечислил: Самоа, Фиджи, Новая Гвинея, Франция, Англия и Калифорния. Тогда он произнес: «Самоа», и знаками дал понять, что он тоже хотел бы отправиться туда. Мне довольно трудно было объяснить ему, что на судне для него нехватит места. И опять выражение детского разочарования на его лице было подавлено милой улыбкой, и опять он усиленно приглашал нас знаками отправиться с ним на Тахаа.

Мы с Чармиан быстро переглянулись. Восхищение от недавней прогулки было еще слишком сильно. Письма, которые надо было передать, и власти, которых надо было повидать, были забыты. Башмаки, рубашка, пара штанов, патроны, спички и книга были наскоро втиснуты в жестянку от бисквитов и завернуты в клеенку—и мы очутились в челноке.

— Когда ждать вас назад?—крикнул Уоррен, когда парус надулся, и мы с Тэхэи полезли на брус.

— Не знаю,—ответил я.—Как придется...

Мы двинулись. Ветер немного усилился. Борт челнока поднимался над водой дюйма на два с половиной, и небольшие волны то-и-дело переливались через борт. Необходимо было выкачивать воду, а это одна из главных обязанностей вахине. Вахине—по-таитянски—женщина, а так как Чармиан была единственной вахине на челноке, то эта работа, по справедливости, досталась ей. Мы с Тэхэи вряд ли много бы вычерпали, так как все время ползали по аутригеру, удерживая челнок в равновесии. Чармиан работала в поте лица своего при помощи деревянного черпака весьма примитивной формы и справлялась со своей задачей настолько удачно, что иногда даже могла передохнуть.

Мы не поспели оглянуться, как доехали до Тахаа (произносится Тах-ах-ах,—без ударения), и Тэхэи, выходя на берег, улыбнулся нашей вахине, весьма одобряя ее работу. Челнок остановился в двадцати футах от берега, и мы пошли по мягкому песку, на котором извивались громадные слизняки и мелкие осьминоги (ступать по ним было более чем мягко). Почти у самой воды, между кокосовыми пальмами и бананами, стояла на сваях хижина Тэхэи, сделанная из бамбука и покрытая травой. Из хижины к нам навстречу вышла вахине Тэхэи, совсем маленькая стройная женщина с ласковыми глазами и монгольскими чертами лица—а впрочем, может быть, она была из индианских племен Северной Америки. Тэхэи назвал ее Биаура (произносить—Би-аа-у-раа, сильно ударяя на все слоги под ряд).

Она взяла Чармиан за руку и повела в дом; мы с Тэхэи следовали за ними. В хижине нам объяснили знаками, но вполне точно, что все, что у них имеется, принадлежит нам. Ни один гидальго [1]) в мире не мог бы выказать столько щедрости и гостеприимства на словах, а тем более, конечно, на деле. Мы очень быстро усвоили себе, что нельзя приходить в восхищение ни от чего—иначе вещь немедленно перейдет в наше владение. Обе вахине, по всемирному обычаю всех вахине, занялись тотчас же исследованием разных принадлежностей

1) Гидальго — испанский дворянин.

своего туалета, а Тэхэи и я, как подобало настоящим мужчинам, стали рассматривать рыболовные снасти, капканы для ловли диких кабанов и тонкие остроги, которыми туземцы бьют макрелей на расстоянии сорока футов. Чармиан похвалила корзинку для шитья—чудесный образчик полинезийского плетения—и корзинка тотчас же была подарена ей. Я пришел в восхищение от рыболовного крючка, выточенного из раковины-жемчужницы—он оказался моим. Чармиан загляделась на тонкое плетенье из соломы, красивого рисунка футов в тридцать длиною, из которого могла выйти шляпа какой угодно формы—соломка, свернутая в ролик, была уже у нее в руках. Мои глаза задержались немного дольше, чем следует, на ступке для пои, относящейся, вероятно, к каменному веку,—и она была мне подарена. Чармиан, в свою очередь, слишком долго рассматривала красивую чашу для пои, выдолбленную из цельного куска дерева, в форме челна на четырех ножках,—и получила ее. Я напрасно посмотрел два раза под ряд на чашу из гигантского кокосового ореха—она стала моей. Тогда мы с Чармиан, обменявшись взглядами, решили не восхищаться ничем больше, потому что это восхищение становилось для нас слишком прибыльным. Мы уже ломали себе голову, чтò из имущества «Снарка» можно было бы употребить на ответные подарки. Рождество, с его обычной проблемой подарков, ничто по сравнению с задачей ответить достойным образом на полинезийскую щедрость.

Мы сидели на прохладном крыльце, на лучших цыновках Биаура, и, в ожидании обеда, знакомились с другими обитателями деревни. Они подходили по-двое и по-трое, пожимали нам руки и произносили таитянское приветствие—й о р а н а. Мужчины, высокие и плотные, были в набедренных повязках и некоторые в рубашках, женщины в обычных полинезийских а х у, нечто в роде передника, падающего красивыми складками от плеч до самого пола. Некоторые были поражены элифантиазисом. У одной очень красивой женщины огромного роста, с осанкой королевы, одна рука была больше другой в четыре раза, а может быть, и в двенадцать. Рядом с ней сидел мужчина шести футов ростом, статный, с великолепной мускулатурой бронзового бога, но его ноги были до того раздуты и обезображены, что действительно походили на чудовищные ноги слона.

Повидимому, причины полинезийского элефантиазиса еще совершенно не выяснены. Некоторые полагают, что эта болезнь вызывается употреблением стоячей, испорченной воды. Другие—что она происходит от отравления ядом москитов. Объясняют ее также предрасположением и влиянием местного климата. Но в таком случае было бы совершенно невозможно заявляться в Полинезию. Всякому приходится пить местную воду, и всякого, конечно, кусают москиты.

И никакие предосторожности тут не помогут. Единственный способ благополучно проплыть по Южным Морям—это быть как можно беспечнее и надеяться на свою счастливую звезду.

Посмотрев, как островитянка выжимала для нас молоко из мякоти кокосового ореха распухшими, изуродованными руками, мы отправились под навес, где Тэхэи и Биаура готовили обед. Он был сервирован для нас на пустом ящике из-под галантерейных товаров, а хозяева устроились на полу. Но какой это был обед! Несомненно, мы были в стране изобилия. Прежде всего была подана великолепная сырая рыба, вымоченная предварительно в течение нескольких часов в лимонном соку. Затем жареные цыплята. Для питья—два кокосовых ореха с очень сладким молоком. Потом были бананы, напоминающие по вкусу клубнику и тающие во рту. Далее—банановое пои, вкуснее всех соусов и пуддингов в мире. И еще вареный ямс, вареное таро и печеные ф е й с—особый сорт красных, сочных, мучнистых бананов. Мы не могли притти в себя при виде такого изобилия, а тут еще принесли поросенка,—целого поросенка, обернутого в листья и зажаренного на камнях—самое почетное блюдо полинезийской кухни. И, наконец, на сцену появился кофе,—восхитительный черный кофе, выросший здесь же, по склонам Тахаа.

Рыболовные принадлежности Тэхэи привели меня в восхищение, и после того как мы уговорились отправиться на рыбную ловлю, мы с Чармиан решили остаться здесь на ночь. Еще раз Тэхэи заговорил о Самоа, и снова мое petit bateau» [1]) вызвало разочарование и улыбку покорности на его лице. Отсюда я собрался отправиться на Бора-Бора. Расстояние между Бора-Бора и Райатеа легко можно пройти на паровом катере. Я пригласил Тэхэи отправиться туда с нами на «Снарке». Потом я узнал, что его жена родом с Бора-Бора и что у нее есть там свой дом. Мы пригласили и ее, и немедленно за этим последовало встречное приглашение с их стороны остановиться вместе с ними в их доме на Бора-Бора. Это было в понедельник. Во вторник мы собрались отправиться на рыбную ловлю, с тем, чтобы в тот же день вернуться на Райатеа. В среду мы должны были пройти мимо Тахаа в определенном месте, принять на борт Тэхэи и Биаура и отправиться на Бора-Бора. Обо всем этом мы подробно договорились,—об этом и о куче других вещей, несмотря на то, что Тэхэи знал всего три фразы по-английски, Чармиан и я знали с дюжину таитянских слов, и все четверо мы могли бы обменяться дюжиной французских слов, которые были бы понятны нам всем. Такой многоязычный разговор был, разумеется, очень медленным, но все же с помощью блокнота, карандаша,

---

[1]) Petit bateau — маленькое суденышко.

изображения часов, которое Чармиан нарисовала на блокноте, и десяти тысяч различных жестов нам удалось объясниться чудесным образом.

Как только пришедшие туземцы заметили, что нам хочется спать, они исчезли, растаяли, произнося ласковые йорана; так же исчезли и растаяли Тэхэи и Биаура. Вся хижина состояла из одной большой комнаты, которая и была всецело предоставлена в наше распоряжение. И я не могу не подчеркнуть, что нигде в мире и никогда и никто не принимал меня так сердечно и хорошо, как эта темнокожая чета полинезийцев. Я говорю не о подарках, не о их щедрости, не об угощениях в их царстве изобилия, а о той тонкой деликатности, безукоризненном такте, ласковой предупредительности и неподдельном расположении, которые проявлялись решительно во всем. Они не только исполняли все, что предписывали их обычаи, они старались угадать малейшее наше желание—и угадывали чрезвычайно тонко. Невозможно перечислить те заботы, которыми они окружали нас в продолжение нескольких дней, проведенных нами в их доме. И высшая прелесть этих отношений заключалась в том, что они были не результатом воспитания, сложной социальной тренировки, а совершенно естественным порывом их непосредственных натур.

На следующее утро мы отправились ловить рыбу,—Тэхэи, Чармиан и я,—в том же челноке, похожем на гроб, только на этот раз без паруса. За несколько миль от берега, но не переходя рифы, Тэхэи закинул свои крючки с наживкой; наживкой служили кусочки осьминога, которые Тэхэи откусывал от живого осьминога, извивающегося на дне лодки. Он забросил девять таких лесок, к каждой из которых был привязан кусочек бамбука в виде поплавка. Когда рыба клевала, один конец бамбуковой палочки уходил в воду, а другой, естественно, выскакивал, призывая нас. И как мы торопились! Вскрикивая и взвизгивая, мы гребли от одного сигнального поплавка к другому и вытягивали из глубин океана сверкающих красавиц подводного царства от двух до трех футов длины.

Тем временем с востока надвинулся основательный шторм, и небо покрылось тучами. А мы были за три мили от дома. Мы тотчас же отправились обратно, но дождь нагнал нас. Такой дождь бывает только под тропиками; это не только открываются все краны и шлюзы небесные, но и весь небесный резервуар опрокидывается на землю. Но нам было все равно. Чармиан была в купальном костюме, я в пижаме, а Тэхэи только в набедренной повязке. На берегу нас поджидала Биаура, и взяв за руку Чармиан, поспешно увела ее в дом—в роде того как мать уводит маленькую непослушную дочь, которая перепачкалась, бегая по лужам.

Потом мы переоделись в сухое платье и уютно курили в ожидании кай-кай. На полинезийских наречиях кай-кай означает одновременно и «пища», и «есть». Очевидно, это очень древний корень, сохранившийся по всему Тихому океану. И еще раз мы сидели за столом изобилия, и еще раз сожалели, что в отношении желудка мы не созданы по образцу и подобию жирафа или верблюда.

Перед закатом ветер стих, но для челнока волны все же были слишком велики. Поэтому я попросил Тэхэи найти туземца, который доставил бы нас в Райатеа на катере за два чилийских доллара, что составляет на наши деньги девяносто центов. Тэхэи и Биаура созвали полдеревни, чтобы нести подарки, которыми они нас наградили. Тут были живые цыплята в корзинках, очищенная и обернутая в зеленые листья рыба, огромные кисти золотых бананов, корзины с лимонами и апельсинами, груши-аллигаторы (маслянистый плод, называемый еще авока), громадные корзины ямса, связки таро и кокосовых орехов и, наконец, даже толстые ветви и куски стволов—топливо для «Снарка».

По дороге к катеру мы встретили единственного белого обитателя острова Тахаа—Джорджа Лефкина, родом из Америки. Ему было восемьдесят шесть лет отроду, из которых шестьдесят с лишним он прожил на Островах Товарищества, отлучившись только два раза: один раз в Калифорнию, когда там открыли золото, а другой раз—в окрестности Сан-Франциско, где он попробовал заняться земледелием.

«Катер» был небольшой шлюпкой, но по сравнению с узеньким челноком Тэхэи казался очень основательным. Однако, когда мы вышли из лагуны и попали в новый шквал, то убедились, что это—игрушка, и вспомнили о «Снарке», как о каком-то незыблемом континенте. Тэхэи и Биаура отправились с нами, и Биаура оказалась настоящим моряком. Мы шли под штормом на всех парусах. Становилось темно, а лагуна была полна ответвлениями коралловых рифов. Три раза шлюпка ложилась на бок, и, чтобы поднять ее, приходилось ослаблять парус.

Между тем окончательно стемнело. Шторм усилился, и хотя мы во-время убрали паруса, все же промчались мимо «Снарка» и бились целый час, пока не перебрались на спущенную моторную лодку и не подняли, наконец, на палубу «Снарка» несчастный катер.

В тот день, когда мы отправились на Бора-Бора, ветер был слабый, и мы пустили в ход машину, чтобы добраться до места, где нас должны были ждать Тэхэи и Биаура. Но их нигде не было видно.

— Ждать нельзя,—сказал я.—При таком бризе мы не доберемся до Бора-Бора до темноты, а газолин на исходе.

В Южных Морях газолин—это целая проблема. Никогда не знаешь, где и когда удастся пополнить его запасы.

Но как раз в это мгновение между деревьями показался Тэхэи. Он снял рубашку и отчаянно махал ею. Биаура, очевидно, не успела еще собраться. Явившись на судно, Тэхэи знаками объяснил, что необходимо подвести «Снарк» ближе к его дому. Он сам взял руль и провел нас между кораллами. Тогда с берега послышались приветственные крики, и Биаура с помощью других туземцев доставила на «Снарк» два челнока, наполненных изобилием. Там были ямс, таро, фейс, плоды хлебного дерева, кокосовые орехи, апельсины, лимоны, ананасы, арбузы, груши-аллигаторы, гранаты, рыба, живые куры, которые суетились, кудахтали и несли яйца на палубе, и, наконец, живой поросенок, дьявольски визжавший все время, точно его уже резали.

Месяц стоял довольно высоко, когда мы прошли через опасные коралловые рифы Бора-Бора и бросили якорь против деревни Вайтапе. Биаура, у которой здесь были дом, очень беспокоилась, что не может попасть на берег раньше нас, чтобы приготовить для нашей встречи новое подобающее изобилие. Везде на Островах Товарищества говорили нам, что Бора-Бора—очень веселый остров. Когда мы с Чармиан сошли на берег, то увидели на лужайке у деревни танцующих юношей и девушек, сплошь увитых гирляндами и с какими-то странно фосфоресцирующими цветами в волосах, которые вспыхивали и мерцали в лунном свете. Дальше, перед громадной соломенной хижиной овальной формы, в семьдесят футов длиною, старейшины деревни пели химинэ. Они были тоже увенчаны цветами и тоже веселы и приветствовали нас радостно, как заблудших овец, пришедших из темноты на свет.

На другое утро Тэхэи явился на «Снарк» со свеже-пойманной рыбой и передал нам приглашение на обед. По дороге мы заглянули в дом, перед которым накануне старцы пели химинэ. Там пели те же старцы вперемежку с молодежью. Судя по всему, готовился пир. На полу возвышалась гора плодов и овощей, и с двух сторон ее лежали куры, связанные кокосовыми мочалками. После многочисленных химинэ один из стариков поднялся и сказал речь. Речь относилась к нам, и хотя мы ничего не поняли, все же нам показалось, что между нами и горой изобилия имеется какая-то связь.

— Не может же быть, чтобы они собирались подарить нам все это?—прошептал Чармиан.

— Невозможно!—прошептал я.—Зачем бы? Да и места на «Снарке» нет совершенно. Мы не смогли бы съесть и десятой части. А ведь остальное сгниет. Может быть, они просто приглашают нас на пир.

Но оказалось, что мы еще находились во власти страны изобилия. Оратор самыми несомненнейшими жестами вручил нам каждую мелочь горы изобилия, а затем уже всю гору в целом. Минута была затруднительная. Как бы вы поступили, если бы в вашем распоряжении была всего одна комната, а ваш друг презентовал бы вам слона? Эта новая нагрузка была совершенно не по силам «Снарку». Мы краснели и запинались, произнося м а у р у р у. Мы лепетали м а у р у р у долго и даже прибавляли н у и, что означает самую невероятную благодарность,—и все-таки старались показать жестами, что не можем принять всех подарков, что было с полинезийской точки зрения высочайшей бестактностью. Певцы химинэ совершенно растерялись от огорчения, и в тот же вечер мы при помощи Тэхэи старались загладить наше невежество, приняв по одному экземпляру от каждого сорта приношений.

Уйти от этого наводняющего изобилия было совершенно невозможно. Я купил у одного туземца дюжину кур, а на следующий день он доставил мне тринадцать, да еще полную лодку фруктов в придачу. Француз-лавочник подарил нам корзину гранат и предоставил в наше распоряжение лучшую лошадь. Местный жандарм тоже предложил нам свою любимую лошадь, которую он берег больше жизни. Все решительно посылали нам цветы. «Снарк» представлял фруктовый магазин, овощную лавку или переполненный припасами склад. Мы ходили не иначе, как увитые гирляндами. Когда певцы химинэ появлялись на «Снарке», девушки приветствовали нас поцелуями, и вся команда влюбилась в девушек с Бора-Бора.

Проходили дни, но изобилие не кончалось. В день отхода к борту причаливали один за другим челноки. Тэхэи привез нам огурцов и молоденькое деревцо п а п ӑ й а, увешанное великолепнейшими плодами. Мне лично он подарил тоненький двойной челнок с полным комплектом рыболовных приспособлений. А кроме того такое же количество фруктов и овощей, как на Тахаа. Биаура привезла Чармиан несколько шелковых подушек, вееров и узорных цыновок. И, наконец, все навезли плодов, фруктов и кур. Туземцы, которых я даже ни разу не видел, привозили мне удочки, лески и рыболовные крючки, выточенные из перламутровых раковин.

Когда «Снарк» выходил за рифы, он тащил за собою шлюпку, на которой Биаура должна была отправиться домой одна,—Тэхэи остался. В конце концов я принужден был согласиться, и он вошел в команду «Снарка». Когда шлюпка отошла и повернула к востоку, а «Снарк» к западу, Тэхэи стал на колени на корме и шептал молитвы, и слезы текли по его щекам. А когда неделю спустя Мартин показал ему несколько фотографий, этот темнокожий сын Полинезии, узнав свою бесконечно любимую Биаура, разрыдался.

Но изобилие! Что было делать с изобилием? Мы не могли работать на «Снарке» из-за этого изобилия. Мы ходили по фруктам. Шлюпка и моторная лодка были полны до краев. Натянутые тенты трещали от их тяжести. Но как только мы попали в настоящий ветер, началась автоматическая разгрузка. При каждом качании «Снарк» выбрасывал за борт то связку бананов, то десяток кокосовых орехов, то корзину с лимонами. Золотая лимонная река стекала по шканцам. Лопались огромные корзины с ямсом, а гранаты и ананасы катались взад и вперед. Куры и цыплята вырывались на свободу и торчали везде—и на борту и даже на мачтах. Это ведь были дикие куры, умеющие летать. Когда мы пробовали их ловить, они улетали с судна, и покружившись над морем, возвращались все-таки назад,—впрочем, не всегда возвращались... Воспользовавшись беспорядком, вышел поросенок из своей клетки и, никем не замеченный, скользнул за борт.

ГЛАВА XIII

Рыбная ловля на Бора-Бора

В пять часов утра начался свист в раковины. По всему берегу, точно древний военный призыв, неслись эти звуки, заставляя рыболовов готовиться к ловле. Мы на «Снарке» тоже, конечно, вскочили, потому что спать в этом сумасшедшем гаме было невозможно.

Эту своеобразную местную ловлю рыбы называют таутаитаора, при чем таутаи—означает снаряд, то-есть камень, а таора—бросать, а все вместе значит—рыбная ловля посредством бросания камней. В сущности, это облава, точно такая же облава, как, например, на диких слонов. Делается это так. Челноки вытягиваются в ряд, на расстоянии от ста до двухсот футов друг от друга. На носу каждого из них стоит человек с камнем в несколько фунтов на короткой веревке. Этим камнем бьют по воде, опуская его и опять выдергивая. На корме сидит гребец, который направляет челнок к линии челноков, соединяющейся с другим таким же рядом челноков, на расстоянии мили или двух от первого; противоположные концы обеих линий упираются в берег. Получается круг, одною из сторон которого является берег. Круг все суживается, а с берега в воду входят женщины, образуя ногами живую загородку под водою. В нужную минуту, когда круг уже достаточно тесен, с берега на лодке подвозят длинную плетенку из кокосовых листьев, которая опускается в воду, в помощь ограде из женских ног.

— Très joli (очень мило),—говорил француз-жандарм, объясняя знаками, что будут пойманы многие тысячи рыб самых различных

величин, от миноги до акулы, и что загнанная рыба будет биться у самого берега, выбрасываясь на песок.

Эта рыбная ловля, может быть, потому бывает так удачна, что напоминает скорее праздник, чем прозаическое обыденное добывание пищи; происходит она на Бора-Бора каждый месяц с незапамятных времен. Кто придумал ее—неизвестно. Это всегда так было. Но невольно приходит в голову, что изобретатель был очень талантливый человек и, конечно, радикал, в чем я не сомневаюсь. И несомненно также, что соплеменники считали его сумасшедшим, или дураком, или анархистом. Ему было гораздо труднее, чем современным изобретателям, которым приходится убеждать в полезности своего изобретения одного или двух капиталистов. Ему необходимо было убедить целое племя, потому что иначе и попробовать этот способ было невозможно. Воображаю, какой вой поднимался иногда по ночам в первобытном парламенте, когда изобретатель называл своих сограждан заплесневелыми пнями, а они его—дураком, нахалом, сумасшедшим. Одному небу известно, сколько седых волос и нервных припадков стоило ему завоевание кучки приверженцев!

Наши милые друзья, Тэхэи и Биаура, которые устроили эту ловлю в честь нас, явились за нами в почетной барже. Нас положительно ошеломило ее великолепие. Два челнока были связаны поперечными шестами и украшены гирляндами из цветов и золотой травы. На веслах была дюжина амазонок, увенчанных цветами, а на корме каждого челнока—рулевой, тоже весь в цветах—алых, золотых, оранжевых,—с ярко-красной п а р е и вокруг бедер. Цветы были всюду—цветы, цветы, без конца и края. Это была какая-то оргия цветов и красок. На носу обоих челноков танцовали Тэхэи и Биаура, и все голоса сливались в диком приветственном пении.

Они три раза обошли вокруг «Снарка», прежде чем причалить и забрать Чармиан и меня. «На Бора-Бора всегда весело»,—говорят на Островах Товарищества. И действительно было весело. Под четкие удары весел пелись песни и в честь лодок, и в честь акул, и в честь рыбной ловли. Время от времени слышался возглас: «М а о», и все налегали на весла, как сумасшедшие. М а о—означает акула, и при появлении этого океанского тигра туземцы спешат к берегу изо всех сил, чтобы легкий челнок не был перевернут, а они сами—съедены. В данном случае никаких акул не было, и тревожное «мао» употреблялось только для того, чтобы подзадорить гребцов.

Тэхэи и Биаура продолжали танцовать на носу под аккомпанемент пения и ритмического хлопанья в ладоши. Иногда ритм подчеркивался мелодическими ударами весел по борту челноков. Иногда молодая девушка бросала весло, вспрыгивая на нос, танцовала х у л а и во время танца, извиваясь и наклоняясь всем телом, касалась наших

щек приветственным поцелуем. Некоторые из песен—х и м и н э—были религиозными, и они были особенно хороши, напоминая звуки органа красивыми сочетаниями мужских басов с женскими контральто и высокими сопрано. Другие песни были, наоборот, древними и дикими и восходили, очевидно, к дохристианской эпохе.

Так под пение и пляски и ритмичные удары весел мы добрались до места ловли. Местный жандарм, французский представитель Бора-Бора, вышел тоже с семьей в двойном челноке, на котором гребли арестанты: он был не только жандармом и правителем, но также и смотрителем тюрьмы, а в этой веселой стране на общую рыбную ловлю должны непременно выходить все. Штук двадцать одиночных челноков окружили нас со всех сторон. Из-за мыса красиво выплыл парусный челн. Трое юношей, балансируя на его аутригере, приветствовали нас барабанным боем.

У следующего мыса было место сбора. Здесь нас дожидалась моторная лодка, приведенная Уорреном и Мартином. Жители Бора-Бора не видели, что заставляет ее двигаться, и это приводило их в восторг. Потом лодки вытащили на песок, и все сошли на берег, чтобы пить кокосовое молоко и снова петь, и снова плясать. Здесь к нам присоединилось много туземцев, пришедших пешком из соседних деревень, и любопытно было видеть молодых девушек, увитых цветами, идущих попарно по песчаному берегу.

— Обычно улов бывает хороший,—сказал нам Аллико, местный торговец-метис.—Под конец вы увидите, вода будет прямо кишеть рыбой. Вообще, будет занятно. И потом—вы знаете, что вся рыба—ваша?

— Как? Вся?—простонал я, потому что «Снарк» был и так перегружен всевозможными подарками—фруктами, овощами, курами и поросятами.

— Вся до последней рыбешки,—отвечал Аллико.—Когда облава подойдет к концу, вы, в качестве почетного гостя, должны будете поднять на острогу первую рыбу,—таков обычай,—а потом они уже будут выбрасывать ее на берег руками. Получатся целые горы рыбы. Потом кто-нибудь из вождей скажет речь, в которой преподнесет вам весь улов. Но вам незачем брать все. Вы встанете и скажете речь. Вы укажете, какую рыбу отобрали себе, а остальное преподнесете участникам ловли. И все начнут восхвалять вашу щедрость.

— А вдруг бы кто-нибудь взял себе весь улов?—спросил я.

— Этого еще никогда не случалось,—был ответ.—Таков уж обычай—одна сторона дарит, другая отдаривает.

Туземный священник прочел молитву об успешной ловле. Затем главный из рыболовов стал выкликать челноки, назначая каждому его

место. Все сели в лодки и отошли. Остались на берегу только женщины, за исключением Чармиан и Биаура. В прежнее время и они были бы в числе табу, так как женщины обязаны оставаться на берегу, чтобы в нужную минуту образовать в воде живую изгородь из ног.

Тяжелый двойной челн был оставлен, и мы отправились в моторной лодке. Одна половина челнов пошла направо, а мы, с другой половиной—налево, растянувшись длинной цепью от берега до рифов. Предводитель облавы, красивый старик с флагом в руке, находился в середине нашей линии. Он управлял движениями обеих линий сигналами. Когда все встали на места, он махнул флагом в правую сторону. И в то же мгновение все камни были брошены в правую сторону от лодок. Как только они были вытащены,—они опускались неглубоко,—флаг метнулся влево, и с изумительной точностью все камни полетели влево. Так продолжалось в течение всего лова: при каждом взмахе флага камни летели в воду. В то же время гребцы двигали челноки к берегу.

На носу нашей лодки Тэхэи, не сводя глаз с начальника ловли, бросал свой камень в такт с остальными. Один раз его камень соскочил с веревки,—и в ту же секунду Тэхэи исчез в воде вслед за ним. Я не знаю, успел ли камень дойти до дна, но я знаю, что в следующую же секунду Тэхэи вынырнул с камнем в руке. Я заметил, что то же случалось несколько раз и у других, и всякий раз бросавший нырял за камнем в воду и приносил его обратно.

Концы обеих линий сближались у рифов, пока не сошлись совершенно. Тогда началось сокращение круга, и бедная перепуганная рыба должна была броситься к берегу, спасаясь от сотрясения воды, производимого камнями. Женщины уже образовали живую изгородь из ног, войдя в воду—более рослые пошли дальше, маленькие стояли ближе к берегу. От берега отделился челн и очень быстро обошел линию загонщиков, спуская в воду длинную цыновку из кокосовых листьев. Теперь лодки были уже не нужны, и загонщики тоже слезли в воду, чтобы увеличить живую изгородь. Они били по воде руками и ногами и кричали во все горло; получился настоящий ад.

Но ни одна рыба не показывалась на поверхности лагуны, и ни одна не пробовала пробиться сквозь изгородь из ног. Наконец, предводитель вошел в кольцо и внимательно осмотрел его в разных направлениях. Но нигде рыба не кишела, не подскакивала в воздух и не билась о песок. Не оказалось ни одной сардинки, и ни одной миноги, и ни одной самой жалкой рыбешки. Что-то не вышло, очевидно, с молитвой, или, может быть,—как объяснил нам один старик,—ветер был неподходящий, и вся рыба ушла на другую сторону лагуны.

— Такая неудача бывает из пяти раз один,—утешил нас Аллико. Что ж, нам повезло,—приехали на Бора-Бора специально, чтобы видеть рыбную ловлю, и вытянули из пяти билетов единственный пустой.

ГЛАВА XIV

Мореход-любитель

Есть капитаны и капитаны, и среди них встречаются превосходные капитаны, я это знаю; но не так обстояло дело на «Снарке». Я пришел к выводу, что труднее иметь дело с одним капитаном на небольшом судне, чем с двумя грудными младенцами. Впрочем, этого и следовало ожидать. Хорошие капитаны занимают хорошие места и не станут менять свое положение на судах с водоизмещением от одной до пятнадцати тысяч тонн на десять тонн водоизмещения «Снарка». «Снарку» приходилось брать своих шкиперов с берега, а береговой шкипер—это обычно никуда не годное существо—человек, который способен недели две проискать на океане какой-либо остров, а потом вернуться со своей шхуной и донести, что остров утонул со всем находящимся на нем,—человек с таким характером и с такой жаждой к спиртным напиткам, что он чаще изгоняется с судов, чем попадает на них.

На «Снарке» побывало три капитана, и, благодарение небу, не будет больше ни одного. Первый из них страдал таким старческим слабоумием, что не в состоянии был указать плотнику точные размеры бушприта. Он был до такой степени дряхл и беспомощен, что не в силах был приказать матросу вылить одно-два ведра соленой воды на палубу «Снарка». Двенадцать дней, которые мы простояли на якоре под отвесными лучами тропического солнца, палуба оставалась сухой. Она рассохлась, конечно. Мне стоило тридцать пять долларов переконопатить ее. Второй капитан был сердит. Он родился сердитым. «Папа всегда сердит»,—такова была характеристика, данная капитану его сыном-метисом. Третий капитан был до такой степени криводушен, что по своей кривизне мог сравняться с пробочником. Правды он не говорил никогда, понятия о чести у него совсем не было, и он был так же далек от прямых путей и честных поступков, как был далек от настоящего курса, когда он едва не погубил «Снарк» у Островов Золотого Кольца.

В Сува, на островах Фиджи, я рассчитал своего третьего капитана и снова взялся за роль морехода-любителя. Однажды я уже пробовал ее при первом моем капитане, который, когда мы отплыли из Сан-Франциско, заставил «Снарк» так забавно скакать по карте, что мне

пришлось, наконец, выяснить, что же происходит на самом деле. Узнать это было не трудно, потому что нам предстояло плавание в две тысячи сто миль. Я ровно ничего не смыслил в навигации; но, потратив немало сил на чтение и провозившись полчаса с секстантом, я оказался в состоянии отыскать широту «Снарка» по меридиану, а долготу его—тем простым способом, который известен под названием «равных высот». Это отнюдь не лучший метод. Это даже не безопасный метод, но мой капитан пытался вести судно с его помощью, а он был единственным человеком на борту, который мог бы сказать мне, что этого метода следует избегать. Я привел «Снарк» на Гавайские острова; обстоятельства благоприятствовали мне. О правильном способе нахождения долготы с помощью хронометра я не имел понятия. Мой первый капитан как-то намекал на него, но после нескольких попыток воспользоваться им перестал вспоминать о нем.

На островах Фиджи мне удалось сверить мой хронометр с двумя другими хронометрами. За две недели до того, в Паго-Паго, на Самоа, я просил моего капитана сверить наш хронометр с хронометрами американского крейсера «Аннаполис». Капитан сказал мне, что сделал это,—он, разумеется, ничего не сделал; он сказал мне, что разница оказалась в ничтожную долю секунды. Говоря это, он искусно имитировал радость и сопровождал свои слова всяческими похвалами по адресу моего великолепного инструмента. Я повторяю это теперь, сопровождая мои слова всяческими похвалами по адресу его великолепной неправдивости. Потому что две недели спустя, на Сува, я сверил мой хронометр с хронометром «Атуа», австралийского парохода, и нашел, что он убегает вперед на тридцать одну секунду. Тридцать одна секунда, переводя на дугу, равняются семи и одной четверти милям. Другими словами, если бы я плыл на запад ночью и, согласно моим наблюдениям, сделанным в полдень, в соответствии с моим хронометром, должен был находиться в семи милях от берега,—я в это самое мгновение разбился бы о береговые утесы. В следующий раз я сверял мой хронометр с хронометром капитана Вуулея. Капитан Вуулей, начальник порта в Сува, ровно в полдень стреляет из пушки трижды в неделю. Сверив наши хронометры, я нашел, что мой спешит на пятьдесят девять секунд,—другими словами, плывя на запад, я разбился бы о рифы, думая, что я нахожусь в пятнадцати милях от них.

В качестве компромисса я вычел из пятидесяти девяти секунд моего хронометра тридцать одну и направился на остров Танна, в группе Новых Гебридских островов, решив, что когда мне темной ночью придется быть неподалеку от земли, я буду твердо помнить о возможных семи милях, ошибки, согласно хронометру капитана

Вуулея. Танна лежит приблизительно в шестистах милях к западу-юго-западу от островов Фиджи, так что я был уверен, что за время этого перехода у меня будет достаточно времени, чтобы начинить мою голову таким количеством познаний по навигации, которое помогло бы мне добраться туда. Я, действительно, добрался туда, но выслушайте сперва, какие мне пришлось одолеть трудности. Навигация совсем не трудное дело, я всегда буду утверждать это; но когда вам приходится брать с собой вокруг света три газолиновых двигателя и жену, и быть вынужденным писать с утра до вечера, чтобы добыть газолин для моторов и жемчуг и вулканы для жены, у вас остается слишком мало времени на изучение навигации...

Кроме того, много легче изучать названную науку на берегу, где долгота и широта пребывают неизменными, в доме, положение которого никогда не меняется, чем изучать навигацию на борту судна, не перестающего плыть день и ночь по направлению к суше, которую вы стараетесь отыскать и на которую можете наскочить, когда всего меньше этого ожидаете.

Прежде всего, надо руководствоваться компасом. Мы вышли из Сува в субботу 6 июня 1908 года, после полудня, и до наступления темноты пробирались узким, усеянным подводными камнями проливом между островами Вити-Леву и Мбенга. Перед нами лежал открытый океан. На нашем пути не было ровно ничего, если не считать Вату-Лейле, крохотного островка, торчавшего из воды милях в двадцати к западу-юго-западу,—как раз в том направлении, куда я хотел плыть. Мне, разумеется, казалось чрезвычайно простым обойти его, взяв курс таким образом, чтобы пройти от него в восьми или десяти милях к северу. Была темная ночь, и мы шли по ветру. Необходимо было сказать рулевому, какой держать курс, чтобы обойти Вату-Лейле. Но какого курса держаться? Я обратился к руководству по навигации. «Правильный курс»,—нашел я главу. То, что мне нужно! Мне нужен был правильный курс. Я стал читать с жадностью.

«Правильный курс есть угол, образуемый меридианом и прямой линией, проведенной между точкой, обозначающей местонахождение судна, и тем местом, куда оно направляется».

То самое, что мне было нужно. «Снарк» находился к западу от входа в пролив между Вити-Леву и Мбенга. Направлялся он к точке, находящейся по карте в десяти милях к северу от Вату-Лейле. Я проверил направление по карте циркулем и определил линейкой на карте, что юго-запад будет правильным курсом. Оставалось только дать распоряжение рулевому, и «Снарку» обеспечен благополучный путь по открытому морю.

Но к своему ужасу и к своему счастью я стал читать дальше: Я узнал, что компас, этот верный и неизменный друг морехода, далеко не всегда указывает на север. Он отклоняется. Иногда он отклоняется к востоку, иногда к западу, а бывает так, что он поворачивается противоположным концом к северу и указывает на юг. Вариация в том месте, где находится «Снарк», равнялась 9° 40′ к востоку. Так вот это следовало принять в расчет, раньше чем давать указания рулевому. Я прочел:

«Правильный магнитный курс получается от прибавления к правильному курсу соответствующей вариации».

Теперь,—рассудил я,—раз компас отклонился на 9° 40′ к востоку, а я желаю плыть на север, мне следует направляться на 9° 40′ к западу от севера, указываемого компасом, потому что этот север вовсе не север. Итак, я прибавил 9° 40′ влево к моему курсу на юго-запад, определил правильный магнитный курс и приготовился выйти в открытый океан.

Тут случилось новое несчастье! Правильный магнитный курс не совпадал с направлением по компасу. Еще один бесенок ждал меня, чтобы поймать и разбить о рифы Вату-Лейле. Этот маленький бесенок появился под названием девиации. Я прочел:

«Компасное направление есть то направление, которого следует держаться, и получается оно от прибавления к правильному магнитному курсу девиации».

Девиация есть отклонение иглы компаса в зависимости от распределения железных предметов на борту судна. Это чисто местную вариацию я определил по скале отклонений моего главного компаса и прибавил ее к правильному магнитному курсу. Таким образом я получил направление по компасу. Но и это было не все. Мой главный компас находился посредине судна, подле лестницы в капитанскую каюту. Мой рулевой компас находился на юте, подле руля. И их указания упорно не сходились.

Все вышесказанные операции необходимы, чтобы правильно определить курс. И самое худшее заключается в том, что все они должны быть проделаны безукоризненно правильно, а не то вы услышите как-нибудь ночью: «Буруны впереди», выкупаетесь в морской воде и испытаете удовольствие бороться с волнами, пробиваясь к берегу через стаю прожорливых акул.

Так же, как компас, который выкидывает всевозможные штуки и сводит с ума морехода, указывая всякие направления кроме севера, так же ведет себя солнце, которое упорно не желает находиться там, где ему в данное время положено находиться. Это легкомыслие со стороны солнца является причиной всякого беспокойства,—по крайней мере, так было со мной. Чтобы определить, где вы

находитесь на поверхности земли, вы должны знать, где в это время находится на небе солнце. Другими словами, солнце, которое является хронометром для людей, далеко не аккуратно. Когда я обнаружил это, я впал в глубокую меланхолию и усомнился в незыблемости законов мироздания. Даже такие физические законы, как закон тяготения и сохранения энергии, потеряли незыблемость, и я был готов присутствовать при любых отклонениях от них и не удивляться. Раз компас лгал, а солнце не исполняло своих обязанностей, отчего же не потерять притяжения предметам и не исчезнуть бесследно нескольким корзинам энергии? Даже вечное движение казалось мне возможным, и я был в таком состоянии, что мог бы купить двигатель Килея, движущийся без потребления энергии, от первого предприимчивого агента, появившегося на палубе «Снарка». А когда я обнаружил, что земля, в действительности, обращается вокруг своей оси 366 раз в году, тогда как солнце встает и заходит всего 365 раз, я готов был усомниться в том, что я существую.

Вот как движется солнце! Оно так неаккуратно, что человеку невозможно создать часы, которые уследили бы за его движением. Солнце так ускоряет и так замедляет свое движение, что никакие часы не могут угнаться за ним. Иногда солнце опережает свое расписание, иногда оно плетется позади него, а иногда оно летит, чтобы нагнать потерянное, или, вернее сказать, чтобы очутиться вовремя в том месте, где ему полагается быть на небе. В этом последнем случае оно не достаточно быстро замедляет ход, и в результате оказывается впереди того места, где ему следует быть. Как бы то ни было, солнце бывает в том самом месте, где оно должно быть, только четыре раза в году. Остальные 361 день солнце находится где-то вокруг этого места. Человек, более совершенный, чем солнце, создал часы, указывающие правильное время. Кроме того он с точностью вычисляет, насколько солнце обогнало свое расписание или отстало от него. Разница между действительным местонахождением солнца и тем местом, где ему надлежало бы находиться, если бы оно было порядочным, уважающим себя солнцем, люди называют уравнением времени. Таким образом, мореплаватель, желающий определить, где его судно находится на море, глядит на свой хронометр, чтобы установить, в каком месте неба должно находиться солнце согласно указаниям Гринвичской обсерватории. К этому указанию он прибавляет уравнение времени—и находит то место, где солнцу следует быть, но где его нет.

«Снарк» покинул Фиджи в субботу 6 июня, а на следующий день, в воскресенье, находясь в открытом океане и не видя нигде земли, я попытался определить мое местонахождение, найдя с помощью хронометра долготу и выяснив широту при посредстве меридиана.

Хронометрические наблюдения я сделал утром, когда солнце стояло над горизонтом примерно на 21 градус. Я взглянул в «Альманах Мореплавателя» и нашел, что в этот самый день, 7 июня, солнце запаздывает на 1 минуту и 26 секунд и что оно наверстывает упущенное со скоростью 14,67 секунды в час. Хронометр сказал мне, что в то самое мгновение, когда я определял высоту солнца, в Гринвиче было 8 часов 25 минут утра. Казалось, что, имея все эти данные, любой школьник мог бы вычислить уравнение времени. К несчастью, я не школьник. Ясно, что в полдень в Гринвиче солнце отстает на 1 минуту и 26 секунд. Столь же ясно, что если бы теперь было одиннадцать часов утра, солнце отставало бы на 1 минуту 26 секунд и еще на 14,67 секунды. Если бы было десять часов утра, следовало бы прибавить дважды 14,67 секунды. А если бы было 8 ч. 25 м. утра, следовало бы прибавить 14,67 секунды, помноженные на 3,5. Далее, совершенно ясно, что если бы было не 8 ч. 25 м. утра, а 8 ч. 25 м. пополудни, то следовало бы не прибавить 14,67 секунды, а вычесть их, потому что если в полдень солнце отставало на 1 минуту и 26 секунд и нагоняло это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час, в 8 ч. 25 м. пополудни оно должно было находиться много ближе к тому месту, где ему надлежит быть, чем в полдень.

До сих пор все шло хорошо. Но что же именно показывал хронометр,—8 ч. 25 м. утра или вечера? Я взглянул на часы. Они показывали 8 ч. 9 м., конечно, утра, так как я только что окончил завтрак. Но раз на борту «Снарка» было восемь часов утра, те восемь часов, которые показывал хронометр (а он показывал гринвичское время), должны были быть иными, чем восемь часов на «Снарке». Но какие же это были восемь часов? Это не могли быть восемь часов этого утра,—решил я,—значит, это восемь часов либо этого, либо предыдущего вечера.

Здесь я свалился в бездонную пропасть интеллектуального хаоса. У нас восточная долгота,—соображал я,—следовательно, мы идем впереди Гринвича. Если мы идем позади Гринвича,—значит, сегодня есть вчера; если мы идем впереди Гринвича—значит, вчера есть сегодня; но если вчера есть сегодня, то что же такое сегодня?—завтра?—Чепуха! И все же это должно быть так. Когда я производил наблюдения сегодня утром в 8 ч. 25 м., в Гринвиче только что окончили вчерашний обед.

«В таком случае, исправь разницу времени за вчерашний день»,—говорит мой логический ум.

«Но ведь сегодня—есть сегодня,—настаивает мой здравый смысл.—Я должен внести поправку за сегодняшний день, а не за вчера».

«И все же сегодня есть вчера»,—упорствует мой логический ум.

«Все это прекрасно,—продолжает мой здравый смысл.—Если бы я находился в Гринвиче, теперь было бы вчера. Непонятные вещи творятся в Гринвиче. Но я знаю столь же твердо, как то, что я живу, что я нахожусь здесь сегодня, 7 июня, и что я произвел наблюдения здесь теперь, 7 июня; поэтому я должен внести поправку здесь теперь, 7 июня».

«Чепуха!—восклицает мой логический ум.—Лекки говорит»...

«Не имеет никакого значения, что говорит Лекки,—прерывает мой здравый смысл.—Послушай-ка, что говорит «Альманах Мореплавателя». «Альманах Мореплавателя» говорит, что сегодня, 7 июня, солнце отстает на 1 минуту 26 секунд и нагоняет это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час. Он говорит, что вчера, 6 июня, солнце отставало на 1 минуту и 36 секунд и нагоняло опоздание со скоростью 15,66 секунды в час. Очевидно, нельзя вносить поправку к сегодняшнему положению солнца с помощью вчерашней таблицы».

«Дурак!»

«Идиот!»

Таким образом логический ум и здравый смысл продолжали препираться, пока у меня не закружилась голова: теперь я был готов поверить, что сегодня—послезавтра позапрошлой недели.

Я вспомнил напутственное наставление начальника порта в Сува:

«Находясь в восточных долготах, берите из «Альманаха Мореплавателя» данные для вчерашнего дня».

Мне пришлось претерпеть еще много других страданий, но всего труднее было сообразить, как переводить на мили градусы широты, потому что они становятся все меньше по мере удаления от экватора. Но все же я справился со всеми трудностями,—с грехом пополам, но справился.

И я получил награду. В четверг 10 июня я вычислил, что «Снарк» держит курс на остров Футуна, один из крайних восточных островов в группе Новых Гебридов, вулканический конус вышиною в две тысячи футов, возвышающийся прямо из недр океана. Я изменил курс так, чтобы «Снарк» прошел от него примерно милях в десяти к северу. Потом я сказал Ваде, повару, стоявшему у руля ежедневно от четырех до шести часов утра:

— Вада, завтра утром хорошенько смотри,—слева будет земля.

И отправился спать. Жребий был брошен. Я поставил на карту свою репутацию мореплавателя. Предположите, предположите только, что на рассвете не окажется никакой земли! Где же окажутся тогда мои познания в навигации? И где окажемся мы сами? Как мы

разыщем то место, где мы находимся? И доберемся ли до какой-либо земли? Мне уже мерещился «Снарк», целые месяцы носящийся по пустынному океану и напрасно разыскивающий землю, пока мы не съедим всей нашей провизии и не станем жадно смотреть друг на друга, столкнувшись лицом к лицу с людоедством.

Признаюсь, что мой сон не был—

> ...подобен летнему небу,
> Где звучит нежная музыка жаворонка.

Скорее, «я просыпался в безмолвной тишине» и слушал скрипение снастей и плеск волн вдоль бортов, пока «Снарк» упорно делал свои шесть узлов. Я снова и снова проверял мысленно мои вычисления, стремясь найти ошибку, пока мой мозг не пришел в такое состояние, что я начал находить десятки ошибок. Что, если все мои вычисления неправильны, и я нахожусь не в шестидесяти милях от Футуна, а в шести милях? Значит, и курс, взятый мною, тоже неправилен, и «Снарк» несется теперь прямо на Футуна. Он мог напороться на Футуна в любое мгновение. При этой мысли я даже вскочил с койки; и хотя я и заставил себя лечь, несколько мгновений я с замирающим сердцем ждал столкновения.

Во сне меня душили кошмары. Землетрясение было самым частым из них, хотя еще чаще являлся мне какой-то человек со счетом. Он хотел драться со мной, и всякий раз Чармиан уговаривала меня не соглашаться на это. Наконец, этот человек явился ко мне во сне, в котором Чармиан не было. Это было мое счастье,—мы подрались, и я до тех пор дубасил его, пока он не стал просить прощения. Тогда я спросил: «А как же быть с этим счетом?» Расправившись с ним, я готов был заплатить ему. Но он взглянул на меня и проворчал: «Ошибка, счет не к вам, а к вашему соседу».

Здесь он исчез и больше не появлялся в моих снах, и сны тоже исчезли. Я проснулся и начал смеяться. Было три часа утра. Я вышел на палубу. Генри, туземец с острова Рапа, стоял на руле. Я взглянул на лаг. Он насчитал сорок две мили. «Снарк» продолжал делать шесть узлов и еще не наскочил на Футуна. В половине шестого я снова был на палубе. Стоявший на руле Вада не видал никакой земли. В течение четверти часа меня терзали мучительные сомнения. Потом я увидел землю,—в том самом месте, где ей следовало быть,—едва вылезающий из воды клочок земли. В шесть часов я уже точно знал, что это великолепный вулканический конус Футуна. В восемь часов, когда мы поравнялись с ним, я с помощью секстанта измерил расстояние до него и нашел, что оно равняется 9,3 мили. *А я решил пройти от него в 10 милях.*

Дальше к югу из моря вырастал Анеитум, на севере—Анива, а прямо впереди—Танна. Ошибиться нельзя было,—это была Танна, потому что над ней курился дым из ее вулкана и исчезал в небе. Она находилась в сорока милях от нас, и около полудня, когда мы подошли ближе к ней, все время продолжая делать шесть узлсв, мы увидели, что это высокий гористый остров без всякого признака бухты вдоль всей береговой линии. Я искал Гавань Решения, хотя и был готов к тому, что она, как якорная стоянка, может никуда не годиться. Вулканические землетрясения в течение последних сорока лет так подняли ее дно, что там, где прежде могли стоять на якоре самые большие корабли, по последним сведениям, едва мог стать на якорь «Снарк». И разве новое сотрясение почвы не могло окончательно сделать гавань непригодной?

Я подошел вплотную к кольцу атолла, окруженному острыми камнями, о которые, пенясь, разбивались буруны. С помощью бинокля я оглядел несколько миль берега, но нигде не находил следов прохода. По компасу я определил направление, в котором лежали Футуна и Анива, и нанес их на карту. В месте пересечения этих двух линий находился «Снарк». Потом я вычертил курс «Снарка» к Гавани Решения. Внеся поправки на вариацию и девиацию, я вышел на палубу и с ужасом увидел, что мой курс направлял меня прямо на непрерывную цепь утесов, о которые разбивался прибой. К изумлению моего матроса с острова Рапа, я держал курс прямо на скалы, пока они не очутились в одной восьмой мили от меня.

— Здесь нет стоянки,—заявил он, предостерегающе покачав головой.

Но я изменил курс и пошел вдоль берега. Чармиан стояла на руле. Мартин находился при машине и был готов в любое мгновение пустить ее в ход. Внезапно показался узкий проход. В бинокль я мог видеть, как у входа бушуют буруны. Генри, островитянин с Рапа, глядел со смущением; так же глядел и Тэхэи, островитянин с Тахаа.

— Здесь нет прохода,—сказал Генри.—Если мы пойдем сюда, нам будет конец.

Признаюсь, что и я думал точно так же; но я направился прямо в проход, внимательно следя, сталкиваются ли между собой волны, откатываясь от берегов. Между ними оказалась узкая полоска спокойной воды. Чармиан повернула руль и направила «Снарк» в проход. Мартин пустил в ход машину, а все остальные, даже повар, бросились убирать паруса.

В глубине залива виднелся дом торгового агента. На берегу, в сотне ярдов, бил дымящийся гейзер. Слева, когда мы обогнули мысок, показалось здание миссии.

— Три фатома!—крикнул Вада, бросавший лот.

— Три фатома!.. Два фатома!—последовало вскоре.

Чармиан круто повернула руль, Мартин застопорил машину. «Снарк» описал крутую дугу, и якорь грохнулся в воду на глубине трех фатомов. Мы не успели еще притти в себя, как подле борта и на борту была уже толпа чернокожих туземцев,—скалящих зубы обезьяноподобных созданий с лохматыми головами и мутными глазами,—украшенных английскими булавками и глиняными трубками в продырявленных ушах; на них не было ровно никакой одежды ни спереди, ни сзади.

Этой ночью, когда все уснули, я выскользнул на палубу, поглядел на спокойный ночной пейзаж и засмеялся,—да, засмеялся от радости, что я стал настоящим мореходом.

ГЛАВА XV

На Соломоновых островах

— Почему бы вам не прокатиться с нами?—спросил нас капитан Дженсен в Пендефрине на острове Гвадалканаре.

Мы с Чармиан переглянулись и молча обдумывали вопрос в продолжение минуты. Потом мы кивнули утвердительно. Это была наша обычная манера решать вопросы, и надо сказать—самая лучшая манера для тех, кто по своему темпераменту не способен проливать слезы над последней съеденной жестянкой консервированного молока. (В последнее время мы живем исключительно на консервах, и если сознание есть действительно продукт материи,—своего рода эманация, что ли,—то наше сознание за последнее время должно было приобрести привкус кладовой или упаковочной).

— Захватите с собой револьверы и винтовки,—прибавил капитан Дженсен.—Может быть, у вас найдется также несколько лишних патронов...

Мы взяли винтовки, патроны и захватили с собой Ваду и Накату—повара и боя «Снарка». Вада и Наката были в некотором страхе. Конечно, и раньше они были безрассудными энтузиастами, но все же—Наката, по крайней мере, умел смотреть в глаза опасности. Соломоновы острова вообще не были к нам благосклонны. Прежде всего, оба заболели местными язвами. Впрочем, то же самое было и со всеми нами (как раз в последнее время я содействую созреванию двух симпатичных нарывчиков раствором сулемы); но оба японца получили гораздо большую порцию их, чем полагалось бы по справедливости. А этот сорт нарывов чрезвычайно неприятен тем, что их может быть бесконечно много. Достаточно укуса москита,

незначительного пореза, самой пустой царапинки, чтобы образовался нарыв, словно самый воздух Соломоновых островов пропитан каким-то ядом. Нарыв вскрывается, образуется язвочка, которая с поразительной быстротой разъедает кожу. Едва заметный нарывчик с булавочную головку становится на второй день язвой в маленькую монету, а через неделю ее уже не покроет серебряный доллар.

Еще больше страдали японцы от местной злокачественной лихорадки. Оба пережили уже несколько пароксизмов [1]), а когда начали выздоравливать, то, еле двигаясь от слабости, садились у борта, в той части «Спарка», которая была ближе к их далекой Японии, и с тоской глядели в ту сторону.

Но теперь, очевидно, наступало самое худшее, так как мы брали их с собою на дикий остров Малаиту. Вада, который особенно трусил, был уверен, что никогда не увидит Японии, и выцветшими, мертвыми глазами следил за тем, как переносили винтовки и другие припасы на борт «Миноты». Он уже слышал о «Миноте» и ее рейсах на Малаиту. Он знал, что она была задержана дикарями шесть месяцев назад, что капитан ее был изрублен в куски томагавками и что по законам справедливости этого милого острова белые были должны дикарям еще две головы. Он знал также, что один малаитский мальчик, работавший на пендсфринских плантациях, умер недавно от дизентерии, и долг белых увеличился, таким образом, на одну голову. Кроме того, перенеся наш багаж в капитанскую каюту, он заметил, конечно, на ее двери следы топоров. А у кухонной плиты не было трубы— это он тоже заметил,—труба была унесена в числе прочей добычи.

«Минота» была австралийской яхтой с оснасткой кеча. Узкая и длинная, с острым килем, она была приспособлена скорее для гонок, чем для поездок за черными рекрутами. Команда ее была теперь удвоена и состояла из пятнадцати человек. Кроме того на ней находилось человек двадцать «обратных» парней, которые уже отслужили свое время на плантациях и возвращались домой, в свои лесные деревни. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться, что это самые доподлинные людоеды, охотники за человеческими черепами. Их продырявленные ноздри были проткнуты костями или деревянными палочками величиною с карандаш. Иногда прокалывали самый кончик носа, и там торчали черепаховые острея или проволока с насаженными на ней бусами. Некоторые проделали целый ряд дырочек по всей длине ноздрей. В ушах у всех было от двух до двенадцати дыр, при чем в некоторые были воткнуты деревянные втулки диаметром в три дюйма, а из более мелких торчали глиняные трубки

[1]) Пароксизм — приступ болезни, являющийся через известные промежутки времени.

и тому подобные безделушки. В конце концов в ушах и носу было столько дыр, что нехватало украшений для них; и когда, приближаясь к Малаите, мы сделали несколько выстрелов, чтобы испробовать винтовки, они все передрались из-за пустых гильз, которые сейчас же очутились в запасных отверстиях их ушей.

Мы не только испробовали винтовки, но и украсили борт колючей проволокой: «Минота», с бортом в шесть дюймов высоты и без палубной каюты, была слишком доступна для абордажа. В борт были ввинчены медные стойки и проведена двойная линия колючей проволоки от кормы к носу. Это было, конечно, хорошей защитой от дикарей, но не слишком было удобно во время качки. Если вы не хотите катиться к накренившемуся колючему борту и не хотите хвататься руками за колючки, вам придется кататься по мокрой палубе, которая стоит, например, под углом в сорок пять градусов. Вы, конечно, помните все время, что на Соломоновых островах царапина от колючей проволоки—не просто царапина, потому что из каждой образуется неизменно гнойная язва. Что никакие предосторожности не могут спасти от колючей проволоки, обнаружилось в одно прекрасное утро, когда мы шли вдоль берегов Малаиты. Ветер был довольно сильный, и волны—хорошие. На руле стоял молодой негр. Капитан Дженсен, мистер Джэкобсен (штурман), Чармиан и я только что уселись завтракать на палубе. Вдруг налетели под ряд три необычайно больших волны. Юноша на руле растерялся, и три раза под ряд «Миноту» окатило волной. Завтрак перебросило через борт; ножи и вилки скользнули через шканцы. На корме одного из «обратных» тоже смыло за борт, и его с трудом вытащили, а наш почтенный капитан висел на борту на колючей проволоке. После этого происшествия нам пришлось применять на практике первобытный коммунизм по части ножей и вилок. Впрочем, на «Юджени» было еще хуже, так как на четырех приходилась всего одна чайная ложечка, но о «Юджени»—после.

Наша первая остановка была в Суо, на западном берегу Малаиты. Соломоновы острова вообще находятся на краю света,—вернее, на задворках цивилизации. Темными ночами приходится пробираться с неимоверным трудом через проливы, усеянные рифами, посреди случайных беспорядочных течений, при чем на всем архипелаге, с несколькими тысячами миль береговой линии, нет ни одного маяка; затруднения невероятно увеличиваются еще и тем, что все карты неверны. Например, Суо. По карте адмиралтейства берег Малаиты представляет в этом месте прямую непрерывную линию. Однако сквозь эту непрерывную линию мы прошли проливом на глубине двадцати фатомов. Вместо крутого берега оказались глубокие бухты. Мы бросили якорь среди зеркальной глади одной бухты, и мангровые

деревья нависали позади нас, почти закрывая узкий проход. Капитану Дженсену стоянка не нравилась. Он был здесь первый раз, а Суо пользовалась плохой репутацией. В случае нападения здесь нельзя было рассчитывать на ветер, а если бы команда вздумала спасаться на вельботе, ее всю до единого человека перебили бы с берега. Вообще западня была недурненькая.

— А если бы «Минота» села на мель, что бы вы стали делать?— спросил я.

— Но она не села на мель,—был ответ.

— Ну, а если бы все-таки?

Капитан задумчиво посмотрел на штурмана, который в эту минуту пристегивал к поясу револьвер и спускался в вельбот вместе с вооруженными матросами.

— Мы сели бы в вельбот и постарались бы удрать отсюда как можно скорее.

Он рассказал мне еще, что на матросов-малаитов никогда нельзя рассчитывать, особенно в случае крушения; что туземцы считают всякое судно, потерпевшее крушение у их берегов, своей законной добычей; что у туземцев достаточно ружей, и что у него на борту двадцать «обратных», которые, конечно, в случае нападения с удовольствием помогут родственникам и друзьям с берега.

Прежде всего на берег доставили «обратников» и их вещи. Таким образом одна из опасностей была удалена. После этого от берега подошла к нам лодка с тремя голыми дикарями. И если уж я говорю «голыми», то это надо понимать буквально. Ни одного лоскутка, ни одного признака одежды на них не было, если, конечно, не считать одеждой колец в носу, втулок в ушах и браслетов из раковин. Главным в лодке был, очевидно, одноглазый старик. Он держался дружественно по отношению к белым и был до того грязен, что даже железный скребок, которым чистят палубу, сломался бы на нем. Он приехал посоветовать капитану не отпускать никого из людей на берег. Вечером он приехал еще раз с тем же предостережением.

Напрасно плавал наш вельбот вдоль берега в поисках рекрутов-рабочих. Лесная чаща была полна вооруженными туземцами, которые очень охотно разговаривали с нашими людьми, но не собирались подписывать контракт на три года и работать на плантациях за шесть фунтов в год. В то же время они всячески старались заманить наших людей на берег. На следующий день они с этой целью разожгли костер в дальнем конце залива: так как это был всегдашний сигнал, что туземцы хотят наниматься, мы послали туда лодку. Но ничего не получилось. Ни один из них не завербовался, и ни один из наших на берег не вышел. Спустя некоторое время мы заметили вооруженных

туземцев, тихо пробиравшихся кустами вдоль берега. Но сколько их скрывалось в лесу, определить было невозможно.

Вечером капитан Дженсен, Чармиан и я занялись ловлей рыбы при помощи динамита. Мы близко подошли на лодке к берегу, который казался совершенно пустынным. Все были вооружены винтовками, в том числе и Джонни, вербовщик из туземцев, сидевший на руле. Подойдя к берегу, мы повернули к нему кормой, чтобы в случае нападения легче уйти, и продолжали продвигаться вперед кормой. За все время пребывания на Малаите я ни разу не видел, чтобы лодки подходили к берегу носом. Обыкновенно вербовщики идут на двух вооруженных лодках,—одна подходит к берегу, а другая остается на расстоянии нескольких сот футов в качестве «прикрытия». Но «Минота» была небольшой яхтой, и второй шлюпки у нее не было.

Мы наткнулись на стаю рыб только подойдя почти вплотную кормой к берегу. Зажгли фитиль и бросили в воду динамитный патрон. Раздался взрыв, и вся поверхность воды заплескалась от прыгающей рыбы. Но в то же самое мгновение лес ожил. Штук двадцать голых дикарей с луками, стрелами, копьями и ружьями выскочили на берег. Команда лодки тоже схватилась за винтовки. И обе враждебные стороны не спускали друг с друга глаз, пока двое из наших подбирали в воде оглушенную рыбу.

Мы провели в Суо совершенно бесполезно три дня. «Миноте» не удалось заполучить ни одного рекрута с берега, а дикарям ни одного черепа с «Миноты». Один Вада заполучил кое-что,—жестокую лихорадку. Вельбот вытащил нас из лагуны, и мы отправились вдоль берега в большую деревню Ланга-Ланга, построенную с невероятным трудом на песчаной мели лагуны; она в буквальном смысле была построена как искусственный островок, укрепленный для защиты от кровожадных лесных дикарей. На берегу находилась деревня Бину, где полгода назад была захвачена «Минота» и убит ее капитан. Когда мы входили в узкий пролив, нам навстречу вышла лодка и сообщила, что сегодня утром отсюда уехал «военный человек», который сжег три деревни, убил тридцать штук свиней и утопил одного ребенка. Судно это было «Кэмбриэн», под командой капитана Льюиса.

«Кэмбриэн» приходил сюда, чтобы покарать убийц капитана «Миноты»; но подробности мы узнали только вечером, когда к нам явился местный миссионер, мистер Эббат. Деревни, действительно, были сожжены и свиньи зарезаны. Но из туземцев не пострадал никто. Убийц не удалось задержать, хотя флаг «Миноты» и некоторые другие вещи и были найдены. Младенец утонул случайно. Вождь Джонни из деревни Бину отказался вести десант в лес, и никто из его воинов не взялся быть проводником. Тогда рассерженный

капитан Льюис сказал Джонни, что его деревню следовало бы сжечь. В лексиконе Джонни не оказалось, очевидно, слова «следовало бы», и он понял, что деревня будет сожжена обязательно. Тогда обитатели ее собрались бежать с такой поспешностью, что утопили младенца. В то же время вождь Джонни бросился к мистеру Эббату и вручил ему четырнадцать золотых соверенов, чтобы подкупить капитана Льюиса. Деревня Джонни не была сожжена, но капитан Льюис соверенов не взял, ибо я впоследствии видел их у Джонни, когда тот приезжал к нам на «Миноту». Джонни объяснил мне, что отказался быть проводником из-за большого нарыва, который он мне даже показал. Настоящая причина была, конечно, гораздо серьезнее,—он просто боялся мести дикарей.

Вот вам маленькая иллюстрация нравов Соломоновых островов. Джонни явился к нам выменивать на табак грот, марсель и кливер какого-то вельбота. В тот же день, немного позже, явился вождь Билли и обменял—тоже на табак—мачту и бушприт. Все эти части были сняты с вельбота, вытребованного капитаном Дженсеном в предыдущую поездку на Малаиту. Вельбот принадлежал плантации Изабелла. Одиннадцать туземцев Малаиты, работавшие на ней по контракту, решили бежать. Они, конечно, не имели понятия, что такое вельбот, и как им управлять в открытом море. Поэтому они убедили двух туземцев с Сан-Кристобаля бежать вместе с ними. Сан-кристобальцы получили по заслугам, ибо должны были знать, с кем имеют дело. Когда они благополучно довели краденую лодку до Малаиты—им отрубили головы. Вот эту-то лодку и ее снасти старался вернуть капитан Дженсен.

Все же я побывал на Соломоновых островах не совсем напрасно. Здесь, наконец, мне удалось увидеть, как было унижено высокомерие Чармиан, и неприступный замок ее женского превосходства был повержен во прах. Случилось это на Ланга-Ланга, искусственном острове, которого даже не видно под домами. Мы бродили здесь, окруженные сотнями бесстыдных голых мужчин, женщин и детей, и любовались пейзажем. Револьверы наши, конечно, были заряжены, и команда, тоже с винтовками, следила за нами с лодки. Но урок «военного человека» был дан так недавно, что нам, собственно, нечего было бояться. Мы ходили всюду и смотрели, что хотели, пока не дошли до какого-то большого ствола, перекинутого ввиде мостика через воду. Чернокожие стали перед ним стеной, отказываясь пропустить нас. Мы потребовали объяснения. Чернокожие сказали— «Идите». Мы вытаращили глаза, ничего не понимая. Последовали разъяснения. Капитан Дженсен и я пройти могли, потому что были мужчинами. Ни одна Мария не смела приблизиться к мосту, еще менее—переходить по нему. «Мария» означала женщину вообще, и

Чармиан—увы!—была Марией. Значит, и для нее мост был т а м- б о, то-есть табу. Какой гордостью переполнилась моя грудь! Наконец-то мое мужское достоинство было отмщено. Я принадлежал к высшему полу! Чармиан могла сколько угодно таскаться за нами по пятам, но м у ж ч и н а м и были все же только мы, и через мост могли итти только мы, а она должна была обходить кругом на вельботе.

Мне решительно все равно, поверите ли вы или нет, но на Соломоновых островах это факт установленный: припадки лихорадки всегда бывают следствием нервных потрясений. И вот через полчаса после того, как Чармиан была лишена своих прав, ее отправили на «Миноту», завернули в несколько одеял и напичкали хинином. Я не знаю, какого рода нервные потрясения пережили Вада и Наката, но они слегли также. Да, климат Соломоновых островов мог бы быть немного поздоровее!

Во время этого припадка лихорадки у Чармиан образовалась соломонова язва. Это было последней каплей. Все на «Снарке» переболели язвами, за исключением Чармиан. Я, например, был убежден, что потеряю ногу из-за необыкновенно злокачественной язвы под коленом. У Генри и Тэхэи—таитян—язв было множество. Вада считал свои дюжинами. У Накаты их было, правда, всего несколько штук, но зато по три дюйма в длину. У Мартина от язв сделалось омертвение тканей на ноге. Но Чармиан все время оставалась невредимой. И вот из этого ее иммунитета постепенно выросло презрение к нам. Она стала так много думать о себе, что однажды очень скромно сообщила мне, что все зависит исключительно от чистоты крови. Понимаете,—у всех были язвы, у нее нет,—значит... Ну, так вот же, теперь у нее была язва величиной с серебряный доллар, и чистота ее крови не помешала ей лечиться в течение многих недель сулемой. Она верит исключительно в сулему; Мартин—исключительно в иодоформ; Генри употребляет лимонный сок, а по моему, если сулема действует слишком медленно, ее следует чередовать с перекисью водорода. Некоторые из белых, живущих на Соломоновых островах, имеют пристрастие к борной кислоте, другие—к лизолю. У меня, впрочем, тоже есть патентованное средство. Называется оно—Калифорния. Пусть-ка найдет мне кто-нибудь соломонову язву в Калифорнии!

Из Ланга-Ланга мы отправились вдоль лагуны, проходя иногда маленькими проливчиками, почти в ширину «Миноты», и манговые деревья с берегов смыкались над нами. Мы миновали построенные на рифах деревни Калака и Ауки. Основатели их, как и основатели Венеции, спаслись сюда от преследования береговых жителей. Убежав от какого-нибудь поголовного избиения целой деревни, и слишком

слабые для борьбы в одиночку, они укрылись на песчаных мелях. Они укрепили мели и сделали их островами. Свою пищу они принуждены были добывать из моря, и стали «морскими людьми». Они изучили нравы рыб и моллюсков, изобрели лесы и крючки, сети и западни. Их тела приспособились к новому образу жизни, приспособились к лодке. Им негде было ходить, и все время они проводили на воде, вследствие чего у них стали широкие плечи, крепкие руки, узкие тазы и слабые ноги. Живя у берега и захватив в свои руки всю торговлю с островом, они разбогатели. Между ними и островитянами идет постоянная вражда, и перемирие бывает только по базарным дням,—раз или два в неделю. С обеих сторон торговлю ведут только женщины. На берегу, на расстоянии ста ярдов, прячутся в кустах островитяне в полном вооружении, а из лодок наблюдают «морские люди», тоже вооруженные. Впрочем, базарные перемирия нарушаются очень редко: островитяне слишком любят рыбу, а «морские люди» чувствуют невыносимую органическую потребность в зелени и фруктах, которые им негде выращивать на их плотно заселенных островках.

Пройдя тридцать миль от Ланга-Ланга, мы подошли к проливу между островом Бассакана и Малаитой. К ночи ветер совершенно упал, и «Миноту» пришлось тащить вельботом на буксире. Но течение было против нас, и мы едва двигались. На полпути мы встретили «Юджени», крупную вербовочную шхуну, которую тащили два вельбота. Ее шкипер, капитан Келлер, весьма решительный немец лет двадцати двух, явился к нам «поболтать», и мы сообща обсуждали все малаитские новости. Ему повезло: в деревне Фиу он завербовал двадцать рекрутов на работы. Пока он был там, произошло одно из обычных здесь «приключений с убийствами». Убитый парень был из морских бушменов, то-есть «морской человек» по образу жизни, но живущий на земле. Он работал в своем огороде, когда к нему пришли из леса трое дикарей. Они держали себя вполне дружелюбно по отношению к нему и, наконец, попросили кай-кай. Кай-кай—означает «есть». Он развел огонь и поставил вариться таро. Когда он нагнулся зачем-то к горшку, один из пришедших прострелил ему голову. Он упал головой в огонь, а они всадили ему копье в живот и распороли его.

— Честное слово, не хотел бы, чтобы меня застрелили из штуцера,—прибавил капитан Келлер,—целая лошадь с телегой прошла бы через дыру в его голове.

Вот еще одно доблестное убийство, которое произошло во время моего пребывания на Малаите. Умер один из вождей лесных островитян,—умер вполне естественной смертью. Но дикари ведь не верят, что можно умереть естественной смертью. Они понимают, что

можно умереть от пули, томагавка или копья, но если человек умирает иначе, ясно, что его заколдовали. Вождь умер иначе, и его племя обвинило в его смерти одну семью. Так как решительно все равно, кого из членов заподозренной семьи убить ради отмщения, выбрали одиноко живущего старика. Это было удобнее. У него притом не было ружья. Кроме того он был слеп. До несчастного старика дошли какие-то слухи, а он заготовил множество стрел. Три храбрых воина—все трое с ружьями—напали на него ночью. До утра они героически сражались с ним. Стоило им шевельнуться в кустарниках или стукнуть чем-нибудь, как слепой посылал туда стрелу. Утром, когда он выпустил последнюю, три героя набросились на него и размозжили ему голову.

Утро застало нас в той же безнадежной борьбе с течением посреди пролива. В конце концов мы пришли в отчаяние, повернули обратно, вышли в море и, обойдя остров Бассакана морем, добрались до Малу. Место стоянки в Малу было прекрасное, но оно лежало позади очень скверного рифа с узким проходом, так что войти было легко, а выйти достаточно трудно.

Местный миссионер, мистер Каульфильд, только что совершил путешествие на вельботе вдоль берега. Это был стройный худощавый человек, страстно преданный своему делу, хладнокровный и практичный—настоящий священник двадцатого столетия. Отправляясь на Малаиту, он сказал, что пробудет там не больше шести месяцев. Потом он решил, что если остался жив в продолжение этого времени, то может попробовать остаться и еще. И вот прошло шесть лет, а он все еще здесь. Его опасения насчет шести месяцев были, однако, не напрасны. До него на Малаите были три миссионера, и в гораздо более короткий срок двое из них умерли от лихорадки, а третий вернулся калекой.

— О каком это убийстве вы говорите?—перебил он неожиданно капитана Дженсена.

Тот объяснил.

— Ну, это было уже давно. Я говорю о другом,—сказал мистер Каульфильд.—Ваше случилось две недели назад.

Здесь, в Малу, мне пришлось понести заслуженное возмездие за злорадство и все издевательства по поводу соломоновой язвы, которую Чармиан подцепила в Ланга-Ланга. И мистер Каульфильд был отчасти орудием этого возмездия. Он подарил мне курицу. Но чтобы получить ее, мне пришлось бегать за ней с ружьем по кустарникам. В конце концов я ее подстрелил, но при этом споткнулся о ствол дерева и расцарапал ногу у щиколотки. В результате—три соломоновых язвы. С двумя прежними это выходило уже пять. А капитан Дженсен и Наката в это же время схватили гари-гари,

что в буквальном переводе значит—скреби-скреби. Но переводить не было надобности: гимнастические упражнения капитана и Накаты были песней без слов, достаточно понятной.

Нет, климат Соломоновых островов совсем не такой здоровый, как мог бы быть. Я пишу эту главу на острове Изабелла, куда мы подвели «Снарк», чтобы почистить его киль. Только сегодня утром я встал от последнего приступа лихорадки, и между двумя приступами у меня был всего один свободный день. У Чармиан приступы бывают через две недели. Вада стал совсем калекой от этой лихорадки, и вчера ночью мне показалось, что у него начинается воспаление легких. Генри, здоровенный гигант с Таити, только что встал сегодня от последнего приступа и валяется на палубе, как прошлогоднее гнилое яблоко. Он и Тэхэи собрали ценную коллекцию соломоновых язв и кроме того подцепили еще особую разновидность гари-гари, напоминающую отравление растительными ядами, как, например, дубильной или синильной кислотой. Впрочем, гари-гари не является их исключительной собственностью. Несколько дней назад Чармиан, Мартин и я пошли на охоту за голубями, и с тех пор мы имели довольно ясное представление о том, что такое муки ада. На маленьком островке Мартин изрезал себе подошвы о кораллы, гоняясь за акулой,—то-есть, это он так говорит, мне же показалось, что положение дела было как раз обратное. Все порезы обратились в соломоновы язвы. Перед моей последней лихорадкой я ссадил немного кожу на пальцах, помогая убирать паруса, и теперь у меня три свеженьких язвочки. А бедный Наката! Целых три недели он не мог сидеть от слабости. Вчера он сел в первый раз и даже попробовал стать на ноги. Он очень доволен и уверяет, что теперь вылечится от своего гари-гари в течение месяца. Дальше: благодаря чрезмерному вдохновению по части «скреби-скреби», у него образовалось бесчисленное множество соломоновых язв. Еще дальше: он только что слег от седьмого приступа лихорадки. Если бы я был королем, то в качестве самого ужасного наказания для моих врагов я бы применял ссылку на Соломоновы острова. Но следом за этой мыслью в голову приходит другая: даже будучи королем, вряд ли я стал бы поступать так жестоко.

Доставка завербованных для плантаций рабочих на маленькой узкой яхте, построенной для плавания у берегов,—не слишком приятное дело. Палуба завалена ими и их семьями. Общая каюта завалена ими же. Ночью они все спят здесь. В нашу маленькую каюту можно попасть только через общую, и нам приходится протискиваться между сонными телами или прямо наступать на них. Это тоже не очень приятно. Они все до одного больны всевозможными злокачественными накожными болезнями. У многих из них стригущий

лишай, и у очень многих б у к у а. Эта последняя происходит от паразита, живущего в растениях; он въедается в кожу и в мускулы. Зуд совершенно невыносим. На судно приходили туземцы с глубокими, до кости, язвами на подошвах. Несчастные больные могли ходить только на кончиках пальцев. Заражение крови встречается на каждом шагу, и капитан Дженсен оперирует всех под ряд с помощью матросского ножа и иглы для сшивания парусов. Как бы ни был безнадежен случай, он смело вскрывает рану, вычищает ее и ставит припарку из морских сухарей. Когда мы наталкиваемся на особо ужасные язвы, мы поспешно убегаем к себе и поливаем свои собственные язвы сулемой. Так мы живем, и едим, и спим на «Миноте», в надежде на свою счастливую звезду.

На Суава, другом островке, я вторично восторжествовал над Чармиан. Нас посетил «большой господин—хозяин Суава» (главный ее вождь). Но предварительно он прислал к капитану Дженсену за ситцем, чтобы прикрыть свою королевскую наготу. Он ждал ситца в челноке, стоявшем у самого борта. Клянусь чем угодно, что королевская грязь на его груди была не менее дюйма толщиною, и что давность нижних слоев ее восходила до десяти и даже двадцати лет. Вторично отправленный к нам посол разъяснил, что «большой господин Суава» соглашается—и даже охотно—пожать руку капитану Дженсену и мне, но что его высокорожденной душе совершенно неприлично унижаться до того, чтобы протянуть руку ничтожной женщине. Бедная Чармиан! Со времени своего приключения на Малаите она совершенно переменилась. Она стала до ужаса прилична, скромна и робка,—и я нисколько не удивлюсь, если—по возвращении в лоно цивилизации—она во время прогулки будет итти по тротуару шага на три позади меня, смиренно опустив голову.

Больше ничего интересного в Суава не случилось. Бичу, повар-туземец, дезертировал. Налетали шквалы—хлестали нас дождем и ветром. Штурман, мистер Джэкобсен и Вада лежали в лихорадке. Наши соломоновы язвы росли и множились. Тараканы устраивали усиленные парады. Подходящим временем они считали полночь, а подходящим местом—нашу маленькую каюту. Они были от двух до трех дюймов длины, и их было много, целые сотни, и они бегали по нашим телам. Когда мы попробовали защищаться, они отделялись от земли и порхали в воздухе, как колибри. Они были гораздо больше наших собственных, спарковских. Может быть, наши просто еще молоды и не успели вырасти? Но зато у нас на «Спарке» имеются сколопендры [1])—и порядочные, в шесть дюймов длины. При

[1]) Сколопендры — многоножки, из членистоногих животных. Укус их ядовит.

случае мы их убивали, чаще всего на койке Чармиан. Дважды я был укушен ими, и оба раза удивительно подло—во сне. Но с беднягой Мартином было еще хуже. Пролежав в постели три недели, он, наконец, сел... прямо на сколопендру.

Мы вернулись на Малу, забрали еще семерых рекрутов, потом снялись с якоря и пытались пройти через предательские рифы. Ветер стих, течение так и несло на самую неприятную часть рифа. Как раз в ту минуту, когда мы выходили уже в открытое море, ветер повернул на четыре деления румба. Задержаться на якоре не удалось. Два якоря были потеряны еще в Тулаги. Бросили последний. Цепь была отпущена настолько, чтобы зацепиться за кораллы. Киль «Миноты» задел за дно, и ее грот-мачта так закачалась и задрожала, точно собиралась свалиться нам на головы. Якорная цепь натянулась как раз в ту минуту, когда огромная волна бросила нас к берегу. Цепь оборвалась. Это был наш последний якорь. «Минота» повернулась на месте и быстро ринулась в сторону подводных камней.

На палубе образовался совершенный бедлам. Все завербованные были лесными жителями и боялись моря; в паническом ужасе они выскочили на палубу, мешая всем. Наша команда схватилась за ружья. Все знали, что значит сесть на мель у Малаиты: одной рукой надо хватать ружье, другой—спасать судно. Что можно было сделать при таких условиях, я не знаю, но что-то нужно было делать, так как «Миноту» начало и било о кораллы. Туземцы со страха полезли на мачты, не понимая, что те могут сломаться. Спустили вельбот, чтобы он взял «Миноту» на буксир и не дал ей двигаться дальше на камни, а капитан Дженсен и штурман (бледный и едва стоящий на ногах от лихорадки) вытащили из трюма какой-то старый якорь, служивший балластом. На помощь подоспел на вельботе мистер Каульфильд со служащими миссии.

Когда шквал налетел на «Миноту», нигде не было видно ни одного челнока, но теперь они полезли со всех сторон, как ястребы, кружащиеся над добычей. Наша команда с ружьями наперевес удерживала лодки на расстоянии ста футов, обещая стрелять в случае приближения. И они так и стояли в ста футах от нас, черные и зловещие, переполненные людьми, которые веслами удерживали лодки на грани опасного прибоя. В то же время со всех сторон с холмов сбегались туземцы, вооруженные копьями, ружьями, стрелами и палицами, пока весь берег не покрылся ими. Положение обострялось еще и тем, что по меньшей мере десять человек наших рекрутов принадлежали именно к этому племени, которое жадно ожидало на берегу, когда можно будет завладеть табаком и мануфактурой и всем, что было на «Миноте».

«Минота» была крепко построена, а это самое важное для судна, которое наскочило на рифы. Как ее трепало, можно судить по тому, что в первые двадцать четыре часа она разорвала две якорных цепи и восемь толстых канатов. Вся команда деятельно ныряла, привязывая новые канаты к якорям. Иногда и цепи и канаты рвались одновременно. И все же «Минота» еще держалась. С берега доставили три толстых ствола и подсунули под ее киль, чтобы защитить его. Стволы были тотчас же искрошены, и тросы, на которых они держались, изорваны, а судно все подпрыгивало и все еще было цело. Но все же мы оказались счастливее «Айвенхо», большой вербовочной шхуны, которая села на мель у берегов Малаиты несколько месяцев назад и была разграблена туземцами. Капитану и команде удалось спастись на вельботе, а лесные и морские островитяне мигом очистили судно.

Шквал за шквалом налетал на «Миноту» с бешеным ливнем, и волны становились все выше. «Юджени» стояла на якоре в пяти милях в наветренную сторону, за мысом, и с нее нельзя было видеть, что с нами случилось. По просьбе капитана Дженсена я написал несколько слов капитану Келлеру, умоляя прислать запасные якоря и канаты. Но никто из туземцев не соглашался доставить письмо. Напрасно я предлагал пол-ящика табаку,—чернокожие скалили зубы, ухмылялись, и ни один человек не двинулся. Пол-ящика табаку стоили три фунта стерлингов. Письмо даже при таком ветре можно было доставить за два часа, и, значит, можно было заработать в эти два часа столько, сколько за год на плантациях. Я подошел в лодке к мистеру Каульфильду, который со своего вельбота вытаскивал якорь. Я думал, что он имеет некоторое влияние на туземцев. Он подозвал к себе челноки и, когда его окружило десятка два челноков, еще раз повторил туземцам о моем предложении. Никто не отозвался.

— Знаю, что вы думаете!—крикнул им миссионер.—Вы думаете, шхуна набита табаком, и вы его все равно получите? А я вам говорю, она набита ружьями и патронами. И не табак вы получите, а пули!

Наконец один из туземцев, одиноко сидевший в маленьком челноке, взял письмо и уехал. В ожидании помощи, на «Миноте» продолжали работать. Опорожнили бочки с пресной водой, а реи, паруса и балласт перевезли на берег. Хорошенькие минуты пережили мы, когда «Минота» с одного бока переваливалась на другой, а куча людей, спасая жизнь и ноги, скакала через ящики, реи и двухпудовые железные болванки балласта, катающиеся по палубе от борта к борту. Бедная красивенькая гоночная яхта! Ее палубы и подвижной такелаж были совершенно разорены. Внизу все было разворочено. Пол в каюте был снят, чтобы добраться до балласта, и грязная вода плескалась в трюме. Лимоны, облепленные мокрой мукой, катались

там же, напоминая невыпеченные пирожки. В капитанской каюте Наката охранял винтовки и патроны.

Наконец, через три часа после того, как наш посол отчалил, с подветренной стороны, сквозь стены дождя и вихря пробился к нам вельбот. На нем был капитан Келлер, мокрый от дождя и волн, с револьвером за поясом; его команда была вооружена до зубов, посредине лодки кучей лежали якоря и канаты, и вельбот летел быстрее ветра: белый человек спешил на помощь белому человеку.

Ястребиная линия челнов, так долго ждавших добычи, разбилась и исчезла так же скоро, как образовалась. Теперь у нас было три вельбота, из которых два непрерывно ходили между судном и берегом, а третий возился с якорями, связывая лопнувшие канаты. К вечеру, посоветовавшись друг с другом и приняв во внимание, что часть нашей команды и десять рекрутов были из этих мест, мы отобрали оружие у команды. Ружья были переданы пятерым служащим миссии, явившимся к нам с мистером Каульфильдом.

Поздно ночью мистер Каульфильд получил предостережение: за голову одного из наших рекрутов, оказывается, была назначена награда в пятьдесят саженей раковин (местная монета) и сорок свиней. Так как судно захватить не удалось, туземцы решили заполучить эту голову. Раз начинается кровопролитие, никогда нельзя сказать заранее, чем оно кончится; поэтому капитан Дженсен вооружил вельбот и отправил его в глубь бухты. Уги, один из нашей команды, встал на носу и говорил от имени капитана. Уги был очень взволнован. Предостережение капитана Дженсена, что всякая лодка, приблизившаяся ночью к судну, будет расстреляна, он перевел как-то очень воинственно, закончив эффектной фразой, приблизительно в таком роде: «Вы убиваете капитана,—я пью его кровь и умираю с ним!»

Туземцы удовлетворились тем, что сожгли один из пустых домов при миссии, а затем ушли в лес. На следующий день подошла «Юджени». Три дня и две ночи билась «Минота» на рифах. Но она все-таки выдержала; ее киль был освобожден, и ее отвели в спокойное место. Здесь мы распрощались с нею и со всеми находящимися на ней и пересели на «Юджени», направившуюся на остров Флориду.

Примечание автора. Чтобы доказать, что мы на „Снарке" не какие-нибудь мозгляки (что можно было бы заподозрить по постигшим нас болезням), привожу следующую дословную выписку из корабельного журнала „Юджени". Эта выписка может дать представление о том, что такое плавание у Соломоновых островов.

Улава. Четверг, 12 марта 1908 года.

Утром отправили на берег шлюпку. Достали груз кокосовых орехов. 4.000 копры. Капитан лежит в лихорадке.

Улава. Пятница, 13 марта 1908 года.

Купили орехов $1^1/_2$ тонны. Подшкипер и капитан лежат в лихорадке.

Улава. Суббота, 14 марта 1908 года.

В полдень подняли якорь и при слабом ONO отплыли в Нгора-Нгора. Якорь бросили на глубине 8 фатомов — кораллы и раковины. Подшкипер лежит в лихорадке.

Нгора-Нгора. Воскресенье, 15 марта 1908 года.

На рассвете обнаружили, что рабочий Багуа умер ночью от дизентерии. Он проболел около двух недель. На закате сильный шквал с NW. (Приготовили запасный якорь). Шквал длился 1 ч. 30 м.

На море. Понедельник, 16 марта 1908 года.

Взяли курс на Сикиану в 4 часа дня. Ветер утих. Сильные шквалы в течение ночи. Капитан болен дизентерией, а также один матрос.

На море. Вторник, 17 марта 1908 года.

Капитан и два матроса больны дизентерией. У подшкипера лихорадка.

На море. Среда, 18 марта 1908 года.

Сильное волнение. Подветренный борт все время заливает водой. Идем под зарифленными парусами. Капитан и три матроса больны дизентерией. Подшкипер лежит в лихорадке.

На море. Четверг, 19 марта 1908 года.

Густой туман, ничего не видно. Все время штормовой ветер. Насос испортился, воду черпают ведрами. Капитан и пятеро матросов больны дизентерией.

На море. Пятница, 20 марта 1908 года.

В течение ночи шквалы, достигавшие силы урагана. Капитан и шесть матросов больны дизентерией.

На море. Суббота, 21 марта 1908 года.

Повернули в сторону от Сикианы. Весь день шквалы с ливнями и бурное море. Капитан и большая часть команды больны дизентерией. У подшкипера лихорадка.

И так изо дня в день, — при чем большинство команды лежит в дизентерии, — продолжается корабельный журнал „Юджени“. Нечто новое случилось только 31 марта, когда подшкипер заболел дизентерией, а капитана свалила лихорадка!..

ГЛАВА XVI

Врач-любитель

Когда мы отплыли от Сан-Франциско, я знал о болезнях приблизительно столько же, сколько адмирал швейцарского флота о море. И вот, прежде всего, позвольте мне дать один совет всякому, кто вздумает отправиться в какие-нибудь необычайные местности под тропиками. Прежде всего сходите в первоклассную аптеку,—такую, где работают настоящие специалисты, знающие решительно все. Вызовите одного из таковых и переговорите с ним основательно. Запишите тщательно все, что он вам скажет. Составьте список всего того, что он порекомендует взять с собою. Напишите чек на общую сумму и... разорвите его.

Я очень жалею, что не поступил так. Теперь я знаю, что самое умное было бы купить одну из тех готовых чудодейственных аптечек, которые так любят капитаны судов четвертого разряда. В такой аптечке каждая баночка имеет номер. На внутренней стороне крышки помещается краткое руководство: № 1—зубная боль; № 2—оспа; № 3—расстройство желудка; № 4—холера; № 5—ревматизм,—все существующие болезни под ряд. Я бы, по крайней мере, употреблял бы их, как один почтенный шкипер, который, истратив № 3, смешивал № 1 и № 2, или когда выходил № 7, давал своей команде № 4 и № 3 до тех пор, пока № 3 не выходил в свою очередь; тогда он принимался за № 5 и № 2.

Что же касается моей аптеки, то, за исключением сулемы (рекомендованной мне для операций, которых я ни разу не делал), она оказалась совершенно бесполезной. Она была хуже, чем бесполезной, так как занимала много места, которое я мог бы использовать гораздо лучше.

Мои хирургические инструменты,—это дело другое. Мне, правда, еще ни разу не пришлось пользоваться ими всерьез, но мне не жаль места, которое они занимают. Достаточно вспомнить о них, чтобы почувствовать себя хорошо. Это своего рода страхование жизни, но только гораздо симпатичнее, ибо в неприятной процедуре со страхованием выигрывает только тот, кто умирает. Положим, я не знаю, как ими пользоваться, но любой шарлатан с моим незнанием имел бы блестящую практику. А потом—о беде не беспокоишься, пока чорт за ногу не схватит,—а разве мы могли знать, когда это случится и не случится ли это за тысячу миль от твердой земли, и не будет ли до ближайшего к нам порта двадцать-тридцать дней пути.

Я решительно ничего не знал о лечении зубов, но один из моих друзей снабдил меня на дорогу щипцами, а в Гонолулу я купил книгу о зубах и зубных болезнях. В том же тропическом городе я ухитрился раздобыть череп, у которого я извлекал зубы быстро и безболезненно. Вооруженный таким образом, я был готов, хотя и не с чрезмерной радостью, вцепиться в любой зуб, который мне попадется. Первый случай представился мне в Нука-Хива на Маркизовых островах; это был зуб маленького старого китайца. Прежде всего я почувствовал приступ экзаминационной лихорадки, и я предоставляю решить всякому здравомыслящему человеку, удобно ли начинать с лихорадки, дрожания рук и сердцебиения человеку, который уверенно собирается дергать зуб. Мне не удалось обмануть бедного китайца. Он был напуган не меньше моего и даже чуть-чуть больше. Я едва не забыл о своем страхе, когда сообразил, что китаец может убежать. Клянусь вам, если бы он попробовал сделать

это, я дал бы ему подножку, сел бы на него и стал бы ждать, пока он не придет в себя и не успокоится.

Мне очень хотелось выдернуть этот зуб, а Мартину хотелось снять фотографию с меня в эту минуту. Чармиан тоже пришла со своим аппаратом. Наконец, процессия двинулась. Мы жили в доме, который когда-то назывался клубом, в те времена, когда Стивенсон приезжал на Маркизовы острова. На веранде (где он провел столько приятных часов) свет оказался нехорош—то-есть для снимков. Я двинулся в сад, со стулом в одной руке и всевозможными щипцами в другой, и колени мои стучали друг о друга неприличнейшим образом. Бедный старик-китаец шел сзади—и тоже дрожал. Чармиан и Мартин с кодаками составляли арьергард. Мы нырнули в тень авокадовых деревьев, прошли между кокосовыми пальмами и вышли на полянку, удовлетворявшую фотографическим требованиям Мартина.

Я посмотрел на зуб и внезапно открыл, что решительно ничего не помню о зубах, которые выдергивал из черепа месяцев пять назад. Сколько у зуба корней? Один, два, три? То, что оставалось от него сверху, было очень хрупко с виду, и я знал, что должен ухватить зуб где-то поглубже в десне. Было положительно необходимо знать, сколько у него корней. Я сходил домой за книгой о зубах и зубных болезнях. У моей несчастной жертвы был такой вид, как у его соотечественников, приговоренных к смерти (сужу по фотографиям), ожидающих на коленях удара меча, который должен снести им голову.

— Только не дайте ему уйти,—шепнул я Мартину, отправляясь за книгой.—Я очень хочу выдернуть зуб.

— Ну, разумеется,—восторженно отвечал он из-за аппарата.—Я очень хочу вас сфотографировать.

В эту минуту я пожалел китайца. Хотя в книге не было ничего относительно самого процесса выдергиванья зубов, все-таки это была отличная книга: на одном из рисунков я нашел все зубы и все их корни, и как они сидят в челюсти. Теперь нужно было выбрать щипцы. У меня их было семь пар, но какие взять—я не знал. Я не хотел, разумеется, чтобы вышла какая-нибудь ошибка. Когда я стал перебирать со звоном эти орудия пытки, несчастная жертва окончательно потеряла присутствие духа и стала изжелта-зеленой. Она пожаловалась, было, на солнце, но оно было необходимо для съемки, так что пришлось стерпеть и это. Наконец, я наложил щипцы, пациент вздрогнул и упал духом окончательно.

— Вы готовы?—крикнул я Мартину.

— Готов!—отвечал он.

Я дернул. О боги—зуб едва держался! Он выскочил в то же мгновение. Я с торжеством поднял его высоко на щипцах.

— Всадите назад, пожалуйста, всадите назад!—взмолился Мартин.—Нельзя так скоро,—я ничего не успел.

И старичок-китаец снова сел, и я всадил ему зуб и снова вытащил. Мартин щелкнул затвором. Подвиг был совершен. Гордость? Упоение? Да! Ни один охотник, конечно, не гордился так первым убитым оленем, как я моим первым зубом... Я это сделал! Я! Своими собственными руками (и парой щипцов) я сделал это!

Следующим моим пациентом был матрос-таитянин. Он был небольшого роста и едва держался на ногах от зубной боли, продолжавшейся уже много дней и много ночей. Прежде всего я разрезал десну. Я, конечно, не знал, как это делается, но все-таки разрезал. Тащить зуб было очень трудно, и я очень долго возился. Человек этот был героем. Он стоял и мычал, и я думал, что он упадет в обморок. Но он все же не закрывал рта и не мешал мне тащить. И, наконец, зуб вышел.

После этого я готов был принять кого угодно—самое подходящее состояние духа для битвы под Ватерлоо. И она,—эта битва,—наступила. И звали ее Томми. Это был здоровенный дикарь (язычник к тому же), имевший самую скверную репутацию. Ему приписывали многие насильственные деяния,—между прочим, убийство двух жен. Его отец и мать были откровенными людоедами. Когда он сел в кресло, а я всунул ему в рот щипцы, я заметил, что он сидя такого же роста, как я стоя. Я знал, что иногда такие большие люди, склонные к жестокости, не переносят малейшей боли; поэтому я его побаивался. Чармиан схватила его за одну руку, Уоррен—за другую. Затем началась битва. В то мгновение, когда щипцы уцепили его зуб, он сжал щипцы челюстями. В то же время его обе руки взлетели и ухватились за мою руку. Я держал крепко, и он держал крепко. Чармиан и Уоррен тоже держали крепко.

Нас было трое против одного, и, конечно, с моей стороны было безумием тащить таким образом больной зуб; и несмотря на такое неравенство сил, дикарь вскочил, подняв на воздух всех нас троих. Щипцы соскользнули, проехавшись по его верхним зубам с душераздирающим визгом, и выпали изо рта. Мы лежали на земле. Он испустил кровожадный вопль, и мы думали, что сейчас будем убиты. Но этот дикарь с кровавой репутацией только завыл и упал в кресло. Он сжал голову обеими руками и стонал, стонал, стонал. Он не хотел ничего слушать. Он считал меня шарлатаном. Мое безболезненное удаление зубов было обманом, издевательством и низкой саморекламой. Мне до такой степени хотелось вырвать этот зуб, что я готов был дать дикарю взятку. Но профессиональная гордость не позволила сделать это, и я отпустил его с невыдернутым зубом. И это было единственным случаем в моей практике, когда мне

не удалось добиться своего. С тех пор я не пропустил уже ни одного зуба. На следующий же день я вызвался отправиться в трехдневное плавание против ветра за зубом одной миссионерки. Я сильно рассчитываю к концу плавания на «Снарке» научиться делать мостики и накладывать золотые коронки.

Я не знаю хорошенько, что это такое—африканская язва или нет—один доктор на Фиджи сказал мне, что да, а миссионер на Соломоновых острах—что нет; во всяком случае я смело утверждаю, что эта болезнь—вещь крайне неприятная. Такое уж выпало мне счастье: в Таити я нанял матроса-француза, который, когда мы вышли в море, оказался болен отвратительной накожной болезнью. «Снарк» был слишком мал и жил слишком по-семейному, чтобы такого больного можно было оставить; но пока мы добрались до твердой земли, я волей-неволей принужден был лечить его. Я почитал книги и принялся за лечение, обливаясь антисептическими средствами. Когда мы доехали до Тутуилы, где надеялись оставить его, портовый врач объявил из-за него карантин всему «Снарку» и не позволил повару высадиться на берег. Наконец, в Апии, на Самоа, мне удалось посадить его на пароход, идущий в Новую Зеландию. Здесь, в Апии, москиты здорово кусали мне ноги у щиколоток, и я, надо сознаться, основательно расчесал искусанные места. Когда мы дошли до Саваи, у меня образовалась небольшая язва на подошве. Я решил, что это от жары и от едких испарений лавы, по которой я много ходил. Помазать мазью—и все пройдет,—думал я. От мази ранку скоро затянуло, но тотчас же вокруг началось воспаление, вновь образовавшаяся кожа сошла, и язва стала еще больше. И так повторялось много раз. Много раз затягивалась рана кожей, но тотчас же вокруг начиналось воспаление, и в результате язва увеличивалась. Я был озадачен и испуган. Всю жизнь кожа моя отличалась свойством легко заживать, но здесь явилось на коже, очевидно, нечто такое, что не давало ей зажить. Наоборот, это нечто каждый день съедало мою кожу и, проев ее насквозь, принималось за мышцы.

В это время «Снарк» был в открытом море, направляясь на Фиджи. Я вспомнил француза-матроса и первый раз в жизни испугался не на шутку. Появились еще четыре таких же язвы, или, вернее, нарыва, и болели так, что я не спал ночей. Я только и думал, как бы поскорее добраться до Фиджи и, оставив там «Снарк», самому отправиться пароходом в Австралию к врачам-специалистам. В качестве врача-любителя я продолжал делать, что умел. Я перечел все медицинские книги, которые у нас были, но не встретил ни одной строчки, ни одного словечка о моей болезни. Я решил подойти к проблеме попросту. Меня съедают какие-то злокачественные гнойники. Очевидно, действует какое-то сильное органическое отравление.

Отсюда два вывода. Во-первых—найти противоядие. Во-вторых—гнойники, очевидно, нельзя лечить наружными средствами—надо прибегнуть к внутренним. В качестве противоядия я решил взять сулему. Самое название показалось мне весьма сильным. Вот именно—огнем против огня! Меня пожирал сильнодействующий яд,—я выдвинул против него другой сильнодействующий яд. В продолжение многих дней я чередовал промывания сулемой с промываниями перекисью водорода, и когда мы достигли Фиджи, четыре нарыва из пяти были вылечены, а пятый стал величиной с горошину.

Теперь я почувствовал себя специалистом по части лечения африканской язвы, но в то же время и к ней почувствовал большое уважение. Не так отнеслась к этому происшествию остальная команда «Спарка». Для них видеть—не значило уверовать. Все они видели мое отчаянное положение, и у всех у них—я глубоко убежден в этом—была подсознательная уверенность в том, что их прекрасная наследственность и сильная личность не допустили бы внедрения в их организм такого мерзкого яда, а вот его—то-есть моя—анемичная [1]) наследственность и ничтожная личность—допустили. В Гавани Решения на Новых Гебридах Мартину пришло в голову прогуляться по лесу босиком, и он вернулся на «Спарк» с многочисленными порезами и ссадинами на ногах.

— Следовало бы быть поосторожнее,—предостерег я.—Я вам дам немного сулемы, чтобы промыть порезы. На всякий случай, вы понимаете.

Мартин усмехнулся весьма высокомерно. Он не сказал ничего, но все же мне дано было понять, что он не таков, как некий другой человек, которого мы оба знаем (этот «некий другой» мог быть только я), и что через несколько дней его ссадины заживут. Он прочел мне поучительную лекцию о своей наследственности, о чистоте своей крови и ее удивительной целительной силе. Когда он кончил, я чувствовал себя совсем уничтоженным. Да, несомненно, я отличался от других людей по части чистоты крови.

Однажды при глажении белья Наката, наш бой, прижал свою ногу за подставку для утюга и получил ожог в три дюйма длины и полдюйма ширины. И он тоже усмехнулся, когда я предложил ему сулему, напоминая о собственном горьком опыте. Мне дали понять очень вежливо и осторожно, что причиной всего была моя плохая кровь, а, мол, его японская кровь из Порт-Артура—самая первосортная, и наплевать ему на все микробы.

Вада, повар, принимал однажды участие в неудачном причале моторной лодки, и ему пришлось спрыгнуть в воду и помогать

[1]) Анемичный — малокровный, болезненный.

тащить ее к берегу через прибой. Он сильно изрезал ноги о раковины и кораллы. Я предложил ему склянку с сулемой. И опять мне пришлось претерпеть усмешку, и опять мне дали понять, что кровь Вады—хорошая кровь—от нее попало русским и попадет, конечно, Северо-Американским Штатам, а если его кровь не сможет противостоять нескольким пустяшным царапинам, то ему придется с горя сделать себе харакири.

Из всего вышеизложенного я заключил, что врач-любитель не бывает признан на своем судне, даже если ему удастся вылечить самого себя. Вся команда смотрела на меня теперь как на тихого помешанного, пунктиком которого были язвы и сулема,—и раз у меня самого была нечистая кровь, какое же право я имел приписывать ее всем другим? Я перестал предлагать свои услуги. Время и микробы были за меня, и мне оставалось только ждать.

— Что-то мои порезы как будто загрязнились,—сказал Мартин несколько времени спустя, поглядывая на меня вопросительно.— Я думаю, если их промыть, все будет в порядке,—прибавил он, видя, что я молчу.

Еще два дня прошло, а порезы не заживали—и я как-то наткнулся на Мартина, моющего ноги в ведре горячей воды.

— Просто горячая вода!—воскликнул он с одушевлением.—Это получше всех ваших докторских средств. К утру все пройдет, увидите.

Но к утру взгляд его стал беспокойным, и я знал, что час моей победы приближается.

— Пожалуй, я попробую какое-нибудь из ваших снадобий,— объявил он в тот же день к вечеру.—Вряд ли это поможет, конечно, но все-таки надо попробовать.

Вскоре после этого и гордая японская кровь явилась за лекарством, и я окончательно унизил ее, объяснив охотно и детально мой метод лечения. Наката выполнял мои инструкции очень точно, и язвы его уменьшались с каждым днем. Вада был вообще апатичнее, и лечение его шло хуже. Но Мартин все еще сомневался, и так как он не излечился сразу, то стал проповедывать теорию, что даже в тех случаях, когда лекарство хорошо, оно не может быть хорошо для всех. На него, например, сулема не действует. Да и откуда я могу знать, что это и есть настоящее средство? Разве у меня был опыт? То, что я вылечился, еще не доказывает, что я вылечился именно благодаря сулеме. Бывают же совпадения. Несомненно, что существует какое-то настоящее лекарство от язв, и когда больной попадет к настоящему врачу, он его узнает и получит—и выздоровеет.

Около этого времени мы прибыли на Соломоновы острова. После самого непродолжительного пребывания на них я очень ясно—и притом первый раз в жизни—представил себе, до чего хрупки ткани

человеческого тела. Нашей первой остановкой был Порт-Мария на острове Санта-Анна. Единственный белый человек в порту, торговый агент, подошел к нам на вельботе. Его звали Том Бутлер, и он был великолепным примером того, во что может обратиться здоровый человек на Соломоновых островах. Он беспомощно лежал в своем вельботе, как умирающий. На его лице не только не было ни малейшего следа улыбки, но даже никакого сознательного человеческого выражения. Это был темный череп, который не в силах был даже улыбнуться. У Бутлера тоже были африканские язвы. Нам пришлось втаскивать его на палубу «Снарка». Он уверял, что прекрасно себя чувствует, что лихорадки давно нет и что, за исключением руки, все у него в порядке. Рука у него была парализована, но он отрицал это. Правда, у него был паралич раньше, но теперь прошел совершенно. Параличи—это обычная местная болезнь на Санта-Анна,—объяснял он, когда его вносили в каюту, а его мертвая рука билась о ступеньки. Это был, без сомнения, самый страшный и отвратительный гость из всех посетивших нас на «Снарке», а у нас бывали и с проказой, и с элефантиазисом.

Мартин осведомился у него о фрамбезии, африканской язве, потому что, несомненно, он был достаточно сведущим по этой части. Мы это видели по его рукам и ногам, сплошь покрытым рубцами, и по гноящимся язвам между ними.

— О, к язвам-то привыкаешь,—заявил Том Бутлер.—Язвы что,—пустяки, пока не въедятся слишком глубоко. А вот если они дойдут до артерий, то проедают их стенки—и тогда похороны, и больше никаких. Многие туземцы умирают от этого. Но это неважно, в конце концов. Если не язвы—то будет что-нибудь другое. На Соломоновых островах всегда так.

Я заметил, что с этого времени Мартин стал относиться к своим язвам со все возрастающим интересом. Он стал чаще и аккуратнее промывать их сулемой, а в разговоре все с большим одушевлением вспоминал прекрасный климат Канзаса и прочие его прелести. Мы с Чармиан полагали, что Калифорния—единственное место, где все хорошо. Генри клялся островом Рапа, Тэхэи превозносил Бора-Бора, а Вада и Наката слагали стансы в честь здорового климата Японии.

Однажды вечером, когда «Снарк» огибал остров Уги, отыскивая одну хваленую якорную стоянку, один английский миссионер, мистер Дрью, направлявшийся на своем вельботе в Сан-Кристобаль, явился к нам и остался у нас обедать. Мартин, забинтовавший свои ноги так, что они походили на ноги мумии, как всегда, свернул разговор на язвы.

— Да,—сказал мистер Дрью,—на Соломоновых островах это вещь обычная. Все приезжие белые страдают такими язвами.

— У вас они тоже были?—спросил Мартин, и в душе был, вероятно, чрезвычайно шокирован тем, что у миссионера английской церкви столь вульгарное заболевание.

Мистер Дрью кивнул, прибавив, что не только были, но и сейчас еще есть, так что он все еще продолжает лечение.

— А что вы употребляете?—спросил Мартин поспешно.

В ожидании ответа, сердце мое остановилось. Этот ответ должен был восстановить или погубить навсегда мою докторскую репутацию. Мартин—это я видел—был твердо уверен в ее гибели. И тогда последовал ответ,—благословенный ответ!

— Сулему,—сказал мистер Дрью.

Мартин сдался—совершенно и окончательно,—и сделал это, надо сказать, очень мило, и я убежден даже, что если бы в ту минуту я попросил у него разрешения выдернуть один зуб, он не отказал бы мне и в этом.

— Все белые на Соломоновых островах страдают африканской язвой, и каждый порез и каждая царапина означает образование новых язв. У всех, с кем я встречался, они были, и у девяти из десяти еще не прошли окончательно. Было, впрочем, одно исключение. Один молодой парень, пробывший в общем здесь около пяти месяцев, на десятый день после приезда слег от лихорадки и затем болел лихорадкой так часто, что у него не было ни времени, ни подходящего случая получить язвы.

На «Снарке» язвы были у всех, кроме Чармиан. Благодаря этому самомнение ее было не меньше, чем самомнение Японии или Канзаса. Она приписывала проявленный ею иммунитет чистоте своей крови, и по мере того как проходили дни, она все чаще и решительнее приписывала его чистоте своей крови. Говоря между нами, я приписывал этот «иммунитет» тому простому факту, что она—женщина, а потому ей не приходится ранить руки на тяжелой работе, как нам, трудящимся мужчинам, в поте лица своего ведущим «Снарк» вокруг света. Ей я, конечно, не говорил этого. Я не хотел унизить ее оружием грубых фактов. К тому же я был доктором—пусть хотя бы любителем,—я знал о болезнях больше, чем она, и понимал, что время—мой лучший союзник. К несчастью, я не сумел воспользоваться услугами этого союзника, когда он преподнес мне очаровательную маленькую язвочку на ее щиколотке. Я так поспешно применил антисептическое лечение, что язва зажила раньше, чем Чармиан испугалась. И опять я очутился в роли пророка, непризнанного в своем отечестве; даже хуже,—меня обвинили в том, что я преднамеренно старался уверить ее, будто у нее действительно образовалась язва. Чистота ее крови окончательно встала на-дыбы, и я принужден был уткнуться носом в книги по навигации и

молчать. И, наконец, день настал. В это время мы плыли вдоль берегов Малаиты.

— Что это у вас па ноге внизу?

— Ничего,—отвечала она.

— Прекрасно,—сказал я,—все же промойте сулемой на всякий случай. А недели через две или три, когда ранка у вас заживет, и останется только шрам—он останется у вас до конца ваших дней,—вы позабудете о чистоте вашей крови и о всех ваших предках и поговорите со мной об африканской язве.

На этот раз язва была величиною с серебряный доллар и не проходила три недели. Случалось, что Чармиан не могла ходить от боли, и тогда она объясняла и доказывала, что щиколотка—самое болезненное и неприятное место для язвы. Я в свою очередь доказывал, что самое болезненное и неудобное место—это ступня. Мы предоставили Мартину решить спор, он не согласился ни с кем из нас и уверял, что единственное действительно болезненное место—это голень.

Но с течением времени язвы теряют всякий интерес новизны. В настоящую минуту, когда я пишу это, у меня пять язв на руках и три на голени. У Чармиан две—по обеим сторонам правой ступни. Тэхэи сходит с ума от своих. У Мартина на голени новые раны, затмившие все прежде бывшие. А у Накаты их несколько десятков. Но история «Спарка» ничем не отличается от истории всех судов, заходивших на Соломоновы острова с момента их открытия. Выписываю следующее место из известного уже читателю «Указателя по мореплаванию»:

«Команды судов, пробывших более или менее продолжительное время на Соломоновых островах, страдают от ран и язв, почти всегда переходящих в злокачественные».

По вопросу о лихорадке «Указатель» дает такие же малоутешительные разъяснения:

«Новоприбывшие рано или поздно заболевают лихорадкой. Туземцы также подвержены ей. Число смертных случаев среди белых в 1897 году составляло девять на пятьдесят».

Думаю, что некоторые из этих смертей были случайными.

У нас первым слег от лихорадки Наката. Это случилось в Пендефрине. За ним последовали Вада и Генри. Потом сдала Чармиан. Мне удалось выдержать несколько месяцев, но когда я свалился в свою очередь, через несколько дней слег и Мартин, очевидно, из чувства товарищества. Из нас семерых держался только Тэхэи, но его тоска по родине была хуже всякой лихорадки. Наката, как и всегда, в точности выполнял все предписания, так что к концу третьего припадка научился, пропотев два часа и проглотив

от тридцати до сорока гран хинина, вставать через сутки и двигаться на собственных ногах, хотя и очень слабых.

Вада и Генри были трудными пациентами. Вначале Вада страшно перепугался. Он был твердо убежден, что звезда его закатилась и что Соломоновы острова будут его могилой. Он знал, что жизнь здесь ценится дешево. В Пендефрине он видел, как свирепствует дизентерия, и, на свое несчастие, присутствовал на погребении одной из ее жертв: умершего вынесли на железном листе и бросили в яму без гроба и без всяких похоронных церемоний. Здесь у всех была лихорадка, у всех была дизентерия, у всех было все. Смерть была самой обыкновенной вещью. Сегодня жив—завтра умер,—и Вада совершенно забыл про сегодняшний день, думая, что уже наступило завтра.

Он не заботился о своих язвах, забывал промывать их сулемой, расчесывал их без удержу и, конечно, разнес заразу по всему телу. Он не выполнял также предписаний по части лихорадки и, в результате, валялся после припадка по пяти дней под ряд, когда совершенно достаточно было одного. Здоровенный гигант Генри вел себя так же глупо. Он раз навсегда отказался принимать хинин на том основании, что несколько лет назад у него была лихорадка, и доктор давал ему какие-то пилюли, которые ни цветом, ни величиной не походили на таблетки хинина, предлагаемые мною. Генри всегда был заодно с Вадой.

Но я оставил их обоих в дураках, вылечив лекарством, для них самым подходящим—внушением. Они верили в свой страх и считали, что скоро умрут. Я заставил их проглотить хорошую порцию хинина и смерил температуру. В первый раз я пользовался термометром, приложенным к моему знаменитому ящику с медикаментами, и немедленно же убедился, что он никуда не годится, ибо был сделан для сбыта, а вовсе не для измерения температуры. Но если бы я заикнулся только моим пациентам, что термометр испорчен, в самом скором времени у нас на «Снарке» были бы два трупа. Температура у них, честное слово, была сорок градусов. Я торжественно поставил им термометр в рот, выразил на своем лице несомненное удовлетворение и очень весело сообщил, что температура у них—тридцать восемь. Затем я снова напичкал их хинином и предупредил, что если они теперь будут чувствовать себя очень слабыми и совсем больными, то единственно от хинина; после этого я оставил их выздоравливать. И они выздоровели, хотя Вада и очень упирался. Ну, скажите, если человек может умереть по недоразумению, то разве уже так безнравственно заставить его жить по недоразумению?

Белая раса все-таки самая живучая. Один из наших двух японцев и оба таитянина так перепугались, что их пришлось укладывать

в постель, пичкать лекарствами и силой тащить обратно к жизни. Чармиан и Мартин относились к своим болезням просто и жизнерадостно, не обращали на них особенного внимания и с прежней спокойной уверенностью шли по дороге жизни. Когда Вада и Генри пришли к заключению, что они скоро умрут, похоронная атмосфера стала совершенно невыносимой для Тэхэи, и он целыми часами молился и плакал. А Мартин чертыхался—и выздоровел. И Чармиан тоже в свободное от стонов время строила планы, что будет делать, когда поправится.

Чармиан выросла у вегетарианки и гигиенистки. Тетя Нетта, воспитавшая ее, жила в здоровом климате и совершенно не верила в лекарства. Чармиан тоже не верила. Кроме того, у нее никогда ничего не выходило с лекарствами. Их действие на ее организм бывало хуже, чем сама болезнь. Но все же она выслушала мои доводы в пользу хинина и согласилась на него, как на меньшее зло; благодаря этому приступы были короче, легче и реже. Мы познакомились с одним миссионером, мистером Каульфильдом, оба предшественника которого умерли от лихорадки меньше чем в шесть месяцев. Он был последователем гомеопатии, так же как и умершие, но в первый же приступ лихорадки сделал сильное отклонение в сторону аллопатии и хинина—и выздоровел.

Но бедный Вада! Последней каплей, переполнившей его чашу, было путешествие с нами на Малаиту, остров людоедов,—путешествие на маленьком судне, капитан которого был убит здесь же всего полгода назад. К а й - к а й—значит «есть», и Вада был твердо убежден, что и он пойдет на «кай-кай». Мы отправились туда вооруженные до зубов и непрерывно были настороже; даже купаясь в устье пресноводной реки, мы ставили на страже наших чернокожих матросов с ружьями в руках. Мы встречали английские военные суда, сжигавшие целые деревни и расстреливавшие туземцев в наказание за убийство белых. Туземцы, за головы которых была назначена награда, искали у нас на судне спасения. Смерть и убийство бродили вокруг нас. Иногда в глухих закоулках мы получали предостережения от дружелюбно расположенных дикарей о готовящихся на нас нападениях. За нашим судном числился долг Малаите в две белых головы, и их могли потребовать в любую минуту. Венцом всего было то, что мы сели на мель, и работая одной рукой, в другой держали винтовку, не давая приблизиться туземцам, сбежавшимся, чтобы разграбить судно. Все это вместе взятое довело Ваду до того, что он в конце концов сбежал от нас на острове Изабелла,—сбежал по-настоящему, в проливной дождь, между двумя приступами лихорадки, рискуя схватить воспаление легких. Если он не будет съеден и если выживет, несмотря на лихорадку и язвы, он может надеяться,—в случае, если

ему очень повезет, конечно,—перебраться с этого острова на соседний недель через шесть или восемь. Он никогда не доверял моим медицинским познаниям, хотя я в самом начале выдернул ему вполне успешно два зуба.

В течение многих месяцев «Снарк» был пловучей больницей, и я должен сказать, что мы постепенно привыкли к этому. В лагуне Мэриндж, где мы чистили и исправляли киль «Снарка», случалось иногда, что только один из нас был в состоянии спускаться на воду, а трое остальных лежали в лихорадке на берегу. В настоящую минуту, когда я пишу это, мы путаемся в открытом море, где-то к северо-востоку от острова Изабелла, отыскивая Остров Лорда Хоуэ, который представляет собою атолл, а потому и незаметен, пока не подойдешь к нему вплотную. Хронометр испортился. Солнца не видно, и ночью нельзя наблюдать звезды, потому что уже много-много дней под ряд мы не выходим из шквалов и ливней. Повара нет. Наката, который взялся быть одновременно и поваром и боем, лежит в лихорадке. Мартин попробовал, было, встать, но слег опять. Чармиан, у которой лихорадка возвращается через правильные промежутки, изучает календарь, определяя время наступления ближайшего пароксизма. Генри уже поглощает хинин—тоже в ожидании пароксизма. А так как мои пароксизмы налетают и сваливают меня совершенно внезапно, то я никак не могу определить, когда свалюсь. По недоразумению, мы отдали последнюю нашу муку одному белому, который уверял, что у него вовсе нет муки. А теперь мы не знаем, когда доберемся до суши. Наши соломоновы язвы более многочисленны и более нестерпимы, чем когда-либо. Сулема случайно была оставлена на берегу в Пендефрине; перекись водорода вышла; теперь я делаю опыты с борной кислотой, лизолем и антифлогистином. Право же, если мне не удастся стать знаменитым доктором, то во всяком случае не от недостатка практики.

---

1. P. S. Прошло две недели с тех пор, как были написаны последние строки, и Тэхэи, единственный здоровый между нами, десять дней пролежал в жесточайшей лихорадке, которая у него приняла особенно тяжелую форму. Температура у него была почти постоянно 41°, а пульс—115.

2. P. S. В открытом море, между Тасманией и проливом Маннинга.

Лихорадка у Тэхэи приняла форму злокачественной лихорадки—самая тяжелая форма малярии, происходящая (по свидетельству моих медицинских книг) от смешанной инфекции. Вытащив его кое-как из лихорадки, я теперь уже окончательно потерял голову, потому

что он стал безумным. Я еще слишком недавно практикую, чтобы браться за лечение сумасшедших. Это уже второй случай помешательства за наше короткое путешествие.

3. P. S. Когда-нибудь, может быть, я напишу книгу (считаю своим профессиональным долгом) и назову ее: Вокруг света на госпитальном судне «Снарк». Даже наши звери не избежали общей участи. В лагуне Мэриндж мы приобрели двух—ирландского терьера и белого какаду. Терьер упал в люк и сломал заднюю лапу, потом еще раз повторил тот же маневр и сломал переднюю лапу. В настоящее время у него остались для ходьбы только две лапы. К счастью, они расположены крест-накрест, так что он может еще кое-как ковылять и подтаскивать две другие. Какаду разбился о потолок каюты, и его пришлось убить. Это был первый смертный случай на «Снарке», если не считать гибели кур (столь необходимых сейчас нашим выздоравливающим), которые перелетали через борт и тонули. Процветают одни тараканы. У них не бывает ни болезней, ни несчастных случаев; они прекрасно прибавляются в росте и становятся все кровожаднее: по ночам они грызут наши ногти на руках и ногах.

4. P. S. У Чармиан новый пароксизм лихорадки. Мартин, с отчаяния, лечит свои язвы по-лошадиному: поливает их медным купоросом и «благословляет» Соломоновы острова. Что касается меня, то в дополнение к занятиям навигацией и медициной и к писанию рассказиков—я тщетно жду выздоровления. Из всех больных на судне, если не считать случаев безумия, я в наихудшем положении. С первым захваченным пароходом я отправляюсь в Австралию и попадаю сразу на операционный стол. Из числа моих болезней (не главных) я должен упомянуть об одной, очень таинственной. За последнюю неделю руки у меня распухли как от водянки. Сжимать их трудно и болезненно. Тащить канат—совершенная пытка. Ощущение такое, точно они отморожены. Кроме того, кожа сходит с них с угрожающей быстротой, а новая, которая вырастает—тверда и толста. В моих книгах о такой болезни не упоминается. И никто не знает, что это такое.

5. P. S. Мартин только что попробовал применить ляпис и «благословляет» Соломоновы острова восторженнее, чем когда-либо.

6. P. S. Между проливом Маннинга и островами Паулу.

У Генри ревматизм в спине; с моих рук сошло уже десять шкур, а теперь сходит одиннадцатая; Тэхэи более сумасшедший, чем когда-либо, и день и ночь молит бога не убивать его. Кроме того, Наката и я лежим в лихорадке. И, наконец, вчера вечером Наката чуть не умер от отравления мясными консервами, и мы провозились с ним полночи.

ГЛАВА XVII

Послесловие

Как вам известно, «Спарк» имел сорок три фута по ватерлинии и пятьдесят пять по верху; ширина его была пятнадцать футов, и сидел он в воде на семь футов и восемь дюймов. По типу оснастки он был кечем. У него было два кливера, фок-стаксель, грот и бизань. Он был разделен на четыре отделения переборками, которые должны были быть водонепроницаемыми. Вспомогательный мотор в семьдесят лошадиных сил изредка работал, при чем это обходилось в двадцать долларов с мили. Пятисильный мотор приводил в движение насосы,— когда не был испорчен, конечно,—и два раза был в силах доставить нам электрическую энергию для прожектора. Аккумуляторы работали четыре или пять раз за два года. Считалось, что наша четырнадцатифутовая моторная лодка работает, но всякий раз, когда я хотел воспользоваться ею, она оказывалась испорченной.

К счастью, у «Спарка» были паруса. И только благодаря этому он двигался. Он шел под парусами целых два года и ни разу не наткнулся на подводные камни, на рифы или мели. В его трюме не было балласта, его железный киль весил пять тонн, но сидел глубоко в воде, и это делало его очень устойчивым. Часто под тропиками шквалы налетали на «Спарк», когда были подняты все паруса, часто его палуба и борта заливались водой, но он все-таки не перевертывался. Он хорошо слушался руля, но так же хорошо шел и без руля—ночью и днем и при всяком ветре. При попутном ветре, и когда паруса были правильно поставлены, он—без руля—отклонялся не более как на два румба, а при противном—не более как на три.

«Спарк» был наполовину построен в Сан-Франциско. В то утро, когда его железный киль должен был быть отлит, произошло Великое Землетрясение. Тогда начался хаос, и постройка затянулась на шесть месяцев. Я отправился на Гавайские острова на недостроенном судне, мотор его лежал в трюме, а строительные материалы на палубе. Если бы я вздумал доканчивать его в Сан-Франциско, я бы и до сих пор еще никуда не уплыл. В незаконченном виде «Спарк» обошелся мне в четыре раза дороже, чем должен был стоить в готовом виде.

«Спарк» родился под несчастной звездой. В Сан-Франциско на него был наложен арест, на Гавайских островах мои чеки были объявлены почему-то подложными, на Соломоновых—нас оштрафовали за нарушение карантина. В погоне за сенсационным материалом газеты были не в состоянии писать о нем правду. Когда я рассчитал неспособного капитана, они рассказывали, что я избил его чуть не

до смерти. Когда один юноша возвратился домой, чтобы продолжать занятия в колледже, это объяснили тем, что я настоящий Вульф Ларсен [1]), и вся команда моя разбежалась, так как я регулярно избивал всех до полусмерти. В действительности один-единственный удар на «Снарке» получил повар, но не от меня, а от капитана, попавшего к нам с фальшивыми бумагами и рассчитанного мною на Фиджи. Правда, Чармиан и я занимались иногда боксом, но никто из нас не пострадал существенно.

Путешествие это мы предприняли, чтобы интересно провести время. Я построил «Снарк» на свои деньги и оплачивал все расходы. Я заключил договор с одним журналом на тридцать пять тысяч слов по той же цене, по которой писал рассказы, сидя дома. Журнал не замедлил объявить, что он послал меня вокруг света за свой счет. Журнал этот был крупный и состоятельный, а потому все имевшие какие-либо дела со «Снарком» поднимали цены втрое, рассчитывая, что журнал все равно оплатит. Этот миф проник даже на самые дальние острова Полинезии, и мне всюду приходилось платить соответствующие цены. И до сей минуты все еще убеждены, что все расходы оплачивал журнал, а я нажил на этом путешествии целое состояние. При таких предпосылках довольно трудно вдолбить людям в головы, что путешествие было предпринято только ради того, что показалось забавным.

Я принужден был отплыть в Австралию и лечь в больницу, где оставался пять недель. Пять месяцев после этого я провалялся больным по разным отелям. Таинственная болезнь, изуродовавшая мои руки, оказалась не под силу австралийским знаменитостям. В истории медицины она тоже была неизвестна. Нигде и никогда о ней не упоминалось. С рук она перешла на ноги, и временами я был беспомощнее ребенка. Иногда руки мои увеличивались вдвое, и семь слоев омертвевшей кожи сходило с них. Иногда пальцы на ногах в течение двадцати четырех часов распухали до такой степени, что толщина их равнялась длине. Если их обчищали, они через двадцать четыре часа были точно такими же.

Австралийские знаменитости признали, что болезнь не заразного происхождения, а потому, вероятно, нервная. Мне от этого было, конечно, не легче, и продолжать путешествие было, очевидно, невозможно. Я мог бы продолжать его только привязав себя к койке, потому что я был до того беспомощен, что не мог ухватиться ни за какой предмет и совершенно не мог передвигаться на небольшом судне, подверженном постоянной качке. Тогда я сказал себе, что на свете еще много судов и много путешествий, а руки у меня

[1]) Герой романа Джэка Лондона — „Морской Волк“.

одни, и пальцы на ногах тоже одни. Кроме того, я рассудил, что в моем родном климате, в Калифорнии, моя нервная система была всегда в полном порядке. И тогда я направился домой.

По возвращении в Калифорнию я быстро выздоровел. И вскоре узнал, что это такое было. Мне попалась в руки книга полковника Чарльза Е. Вудруфа под заглавием: «Влияние тропического света на белых людей». Тут я понял все. Впоследствии я познакомился лично с полковником Вудруфом и узнал, что у него самого была такая же болезнь. Он был военным врачом, и кроме него семнадцать таких же военных врачей съехались на Филиппины на консилиум, но, так же как и австралийские специалисты, должны были признать себя бессильными. Очевидно, я был особенно предрасположен к тем разрушениям тканей, которые производит тропический свет. Меня погубили ультрафиолетовые лучи, как икс-лучи погубили многих, экспериментировавших с ними.

Скажу между прочим, что в числе других болезней, общая сумма которых заставила меня прервать путешествие, была так называемая проказа здоровых людей, известная еще под названием европейской проказы и библейской проказы. Об этой таинственной болезни известно еще менее, чем о настоящей проказе. Ни один врач не нашел еще способа лечить ее, хотя она иногда может пройти сама собой. Она приходит неизвестно откуда. Она протекает неизвестно как. Она проходит неизвестно почему. Я не принимал никаких лекарств, и только благодаря здоровому климату Калифорнии моя серебристая кожа стала опять нормальной. Врачи обнадеживали меня, что болезнь, может быть, пройдет сама собой,—и она, действительно, прошла сама собой.

Еще одно слово: какова же окончательная оценка путешествия? Мне, как и всякому другому мужчине, конечно, легко сказать, что оно было интересным. Но у меня есть еще свидетель—женщина, которая проделала с нами это путешествие от начала до конца. Когда я сказал Чармиан в больнице, что должен буду вернуться в Калифорнию, глаза ее наполнились слезами. Два дня она не могла притти в себя от огорчения, что такое хорошее путешествие будет прервано.

Глэн-Эллен, Калифорния
7 апреля 1911

ДЖЭК ЛОНДОН

НА ЦЫНОВКЕ МАКАЛОА

НА ЦЫНОВКЕ МАКАЛОА

В отличие от прочих рас жаркого климата, женщины Гавайи стареют красиво и благородно. Нисколько не пытаясь поправить природу или скрыть производимые ею опустошения, женщина, сидевшая под деревом хау, могла бы сойти за пятидесятилетнюю на взгляд любого знатока во всем свете, но только не на Гавайи. Дети ее и внуки и Роско Скэндуэлл, за которым она была замужем уже сорок лет, хорошо знали, что ей шестьдесят четыре года, и предстоящего двадцать второго июля исполнится шестьдесят пять. Она совершенно не казалась старухой, хотя надевала на нос очки, читая журнал, и снимала их, чтобы устремить взгляд в сторону полудюжины детей, игравших на лужайке.

Прекрасная была картина, прекрасная, как древнее дерево хау, огромное, точно дом,—под ним она и сидела, словно в доме—так обширна и уютна была его великолепная сень,—прекрасная, как лужайка, зеленым бархатом расстилавшаяся перед нею, как бунгало, столь же достойный, благородный и дорогой. А на горизонте, в рамке стофутовых кокосовых пальм, лежал океан; за рифом его темная голубизна переходила в густо-синий цвет, а перед рифом вода отливала шелковым глянцем изумруда, нефрита и турмалина [1]).

А это был только один из полдюжины домов, принадлежавших Марте Скэндуэлл! Ее городской дом в нескольких милях отсюда, в Гонолулу, на Дороге Нууану, между Первым и Вторым «каскадами», был настоящим дворцом. Полчищам гостей знакомы были уют и веселье ее горного дома на Тантале и дома на вулкане—дома маука, и дома макаи на огромном острове Гавайи. Впрочем, и этот дом в Вайкики ничем не уступал им в красоте, прочности и роскоши обстановки.

Двое японских дворовых мальчишек подстригали кусты гибиска, третий умело хлопотал у живой изгороди церея, цветущего по ночам и собиравшегося развернуть свои таинственные чашечки. Из дома вышел с чайным прибором слуга-японец в безупречных панталонах;

---

[1]) Изумруд и нефрит—драгоценные камни зеленоватых оттенков. Турмалины бывают черные, коричневые и бесцветные.

за ним следовала японская горничная, хорошенькая, как бабочка, в национальном кимоно, порхавшая, как бабочка, около хозяйки. Другая японская девушка, с ворохом мохнатых полотенец на руке, пересекала лужайку, направляясь к купальням, из которых уже выбегали дети в купальных костюмах. А дальше, за пальмами, у морского берега, две китайских няньки в нарядных национальных кофтах из белого йипона, в полосатых панталонах, с болтающимися на спине толстыми черными косами, возили ребят в колясочках.

Все это—слуги, няньки и внуки—принадлежало Марте Скэндуэлл. Кожа внуков была такого же цвета, как и ее кожа—несомненный гавайский оттенок, загар от золотого гавайского солнца. Они были гавайцы на одну восьмую и одну шестнадцатую—это значит, что семь восьмых и пятнадцать шестнадцатых белой крови еще не успели стереть золотистого загара Полинезии. Впрочем, только опытный глаз заметил бы, что резвящиеся на лужайке дети—не чистокровные белые. Дедушка, Роско Скэндуэлл,—чистокровный белый; Марта—белая на три четверти. Многочисленные сыновья и дочери—белые на семь восьмых; внуки—белые на пятнадцать шестнадцатых и в других комбинациях, смотря по пропорции крови родителей. Но род был хороший с обеих сторон,—Роско происходит по прямой линии от пуритан Новой Англии, Марта по столь же прямой линии вела свое происхождение от царского рода Гавайи, генеалогия которого воспевалась в меле (хвалебных песнопениях) за тысячу лет до появления письменности на Гавайи.

В отдалении остановилась машина, высадив женщину, которой можно было дать никак не больше шестидесяти лет; в действительности ей было шестьдесят восемь, а шла она по лужайке с легкостью крепкой сорокалетней женщины. Марта поднялась и поздоровалась с ней на сердечный гавайский манер—обхватившись руками, губы к губам, в лице и позах простодушное волнение. Так и сыпалось: «сестрица Белла!», «сестрица Марта!», бессвязные вопросы и расспросы о дяде таком-то, брате таком-то и тетушке такой-то; преодолев первый трепет встречи, они с увлажненными глазами сели, наконец, пить чай, не отрываясь друг от друга взорами. Можно было подумать, что не виделись и не обнимались они целые годы, а в действительности только два месяца прошло от последней их встречи. Одной было шестьдесят четыре года, другой—шестьдесят восемь, но в каждой трепетало любовью жаркое, как солнце, сердце Гавайи.

Дети хлынули к тетушке Белле и, только получив щедрую порцию объятий и поцелуев, удалились со своими няньками на пляж.

— Я решила съездить к морю на несколько дней—пассатные ветры прекратились,—говорила Марта.

— Да ты здесь уже две недели!—ласково усмехнулась Белла младшей сестре.—Я знаю от брата Эдуарда. Он встретился со мной на пароходе и насильно повез меня первым делом повидать Луизу и Доротею и его первого внука: он буквально помешан на нем!

— Господи!—вскричала Марта.—Две недели! Я и не воображала, что так долго.

— А где же Энни и Маргарита?—спрашивала Белла.

Марта пожала дюжими плечами в знак снисхождения к своевольным дочерям—матронам, бросившим ей на руки детей после обеда.

— Маргарита на собрании в кружке физической культуры; они собираются засадить деревьями и кустами гибиска обе стороны проспекта Калакауа!—сказала она.—А Энни портит на восемьдесят долларов резиновых шин, чтобы собрать семьдесят пять долларов для Британского Красного Креста. Ты ведь знаешь, это ее «общественный» день.

— А Роско имеет право гордиться!—продолжала Белла, подметив искру гордости и в глазах сестры.—В Сан-Франциско я узнала, что предприятие Хоолаа дало первый дивиденд. А ты помнишь, как я приобрела тысячу акций по семьдесят пять центов для детей бедной Эбби и сказала, что продам, когда цена дойдет до десяти долларов за акцию?

— И все высмеивали тебя и всякого, кто покупал эти акции!—утвердительно кивнула Марта.—Но Роско знал, что делал! Теперь цена акции двадцать четыре!

— Я, вот, продала свои с парохода по радиотелеграфу по двадцати!—продолжала Белла.—Эбби теперь совсем помешалась на нарядах. Она собирается вместе с Мэй и Тутси в Париж.

— А Карл?—спросила Марта.

— О, он честь-честью окончит Иэльский университет...

— Это бы ему удалось во всяком случае, ты это знаешь!—возразила Марта.

Белла, как виноватая, молчаливо призналась кивком в намерении провести на свои средства через университет сына школьной подруги и благодушно сказала:

— Впрочем, было бы лучше, чтобы за это заплатил Хоолаа. В известной степени Роско так и делает: эти акции я купила по его совету.—И она посмотрела кругом, охватив взором не только красоту, уют и покой всего, на чем останавливался взор, но и далекую панораму других подобных оазисов, рассеянных по островам. Вздохнув, она добавила:—Наши мужья хорошо распорядились с тем, что мы принесли им в приданое...

— И счастливо...—согласилась Марта, но с подозрительной торопливостью оборвала себя.

— Счастливы все, кроме сестры Беллы,—досказала Белла мысль своей сестры.

— Очень уж неудачен был этот брак,—пробормотала Марта голосом, полным участия.—Ты была так молода. Дяде Роберту не следовало заставлять тебя...

— Мне было всего девятнадцать лет!—сказала Белла.—Но Джордж Кастнер не виноват в этом. И смотри, что он сделал для меня из-за могилы! Дядя Роберт был умница. Он понимал, что Джордж—человек дальновидный, энергичный и настойчивый. Даже в ту пору—а ведь дело происходило пятьдесят лет назад!—он понимал всю ценность прав на воды Нагала, которых тогда никто не ценил. Всем казалось, будто он стремится скупить горные пастбища, а он закреплял за собой будущее воды—и ты ведь знаешь, как ему удалось! Иногда мне просто стыдно думать о своих доходах. Нет, что ни говори, в неудаче нашего брака Джордж неповинен! Я знаю, что могла бы жить с ним счастливо и по сей день, останься он в живых.—Она медленно покачала головой.—Нет, не его была вина! Да и ничья вообще. Даже не моя! А если есть на ком-нибудь вина...—И, казалось, она спешила предупредить укор замечанием, сделанным вслед за этим:—Если и была чья вина, так это—дяди Джона!

— Дяди Джона?—воскликнула Марта в полном недоумении.—Если уж искать виновных, так я бы сказала—дядя Роберт. Но дядя Джон!..

Белла улыбалась и упрямо качала головой.

— Но ведь это же дядя Роберт заставил тебя выйти замуж за Джорджа Кастнера!—настаивала сестра.

— Это верно!—подтвердила Белла.—Но дело было не в муже, а в лошади. Мне вздумалось попросить лошадь у дяди Джона, и дядя Джон согласился. Вот откуда все пошло!

Наступило молчание—тяжелое, загадочное; покуда голоса детей и тихие убеждающие протесты нянек-азиаток раздавались на берегу, в душе Марты Скэндуэлл созревало смелое решение. Она замахала рукой на детей.

— Побегайте, дорогие, побегайте! Бабушке и тете Белле нужно поговорить!

И когда пронзительные, звонкие детские голоса замерли в отдаленном конце лужайки, Марта с грустью поглядела на лицо сестры, где тайная полувековая кручина провела борозды. Вот уже пятьдесят лет видит она эти борозды! И, несмотря на свое мягкое гавайское сердце, она нарушила, наконец, полувековое молчание.

— Белла,—начала она.—Мы ведь так и не знаем... Ты ни разу не рассказала! Но часто,—о, как часто!—думали мы...

— И ни разу не спросили...—благодарно пробормотала Белла.

— Но теперь, наконец, я спрошу! Мы на закате жизни. Ты слышишь голоса? Иногда мне страшно подумать, что это внуки, мои внуки: мне кажется, я недавно, совсем на-днях, была ветреной, беззаботной, быстроногой девчонкой, носилась на коне, плавала в сильном прибое, собирала ракушки после отлива, улыбалась разом десятку влюбленных! Так забудем же в сумерках нашей жизни все, все, кроме того, что я твоя сестра, и что ты моя дорогая сестра...

У обеих старух увлажнились глаза. Белла заметно дрожала, и слово готово было сорваться с ее языка.

— Мы винили во всем Джорджа Кастнера,—продолжала Марта,—а о подробностях догадывались. У него была холодная натура. Ты же была пламенная гавайянка. Наверное, он был жестокий человек. Брат Уолькот всегда утверждал, что он колотит тебя...

— Нет, нет!—перебила ее Белла.—Джордж Кастнер совсем не был груб. Я часто почти жалела, что он не зверь. Он ни разу не тронул меня. Он ни разу даже не поднял на меня руки. Он ни разу не прикрикнул на меня! Нет,—о, поверишь ли мне? Верь, сестра!—никогда между нами не было ни брани, ни попреков! Но этот его дом—наш дом—в Нагала был такой серый! Все его краски были серы! В нем было холодно и жутко, а я горела всеми красками солнца, земли, крови, родины! Холодно и скучно было мне с моим холодным, серым супругом в Нагала! Ты знаешь, он был серый, Марта, серый, как портреты Эмерсона, висевшие в нашей школе. Даже кожа у него была серая. Ни солнце, ни ветры, ни долгие часы в седле не придали ей загара! И так же он был сер душой, как наружностью.

А ведь мне было всего девятнадцать лет, когда дядя Роберт решил этот брак. Почем я знала! Дядя Роберт поговорил со мною. Он указал мне, что богатство и имущество Гавайи уже начали переходить в руки хаоле (белых). Гавайские вожди все больше теряют свои владения. Земли уходят вместе с гавайскими девушками, выходящими замуж за хаоле, управляют владениями их белые мужья, и они богатеют! Он указал на деда Роджера Вильтона, который получил в приданое убогие земли маука от бабушки Вильтон, приумножил их и разбил на них ранчо [1]) Килохана...

— Даже в то время он уступал только ранчо Паркера!—с гордостью вставила Марта.

— Он говорил мне, что если бы наши отцы были так же дальновидны, как деды, то половина королевских земель перешла бы к Килохана, и Килохана была бы на первом месте! Говорил он также, что говядина никогда уже не подешевеет. Говорил он, что

---

[1]) Ранчо — имение со скотоводческим уклоном.

великое будущее Гавайи построено на сахаре. Это было пятьдесят лет назад—и события показали, что он был совершенно прав! Так вот, он сказал мне, что молодой хаоле—Джордж Кастнер—человек дальновидный и далеко пойдет; что нас, девушек, много; что земли Килохана по праву должны доставаться молодым людям, и что, если я выйду замуж за Джорджа, мне обеспечено блестящее будущее.

Ведь мне было всего девятнадцать лет, я только что вышла из школы вождей—в ту пору наши девушки еще не ездили учиться в Соединенные Штаты. Ты была в числе первых, сестра Марта, получивших образование на материке. И что могла я знать о любви и возлюбленных, не говоря уже о браке? Все женщины выходят замуж! Это их назначение в жизни! Мать и бабушка и прабабушки—все выходили замуж. Стало быть, и мое дело в жизни было—выйти замуж за Джорджа Кастнера!

Так говорил от своей мудрости дядя Роберт, а я знала, что он очень умный человек. И вот отправилась я жить с мужем в его сером доме в Нагала.

Ты помнишь этот дом? Ни деревца, одни волнистые пастбища, а за ними высокие горы, внизу море и ветры, ветры Ваимеа и Нагала; эти ветры гуляли здесь, и на придачу ветер кона. Но я мало их замечала бы,—не больше, чем в Килохана или в Мана,—если бы сама Нагала не была такой серой и супруг Джордж не был таким серым. Жили мы одиноко. Он управлял Нагала от имени Гленнов, которые вернулись в Шотландию. Тысяча восемьсот долларов в год, плюс говядина, лошади, ковбойские услуги и дом при ранчо—вот все, что он получал...

— В те дни это было большое жалованье!—заметила Марта.

— Но для Джорджа Кастнера, по службе, которую он нес, оно было ничтожно!—возразила Белла.—Я выжила там три года. За все эти годы не было ни одного утра, когда бы он встал позже половины пятого. Для своих нанимателей он был воплощенная преданность. Честный в расчетах до последнего гроша, он отдавал им свое время и силы полной мерой, и даже больше того! Может быть, от этого и жизнь наша была такой серой. Но ты слушай, Марта! Из этих тысячи восьмисот долларов он тысячу шестьсот ежегодно откладывал. Подумай только, мы вдвоем жили на двести долларов в год! Счастье, что он не курил и не пил. На эти деньги мы ведь и одевались! Я сама шила свои платья. Можешь себе представить, что это были за платья! Если не считать ковбоев, которые рубили дрова, я несла всю работу. Я стряпала, гладила, мыла полы...

— А ведь ты с детства ничего не делала без помощи слуг!—соболезнующе воскликнула Марта.—Ведь в Килохана их был целый полк!

— Ах, эта голая, грызущая скаредность!—вскричала Белла.— Сколько раз приходилось экономить на каком-нибудь фунте кофе! От веника оставалась только ручка, прежде чем решишься, бывало, купить новый! А мясо! Мясо утром, в полдень и вечером. А каша! После я никогда в рот не брала за завтраком каши...

Белла вдруг поднялась и прошла с десяток шагов, остановилась и обвела невидящими глазами ярко расцвеченный риф. Успокоившись, вернулась на место уверенной, грациозной, благородной походкой, которую никакое скрещивание не может убить в гавайской женщине. А между тем Белла Кастнер, белая кожей, с тонкими чертами, была настоящая хаоле. Когда она шла, высоко подняв голову и прямо глядя овальными карими глазами с длинными ресницами под великолепными дугами бровей, с нежными линиями небольшого рта, впитавшего, казалось, в себя сладость поцелуев за все шестьдесят восемь лет, то из-под чистой крови хаоле так и выпирала многовековая кровь королевского рода Гавайи. Она была выше своей сестры Марты и величественнее ее.

— Ведь ты знаешь, мы славились скудостью нашего стола!— добродушно засмеялась Белла.—От Нагала до ближайшего человеческого жилья во все стороны было много миль. Нередко у нас ночевали запоздалые путники или застигнутые бурей. Тебе известно гостеприимство больших скотоводческих ферм? А мы были посмешищем! «Какое нам до этого дело!—говорил, бывало, Джордж.—Они живут со дня на день. Наш черед настанет через двадцать лет! Они будут жить так, как мы сейчас живем, и питаться из наших рук. Нам придется кормить их; и мы будем кормить их сытно, ибо мы будем богаты, Белла, так богаты, что я боюсь даже сказать тебе! Но я знаю, что говорю, и ты мне верь!..»

Джордж оказался прав. Двадцать лет спустя,—правда, сам он не дожил до этого,—мой доход составлял уже тысячу в месяц. Боже! Что он составляет сейчас, я даже не представляю себе! Но мне было всего девятнадцать лет; и я говорила, бывало, Джорджу: «Теперь, немедленно! Мы сейчас живем! Может, через двадцать лет нас не будет в живых. Мне нужна новая метла! И в лавках есть третьесортный кофе, всего на два цента за фунт дороже, чем ужасная дрянь, которую мы пьем. Почему мне сейчас не есть яичницы на масле? Мне страшно хочется купить хоть одну новую скатерть! А наше белье? Просто стыдно класть на наши простыни гостей, к счастью, редко отваживающихся заезжать к нам!..»

«Потерпи, Белла!—отвечал он.—Скоро, через каких-нибудь пять-шесть лет, те, кто сейчас пренебрегает сесть за наш стол или спать на наших простынях, будут гордиться приглашением, полученным от нас,—те из них, кто останется в живых. Помнишь, как в прошлом

году приезжал Стивенс, легкомысленный и расточительный, друг всем кроме себя? Жителям Кохала пришлось на свой счет похоронить его, потому что он не оставил ничего, кроме долгов! Смотри, как и другие идут по той же дорожке! Вот твой братец Гэль. Этак он не проживет и пяти лет; он приводит всех своих дядек в отчаяние. А принц Лилолило! Каким франтом он проскакал мимо меня с полусотней здоровенных буйных канаков верхами, которым гораздо лучше было бы заняться тяжелой работой и подумать о своем будущем, ибо никогда ему не быть царем Гавайи. Он не доживет до таких лет, чтобы сделаться царем Гавайи!»

И Джордж оказался прав. Братец Гэль умер. Скончался и принц Лилолило. Но Джордж был не во всем прав! Он, не пивший и не куривший, не тративший лишнего усилия рук на объятия, не задерживавший своих губ в поцелуе секундой больше, чем нужно для беглой ласки, он, неизменно встававший до петухов и засыпавший прежде, чем керосин в лампе успевал выгорать на какую-нибудь десятую долю, он—не помышлявший о смерти, умер раньше братца Гэля и раньше Лилолило!

«Потерпи, Белла!—говаривал мне, бывало, и дядя Роберт.—Джордж Кастнер—человек будущего! Я сделал хороший выбор. Ваши нынешние трудности—тернистый путь в обетованную землю. Не вечно гавайцы будут править на Гавайи. Выпустили они из рук свои богатства, выскользнет из их рук и власть. Политическая власть и земля всегда идут рядом! Будут великие перемены, будут революции, кто знает, какие и сколько, но только в конце концов хаоле заберут в свои руки и землю и власть; и в те дни ты можешь стать первой дамой Гавайи, и Джордж Кастнер, возможно, будет править Гавайи! Так написано в книге, так всегда бывает, когда хаоле сталкиваются с более слабыми расами. Я, твой дядя Роберт, наполовину гавайец и наполовину хаоле, знаю, о чем говорю! Потерпи, Белла, потерпи!»

«Дорогая Белла!»—говорил дядя Джон; а я знала, что он любит меня. Благодарение небу, он никогда не уговаривал меня терпеть! Он понимал! Он был очень умный человек; это была живая, горячая человеческая душа, и потому он был умнее дяди Роберта и Джорджа Кастнера, которые любили вещи, а не душу, счета гросбухов, а не счет биений сердец, больше любили складывать столбцы цифр, чем запоминать объятия и ласку взглядов, слов и прикосновений. «Дорогая Белла!»—говаривал дядя Джон. Он понимал меня. Ты ведь слыхала, что он был возлюбленным принцессы Наоми? Он был настоящий любовник! Он любил только раз! После ее смерти он сделался, говорят, чудаком. Да, так это и было. Единственная любовь, раз навсегда! Ты помнишь внутреннюю, запретную комнату

его дворца в Килохана, в которую мы вошли только после его смерти и нашли там алтарь, воздвигнутый ей? «Милая Белла!» Это было все, что он говорил мне, но я знала, что он понимает меня!

А мне было девятнадцать лет, и жаркое солнце Гавайи играло во мне, несмотря на три четверти крови хаоле; и я ведь ничего не знала, кроме моих девичьих утех в Килохана и учения в Гонолулу, в королевской школе вождей, и моего мужа в Нагала с его серыми прописями, с его скупостью и скопидомством, и этих двух моих бездетных дядей: один—холодно-дальновидный, другой—с надорванным сердцем, мечтательный любовник мертвой принцессы... Представь себе только этот дом! Представь себе в нем меня, вкусившую легкой жизни, восторгов и радостного смеха Килохана, Паркеров и старой Мана и Пууваавaa! Ведь ты помнишь нашу молодость? Жили мы в те дни с роскошью феодалов. А поверишь ли ты мне, сможешь ли ты мне поверить, Марта: в Нагала единственной швейной машиной, которая была в моем распоряжении, была одна из тех машинок, что привозили еще первые миссионеры: крохотная глупая машинка, которую приходилось вертеть рукой?!

Роберт и Джон дали Джорджу по пяти тысяч долларов в день нашей свадьбы. Но он просил меня молчать о них. И в то время как я шила свои дешевые холоку на этой глупой машинке, он скупал на эти деньги землю,—знаешь, участки верхней Нагала,—по крохам, торгуясь при каждой покупке и корча при этом физиономию последнего бедпячка! А сейчас один только Овраг Нагала приносит мне сорок тысяч в год!

И стоило ли так терпеть? Я ведь голодала! Если бы хоть раз он провел со мной пять минут, оторвав их от своего дела, забыв свою преданность хозяевам! Иногда мне хотелось кричать или выплеснуть эту вечную миску каши ему в лицо, или с размаху швырнуть швейную машинку и проплясать на ней хула, лишь бы вывести его из терпения, заставить сделаться человеком или зверем, кем угодно, вместо серого, замороженного полубога!

Трагическое выражение сошло с лица Беллы, и она рассмеялась своим воспоминаниям.

— А когда на меня нападало такое настроение, он, бывало, серьезно поднесет мне касторового масла, уложит в постель с горячими печными вьюшками и начнет уверять, что утром мне полегчает! Рано уложит в постель! Если мы засиживались до девяти часов, это уже считалось мотовством! Мы аккуратно укладывались в восемь часов. Экономия на керосине! Мы не обедали в Нагала. Ты помнишь огромный стол в Килохана, за которым мы обедали? Но мы с Джорджем зато ужинали! Он садился близко к лампе по одну сторону стола и читал вслух взятые у кого-нибудь на время

журналы, а я сидела по другую сторону стола и штопала его носки и белье. Он носил дешевое, дрянное белье! И когда он ложился спать, укладывалась и я. Расходовать керосин так, чтобы только один из нас пользовался им,—нет, этого мы себе не позволяли! И ложился он спать всегда одинаковым образом: заводил часы, записывал в дневник, какая была днем погода, и снимал башмаки—сперва неизменно правый башмак, затем левый; и ставил он их вот этак рядышком на полу в ногах постели на своей стороне...

Это был опрятнейший мужчина, каких я только знавала! Он никогда два раза не надевал нижнего белья. А я стирала. Он был так опрятен, что это оскорбляло. Брился он дважды в день. Он выливал на свое тело больше воды, чем любой канак. А работал он за двух хаоле! И он ясно видел будущее водопадов Нагала.

— И он сделал тебя богатой, но не сделал счастливой!—заметила Марта.

Белла со вздохом кивнула.

— В конце концов, что такое богатство, сестра Марта? Мой новый автомобиль прибыл со мной на пароходе. Но что такое все автомобили и все доходы на свете по сравнению с возлюбленным? Единственным возлюбленным, единственным товарищем, за которого выходишь замуж, возле которого трудишься, страдаешь и радуешься, единственным мужчиной-любовником!..

Голос ее замер; сестры сидели в молчании; древняя старуха, опираясь, на палку, скрюченная, согнутая и сморщенная под тяжестью своих ста лет, заковыляла к ним по лужайке. Глаза ее, сузившиеся до крохотных щелочек, были, однако, зоркие, как глаза мангуста [1]); она сперва припала к ногам Беллы, пропев на чистом гавайском языке беззубым ртом неразборчивую меле (хвалебную оду) Белле и предкам Беллы, закончив ее поздравительным экспромтом по поводу ее возвращения на Гавайи после поездки за далекие моря, в Калифорнию. И в то время как старая ведьма гнусавила свою меле, пальцы ее ловко массировали (ломи) затянутые в шелковые чулки ноги Беллы от икр и лодыжки к колену и ляжке.

И Белла и Марта чуть не прослезились, когда старая вассалка повторила свою оду и ломи над Мартой; они стали расспрашивать ее на древнем языке о ее здоровье и возрасте, и о ее праправнуках— ведь она делала ломи всем в огромном доме Килохана, когда обе сестры были еще малютками, совершенно так, как ее предки массировали их предков в ряду бесчисленных поколений! Отбыв эту

---

1) Мангуста — род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Необычайная зоркость и ловкость этого зверка позволяет ему нападать на ядовитых змей и уничтожать их.

повинность, Марта поднялась и проводила старуху к ее хижине, сунула ей в руки денег и приказала гордым и хорошеньким японским горничным накормить туземную развалину знаменитой кашей пойи, которая толчется из корня водяной лилии, и ямака—сырой рыбой, и толчеными орехами—ку-куйи, и лиму; последний деликатес—морская водоросль, которая по силам даже беззубым, вкусна и удобоварима. Во всем этом сказались древние феодальные узы, преданность вассала вождю и ответственность вождя за вассала; ведь Марта, на три четверти хаоле, англо-сакской крови Новой Англии, была на четыре четверти гавайянкой по воспоминаниям и по строгому соблюдению почти уже исчезнувших стародавних обычаев!

Когда Марта шла обратно по лужайке к дереву хау, Белла ласково глядела на ее прекрасную породистую фигуру. Марта была ростом чуть-чуть пониже Беллы, но это не портило ее царственной осанки; великолепные пропорции ее тела лишь смягчались с годами; непередаваемо величава была ее фигура полинезийской предводительницы под мягкими линиями свободной, вольно скроенной холоку из черного шелка, в черных кружевах, стоивших дороже шикарного парижского платья.

Когда обе сестры возобновили прерванный разговор, посторонний наблюдатель заметил бы поразительное сходство их чистых прямых профилей, широких скул, высоких лбов, пышных железно-серых волос, мягко очерченных губ, запечатленных выражением воспитанной десятилетиями уверенной гордости; прелестные тонкие брови дугой окружали столь же прелестные продолговатые карие глаза; руки обеих женщин, мало измененные возрастом, заканчивались необычайно нежными пальцами—эти пальцы любовно массировались с детских лет гавайскими старухами, подобными той, которая сейчас уплетала пойи, ямаку и лиму в своем домишке.

— Год я прожила таким образом!—возобновила Белла свое повествование.—И, знаешь, как-то притерпелась! Меня стало тянуть к Джорджу! Так уж созданы женщины! Я, во всяком случае, была такой женщиной. Ведь он был добрый человек, справедливый человек, в нем сидели все неподкупные пуританские добродетели! Я начала привыкать к нему, испытывать симпатию, почти-что любить, сказала бы я. И если бы дядя Джон не ссудил мне этой лошади, то, я знаю, я, наверное, полюбила бы его и была бы с ним счастлива, знаешь, таким спокойным счастьем...

Пойми, я ведь не знала ничего иного, ничего лучшего среди мужчин! Я начала приветливо поглядывать на него через стол, когда он читал вслух в краткий промежуток между ужином и постелью; радостно прислушивалась, дожидаясь топота коня в часы его возвращения из бесконечных объездов ранчо! И была счастлива от его

скупой похвалы. Да, сестра Марта, я научилась краснеть, когда он уверял, что то или иное я сделала правильно или хорошо!

И все устроилось бы отлично до конца наших дней, если бы только не пришлось ему уехать пароходом в Гонолулу! Поездка была деловая. Ему предстояло быть в отлучке недели две или больше,— во-первых, по делам своих принципалов Гленнов, во-вторых, по собственным делам, по покупке новых участков на верхней Нагала. Ведь он покупал десятками самые дикие и запущенные горные участки, на которых ничего не было, кроме воды, и притом в самом центре водораздела, за смехотворные суммы в роде пяти или десяти центов за акр! И вот он решил, что мне нужно развлечься! Я выразила намерение поехать с ним в Гонолулу. Но он, испугавшись расходов, оставил меня в Килохана. Ему не только ничего не стоило оставить меня погостить в моем родном доме, но получалась даже экономия на тех пустяках, которые я бы проела, оставаясь одна в Нагала, а это давало возможность приобрести еще несколько акров в Нагала! А в Килохана дядя сказал «да» и дал мне лошадь.

О, эти первые дни были сущим раем! Мне даже трудно было поверить, что на свете бывает столько еды! Расточительность кухни приводила меня в ужас. Я повсюду видела мотовство—так хорошо выдрессировал меня супруг мой Джордж! Помилуй, даже на людской половине престарелые родичи и самые отдаленные нахлебники слуг питались лучше, чем мы с Джорджем! Ведь ты помнишь нашу килоханскую манеру? Как и у Паркеров, на каждый обед убивался бык! Свежая рыба привозилась гонцами из прудов Вайпио и Кихоло, всегда и все самое лучшее и отменное... А любовь, окружавшая меня, а наш семейный уют! Ведь ты помнишь, каков был дядя Джон! И брат Уолькот был тут, и брат Эдуард, и все младшие сестрицы, кроме тебя и Салли,—вы были в школе. И тетя Элизабет, и тетя Дженнет с мужем и всеми детьми как раз приехали в гости! Со всех сторон объятия, непрерывные ласки—словом, все, чего я не видела скучных двенадцать месяцев и по чем страшно стосковалась! Я чувствовала себя так, словно спаслась от кораблекрушения и, упав на береговой песок, пила из журчащего родника у подножия пальмы!

И вот они приехали верхами из Кауайихаэ, где высадились с королевской охотой! Блестящая кавалькада, по двое в ряд, в гирляндах цветов, молодые, веселые, счастливые, на конях с паркеровского ранчо, тридцать человек гостей с сотней паркеровских ковбоев и столько же собственных вассалов,—процессия была истинно царственная! Это приехала принцесса Лигуэ. Мы знали, что она горит в последней степени туберкулеза и угасает; а с ней были ее племянники, принц Лилолило, в котором все приветствовали грядущего

короля Гавайи и его брат, принц Кахекили, и принц Камалау. При принцессе находилась Элла Хигтинсуэрт, которая с полным основанием претендовала на более чистую королевскую кровь в своих жилах: ведь она происходила от Кауаи, прямого предка царствующей фамилии! Потом там была Дора Найльз и Эмилия Лоукрофт и... да всех и не перечесть! Мы с Эллою Хигтинсуэрт занимали одну комнату в пансионе королевской школы вождей. И вот все они остановились на часок отдохнуть—это была не пирушка, не луау, потому что настоящий луау ждал их у Паркеров, но мужчинам подали пиво и крепкие напитки, а женщинам—лимонад, апельсины и дивные арбузы.

Все обнимали Эллу Хигтинсуэрт и меня, и принцессу, которая помнила меня, и всех прочих девушек и женщин; Элла переговорила с принцессой, и принцесса самолично пригласила меня в свой поезд, предложив присоединиться к ним в Мана, откуда они собирались выехать через два дня. И я обезумела, обезумела от всего этого после годичного заключения в серой тюрьме Нагала. Мне было девятнадцать лет, и через неделю должно было исполниться двадцать...

О, я не предвидела того, что случилось! Я так была занята женщинами, что почти не замечала Лилолило, разве лишь издали, когда его крупная и высокая фигура выделялась среди других мужчин. Я никогда еще не участвовала в такого рода увеселительных поездках! Я видела, как угощали гостей в Килохана и Мана, но не получала приглашения по своей крайней юности, а потом пришли ученье и брак. Я знала, что предстоят две недели полного блаженства. И этого было мало за новых двенадцать месяцев в Нагала!

И вот, я попросила дядю Джона дать мне лошадь. Это, собственно, значило три лошади: моя лошадь, ковбой верхом и запасная лошадь. Дорог в ту пору не было, не было и автомобилей. А какая мне досталась лошадь! Это был Хило. Ты не помнишь этого коня? Ты находилась в школе, и до твоего приезда домой, в следующем году, этот конь сломал себе хребет, а своему наезднику—шею во время дикой скачки с арканом за быками на Мауна-Кеа. Ты слышала об этой истории—о молодом флотском офицере-американце...

— Это был лейтенант Баусфильд,—сказала Марта.

— Но этот Хило! Я была первой женщиной, севшей на него. Трехлеток, только что объезженный. Так черен и так гладок, что весь отливал серебром; на ранчо это была самая рослая из верховых лошадей—потомок королевского коня Спарклингдоу и породистой кобылы, объезженный всего за две недели до этого. Я такого прекрасного коня в жизни не видела! Круглое, широкогрудое, крепко слаженное туловище идеального горного пони, чистокровная голова и шея, худощавая, но словно точеная, чудесные чуткие уши, не

слишком малые, не упрямо-большие. Чудесны были и его ноги и бабки без единого пятнышка, крепкие и уверенные; и ходил он под седлом, как люлька!

— Я помню, принц Лилолило рассказывал дяде Джону, что ты оказалась лучшей наездницей на Гавайи!—перебила Марта сестру.— Это было спустя два года после того, как я вернулась из школы. Ты еще жила в ту пору в Нагала.

— Неужели Лилолило сказал это?—воскликнула Белла. Щеки ее слегка заалели, и карие глаза засветились, когда она мысленно перенеслась к своему возлюбленному через полстолетие после его смерти. И по скромности, прирожденной гавайским женщинам, она поспешила замаскировать свой сердечный порыв усиленными восхвалениями Хило.

— Когда он нес меня вниз и вверх по траве горных склонов, он словно укачивал меня; он мчался среди высокой травы, прыгая, как лань, как кролик, как фокстерьер—не могу даже подобрать сравнения! Эти курбеты [1])! Эти прыжки! Это был конь для какого-нибудь Наполеона или еще кого! И глаза у него были не злые—знаешь, такой плутовской и умный взгляд, словно он придумал остроту и вот-вот рассмеется или скажет ее! Так вот, я попросила у дяди Джона этого Хило. А дядя Джон посмотрел на меня, я посмотрела на него; и хотя он не сказал, но я почувствовала, что он говорит «Милая Белла», и поняла, что сквозь меня он мысленно видит принцессу Наоми. Дядя Джон сказал «да». Вот как это произошло!

Но он потребовал, чтобы я сначала испытала Хило. Часто я задавалась вопросом: подумал ли дядя Джон о том, что из этого может выйти? Лично я ничего не представляла, когда ехала к принцессе в Мана. Такого праздника я не запомню в своей жизни! Ты знаешь, как хлебосольно принимали гостей старые Паркеры. Всевозможные игры, охота, объездка лошадей. Помещения для слуг переполнены! Везде и всюду паркеровские ковбои! И девушки из Ваимеа, девушки из Вайпио и Хонокаа, и Пааунло... Как сейчас помню их сидящими длинными рядами на каменных стенах загона для объездки лошадей и плетущими леи (венки) для своих возлюбленных ковбоев! А ночи! Эти ароматные ночи, звуки распеваемых меле, и пляски (хула), и широкие просторы Мана с бесчисленными парочками влюбленных под деревьями.

А Лилолило!..—Белла умолкла, закусив губу и обнажив прелестные мелкие зубы; видимо, сдерживая нахлынувшие чувства, она безучастно скользила взором по далекому синему горизонту... Успокоившись, наконец, она подняла глаза на сестру.

---

[1]) Курбет—очень короткий галоп лошади, а также внезапная своенравная выходка ее.

— Это был действительно принц, Марта! Ты видела его в Килохана... после того, как приехала из семинарии! Он приковывал к себе глаза всякой женщины и даже всякого мужчины! Ему было двадцать пять лет. И в своей мужской зрелости он был так же величествен телом, как и душой! Как бы он необузданно ни шутил, как бы ни увлекался забавой или охотой, он, казалось, ни на секунду не забывал, что он царской крови, что все его предки были знатными вождями в незапамятные времена, вплоть до того вождя, который плавал на своих двойных каноэ в Таити и Райатеа и возвращался невредимым. Он был грациозен, ласков, отличный товарищ, воплощенное дружелюбие, и умел становиться суровым, резким и жестким, если ему слишком грубо перечили. Мне даже трудно выразить тебе свою мысль! Это был насквозь мужчина, мужчина, мужчина и насквозь принц, в нем немножко было от веселого мальчишки и от железного мужа.

Я вижу его сейчас, как видела в тот первый день, когда коснулась его руки и сказала ему... несколько застенчивых слов, не таких, какие могла сказать замужняя женщина серому хаоле в серой Нагала! Полстолетия тому назад состоялась наша встреча—ты помнишь, наши молодые люди носили тогда белую обувь и белые панталоны, белые шелковые рубахи, опоясанные разноцветными испанскими кушаками?—и за все это полстолетие образ Лилолило не поблек в моем сердце! Он составлял центр группы, стоявшей на лугу, и меня повела к нему представить Элла Хиггинсуэрт. Принцесса Лигуэ крикнула ей какую-то задорную фразу, заставившую Эллу остановиться для ответа и бросить меня на половине дороги.

И когда я в смущении стояла на траве, он случайно озарил меня взглядом. Как отчетливо вижу я его слегка откинутую назад голову, его властную, свободную позу, столь характерную для него! Мы встретились глазами. Он не то нагнул голову, не то поднял ее навстречу мне, не знаю, что это было. Может быть, он приказал? Может быть, я повиновалась? Не знаю! Я знаю только, что приятно было глядеть на меня в венке из пахучей маиле и в чудесной холоку принцессы Наоми, которую дядя Джон вынес из своей заветной комнаты; я помню, что я одиноко двинулась к нему через луг, а он отделился от свиты и пошел мне навстречу.

Мы шли друг другу навстречу в этой траве, словно шагали по собственным жизням...

Сестра Марта, хороша я была в молодости? Я сама не знаю, не знаю. Но в тот момент его красота и царственное мужество вонзились в мое сердце, и я вдруг почувствовала себя красавицей—как это выразить?—словно его совершенство наполнило меня красотой и внезапно преобразило меня!

Мы не произнесли ни слова. Но я помню, что я откровенным движением подняла голову в ответ на громовую речь его безмолвных уст, и если бы за этот взгляд и за это мгновение мне грозила смерть, я не могла бы остановить себя, не могла бы подавить того, что было на моем лице и в моих глазах, и во всем моем теле, дрожавшем от частых вздохов!

Марта, хороша я была, очень я была хороша, Марта, в девятнадцать лет, за две недели до двадцати?

Марта, шестидесятичетырехлетняя старуха, посмотрела на Беллу, шестидесятивосьмилетнюю старуху, и с увлечением кивнула, про себя отметив то, что она видела перед собой: шею Беллы, еще полную и красивую, несколько длиннее обычного типа шеи у гавайских женщин, похожую на колонну, на которой горделиво сидела голова с высоким лбом, голова предводительницы; отметила высоко-взбитые пышные волосы Беллы, отливавшие серебром старости, но все еще вьющиеся над чистыми тонкими бровями и темнокарими глазами. Она скользнула взглядом по еще крепкой груди сестры и по изумительно чистым линиям ее тела до самых ног в шелковых чулках и туфлях на высоких каблуках, маленьких полных ног с безукоризненным подъемом.

— О, когда женщина молода единственной молодостью жизни!— засмеялась Белла.—А Лилолило был принц. Я изучала каждую его черточку и каждое движение лица... впоследствии, в наши чудесные дни и ночи, у певучих вод, у навевающего дрему прибоя и в нагорных тропинках я узнала его славные мужественные глаза под прямыми черными бровями, этот нос, несомненный нос Камехамеха, все его лицо, вплоть до последней милой извилины губ. Нет губ красивее гавайских, Марта!

А тело! Это был вождь атлетов, от капризных, шаловливых волос до стальных лодыжек. На-днях я слышала, как одного из внуков Вильдера назвали «Принцем Гарварда». Боже, как же они назвали бы моего Лилолило, если бы поставили его рядом с этим Вильдером и всеми его гарвардскими товарищами!

Белла умолкла и глубоко перевела дух, стиснув свои изящные тонкие руки, опущенные на колени. Ее розовая кожа снова чуть-чуть заалелась, и глаза тепло засветились—она видела своего Лилолило.

— Ну, ты догадалась?—проговорила Белла, энергично пожав плечами и посмотрев сестре прямо в глаза.—Мы выехали из веселой Мана и продолжали нашу поездку по дорожкам из лавы в Кихоло: плавать, удить рыбу, веселиться и спать на теплом песке под пальмами; ловить арканом быков и гоняться за дикими баранами на горных лугах; проехали Кона, то в гору, то под гору, добрались до королевского дворца в Каилуа, до купален Кеаухоу, охотились в

Кеалакекуа, в Напоопоо, в Хонаунау. И всюду высыпал народ с полными руками цветов, плодов, рыбы, свинины, с лаской и песнями; они склоняли головы перед блестящим поездом, сыпали изумленные восклицания или распевали меле о старых, незабвенных временах.

Что тут сделаешь, сестра Марта? Ведь ты знаешь, каковы мы, гавайянки! Ты знаешь, какими мы были полвека назад! Лилолило был изумителен. Я была ветрена. А Лилолило мог вскружить голову какой угодно женщине! Я была вдвойне ветрена, ибо меня пришпоривала холодная, серая Нагала. Я понимала! Я ни минуты не сомневалась и не питала надежд! Развод в то время был вещью немыслимой. Жена Джорджа Кастнера никогда не могла стать королевой Гавайи, даже если бы предсказанные дядей Робертом революции были отсрочены, и если бы сам Лилолило сделался королем! Но я и не думала о троне. Я хотела быть только женой и подругой Лилолило—вот какого я царства хотела. Но я не заблуждалась и на этот счет. Невозможное—невозможно, и я не обольщала себя ни надеждами, ни ложными мечтаниями.

А кругом царила густая атмосфера любви. И какой же Лилолило был любовник! Он вечно короновал меня венками (леи), и гонцы его сломя голову скакали за этими леи в розовые сады Мана—ты их помнишь, должна помнить! Скакали пятьдесят миль по лаве и горным хребтам и в своих корзинках из коры бананов привозили цветы свежими еще, с росинками, дрожащими на них, когда их срывали; цветы сидели на длинных, чуть не в три фута стеблях, и крохотные розовые бутоны унизывали ветки, как розовые бусинки унизывают нитку неаполитанского коралла. И на пирушках (луау), на этих вечных, нескончаемых луау я обязана была сидеть на принадлежащей Лилолило Цыновке Макалоа, на цыновке принца, принадлежать только ему одному, как некое табу, для всех прочих запретное, разве что он сам снизойдет и позволит приблизиться ко мне. Я должна была полоскать свои пальцы в его собственной па-ваи холои (чаша для мытья рук) в теплой воде, в которой плавали пахучие лепестки цветов. Не смущаясь тем, что все видят его исключительную ласку, я должна была брать из его па паакаи (солонки) щепотки красной соли и ракушки (лиму), и орехи (кукуи), и перец (чили), и есть из его ипукаи (рыбный соусник) дерева коу, из которого ел сам великий Камехамеха во время поездок. Так же было и с остальными деликатесами, предназначавшимися исключительно для Лилолило и принцессы Нелу: и аке, и палу, и алаалаа.

Надо мной развевались его кахиле (опахала), и те, что прислуживали ему, были и моими прислужниками, и сам он был моим; от украшенных венком волос до ног, не чувствовавших под собой земли, я была женщина, которую он любил!

Опять Белла прикусила зубками нижнюю губу, уставилась на отдаленный морской горизонт и с усилием привела в порядок себя и свои воспоминания.

— И все мы летели вперед и вперед, через всю Кону, через весь Кау, из Хоопуло и Капуа в Хонуапо и Пуналуу—это была целая жизнь, спрессованная в две коротких недели! Только однажды цветет цветок! Это было время моего цветения—рядом с Лилолило, верхом на моем чудесном Хило, я была царицей, если не Гавайи, то Лилолило и любви! Он сравнивал меня с хорошеньким расцвеченным пузырьком на черной спине Левиафана; называл меня хрупкой росинкой на дымящемся гребне потока лавы; говорил, что я радуга, несущаяся на громовой туче...

Белла помолчала.

— Впрочем, не буду тебе больше рассказывать, что он говорил мне,—степенно объявила она;—скажу только, что слова его были, как пламя любви и красоты, что он сочинял для меня хула (пляски) и распевал их мне перед всеми по вечерам, под звездами, когда мы лежали на пиру на наших цыновках; и я лежала на цыновке Макалоа, принадлежавшей Лилолило.

Разумеется, мы поехали и на Килауеа [1])—и сон был уже близок к концу; и, разумеется, мы бросили в это волнующееся море лавы наши жертвы богине Огня—венки из маиле, и рыбу, и затверделую кашу (пойи), завернутую во влажные листья ти. И поехали дальше через всю Пуну, пировали, плясали и пели в Каохоуалеа и Камаили, и Опихикао, и плавали в прозрачных пресноводных прудах Калапана. И, наконец, морем приехали в Хило.

Это был конец. Конец, обоюдно признанный и безмолвный! Там ждала яхта. Мы запоздали на много дней, нас звали в Гонолулу, нас ожидало известие, что король совсем сделался пупуле (безумным), что это происки католических и протестантских миссионеров и что назревает ссора с Францией. И как они высадились в Кауайихаэ за две недели до этого, со смехом, цветами и песнями, так они и отплыли из Хило. Это было веселое расставание, полное смеха, шалостей, тысячи последних приветов, воспоминаний и шуток. Якорь был поднят под прощальную песню певцов Лилолило на шканцах, а мы сидели в больших каноэ и вельботах, наблюдая, как первый бриз

---

[1]) Килауеа — вулкан на острове Гавайи высотою 1230 *м*. Вершина представляет плоскую равнину с глубоким эллиптическим кратером, имеющим поперечник в 14000 английских футов. Дно кратера покрыто черной застывшей лавой, но местами лава расплавлена и образует знаменитые лавовые озера. Можно, не подвергаясь опасности, путешествовать по дну кратера и даже расположиться ночевать на берегу кипящего лавового озера.

раздул паруса корабля, и расстояние между ним и нами начало увеличиваться.

Среди всей этой суматохи и возбуждения стоявший у борта Лилолило, которому надо было сказать последнее прости и отпустить последнюю шутку очень многим, посмотрел прямо на меня. На голове его красовался мой илима леи, который я собственпоручно сплела для него и возложила ему на голову. Сидевшие в каноэ начали бросать на яхту своим возлюбленным венки. У меня не было ни ожиданий, ни надежды... и я все же надеялась, ничем не обнаруживая этого на своем лице, которое попрежнему хранило гордое, веселое выражение. Но Лилолило сделал то, чего я ожидала от него и в чем я была уверена с первой минуты. Честно и прямо глядя мне в глаза, он сорвал со своей головы мой прелестный илима леи и разорвал его пополам. Я видела, как его губы безмолвно сложились в одно только слово: пау (конец). Не сводя с меня глаз, он разорвал пополам обе половинки леи и бросил обрывки не мне, но за борт, в воду, разделявшую нас и ширившуюся с каждым мгновением. Пау! Все было кончено!..

Долго блуждала Белла рассеяпным взглядом по горизонту. Марта не посмела выразить сочувствие ни одним словом, и только глаза ее увлажнились.

— В этот день я поехала по старой, отвратительной дороге вдоль берега Хамакуа,—продолжала Белла голосом, который стал странно сухим и жестким.—Этот первый день был не очень труден. Я как бы закоченела; я слишком полна была еще пережитым чудом, чтобы сознавать, что нужно забыть его.

Эту ночь я провела в Лаупа Хоэхоэ. Знаешь, я ждала бессонной ночи, а вместо этого, сойдя с седла в оцепенении, проспала всю ночь напролет, как убитая!

Но следующий день! В ревущем ветре и проливном дожде! Как дуло, как лило! Дорога была положительно непроездная. Лошади наши падали не раз. Вначале ковбой, которого дал мне дядя Джон к лошадям, протестовал, но потом мужественно следовал за мной, покачивая головой и, я убеждена, ворча про себя, что я пупуле. Запасная лошадь была оставлена в Кукуи—в Хаэле. Мы, можно сказать, переплыли Грязевой Луг по реке Грязи. В Ваимеа ковбою пришлось взять свежую лошадь. Но Хило выдержал! С рассвета до полуночи я не слезала с седла, пока, наконец, дядя Джон в Килохана не взял меня с лошади прямо в свои руки и не понес в дом; он поднял женщин, уже улегшихся спать, они раздели меня и начали ломи, а он поил меня горячими пуншами, чем и довел меня до сна и забвения. Я, наверное, бредила и говорила во сне. Наверное, дядя Джон догадался! Но никогда никому, даже мне, он

не шепнул о том ни словечка! То, что он угадал, он замкнул в своей заветной комнате, в покое Наоми!

Смутно помню, что я в тот день бесновалась и проклинала судьбу, что мои волосы развились и хлестали меня мокрыми прядями вместе с бурей и ливнем; мои неуемные слезы примешивались к стихийному потоку; помню свои страстные вспышки, озлобление против полного несправедливостей мира; помню, как я колотила рукой о седло, говорила глупости ковбою из Килохана, вонзала шпоры в ребра бедного, чудесного Хило, от всего сердца моля судьбу, чтобы конь, обезумев от шпор, опрокинулся навзничь и раздавил меня своим телом или сбросил с дороги в пропасть, написав на моей палис (судьбе) слово пау, столь же бесповоротное, как пау, сорвавшееся с уст Лилолило в ту минуту, когда он рвал мой илима леи и бросал его в море...

Мой муж, Джордж, задержался в Гонолулу. Когда он вернулся в Нагала, я была уже там и ждала его. Он торжественно обнял меня, небрежно поцеловал в губы, преважно исследовал мой язык, остался недоволен моим внешним видом и состоянием здоровья и уложил в постель, прописав горячие вьюшки и дозу касторового масла. И я вошла опять в серую жизнь Нагала, снова вернулась в часовой механизм одним из его колес, и опять все завертелось попрежнему: безжалостно и неизбежно. Опять супруг Джордж вставал в половине пятого каждым утром, а в пять выходил из дому и садился верхом на коня. Опять пошла вечная каша, ужасный дешевый кофе и вареная говядина. Я стряпала, пекла и стирала. Вертела рукой идиотскую швейную машинку и шила свои дешевые холоку. Вечер за вечером в течение еще бесконечных столетий— целых двух лет—сидела я за столом против мужа до восьми часов вечера, чиня его дешевые носки и поношенное белье, в то время как он читал мне взятые у кого-нибудь на прочтение журналы—он был слишком бережлив, чтобы тратить на них свои деньги. Потом наставал час ложиться—надо было беречь керосин! Он заводил часы, записывал погоду в дневник, снимал башмаки, сначала правый, и ставил их вот этак рядышком в ногах кровати на своей стороне!

Но меня уже не тянуло к супругу Джорджу—это ведь было перед тем, как принцесса Лигуэ пригласила меня в свой поезд и дядя Джон дал мне коня. Как видишь, сестра Марта, ничего бы и не случилось, если бы дядя Джон отказался дать мне лошадь! Но я узнала любовь и Лилолило; какие же после этого могли быть у супруга Джорджа шансы завоевать мою любовь или уважение? И в течение двух лет в Нагала я жила, как мертвец, который какимто образом умудрялся ходить и разговаривать, печь и стирать, чинить носки и экономить керосин. Доктора потом говорили, что

Джодрджа погубило дрянное дешевое белье—ведь он всегда разъезжал в нем по нагорьям Нагала под пронизывающим ветром в зимние ливни.

Я не грустила, когда он умер. Я давно была грустна. Да и не обрадовалась. Радость умерла в Килохана в тот день, когда Лилолило бросил мой илима леи в море, и ноги мои с той поры не знали больше резвости. Лилолило скончался через месяц после супруга Джорджа. После разлуки в Хило я его больше не видела. Ну, да у меня много было после ухаживателей. Но я была в роде дяди Джона: любить я могла только раз. У дяди Джона осталась комната Наоми в Килохана. А в моем сердце я пятьдесят лет берегу комнату Лилолило. Ты первая, сестра Марта, кому я позволила войти в эту комнату...

Автомобиль обогнул дугу дорожки, и по лужайке к женщинам зашагал муж Марты. Прямой, худощавый, седоволосый, но с грациозной воинской осанкой, Роско Скэндуэлл принадлежал к «Большой Пятерке», распоряжавшейся судьбами всей Гавайи. Чистокровный хаоле, уроженец Новой Англии, он сперва расцеловался с Беллой, сердечно обняв ее по гавайскому обычаю. Окинув женщин быстрым взглядом, он понял, что у них был «бабий разговор» и что, несмотря на все волнения, все в порядке, все спокойно в сумеречной мудрости этих женщин.

— Едут Эльзи и молодежь: только что получил с парохода радиограмму!—объявил он, поцеловав жену.—Перед отъездом в Мауи они проведут с нами несколько дней.

— Я предполагала устроить тебя в розовой комнате, сестра Белла,—размышляла вслух Марта Скэндуэлл;—но там лучше поместить Эльзи, детей и нянек и весь их скарб, а ты займешь комнату королевы Эммы.

— Я помещалась в ней в последний раз и предпочту ее,—ответила Белла.

И Роско Скэндуэлл, прямой, худощавый между величавыми фигурами женщин, с достоинством обвил руками их пышные талии и направился с ними к дому.

Вайкики, Гавайи
6 июня 1916.

КОСТИ КАХЕКИЛИ

С верхушек гор Коолуа доносились порывы пассатного ветра, слегка колебавшего огромные листья бананов, шелестевшего в пальмах, порхавшего и с шопотом носившегося в кружевной листве деревьев альгаробы. Это было перемежающееся дыхание атмосферы—именно дыхание; вздохи томного гавайского предвечерья. А в промежутки между этими тихими вздохами воздух тяжелел и густел от бальзамического аромата деревьев и испарений жирной, полной жизни земли.

Много людей собралось перед низким домиком, похожим на бунгало; но только один из них спал. Остальные как бы ходили на цыпочках молчания. Позади дома грудной младенец заплакал, издавая тонкий писк, который трудно было унять даже наскоро сунутой грудью. Мать, стройная хапа-хаоле (полубелая), облеченная в свободные складки холоку из белого муслина, быстрой тенью мелькнула между банинными и дынными деревьями, проворно унося подальше крикливого младенца. Прочие женщины, хапа-хаоле и чистые туземки. с тревогой наблюдали ее бегство.

Перед домом на траве сидели на корточках десятка два гавайцев. Мускулистые, широкоплечие—туземные щеголи. Загорелые, с блестящими карими и черными глазами, с правильными чертами широких лиц, они казались такими же добродушными, веселыми и кроткими нравом, как сам гавайский климат. Странным образом противоречил этому свирепый вид их одеяний. За грубые кожаные наколенники засунуты были длинные ножи, рукоятки которых выдавались наружу. Каблуки украшены были испанскими шпорами с огромными колесами. У всех был вид бандитов, несмотря на несуразные венки из пахучей маиле, надетые сверху щегольских ковбойских шляп. У одного, выделявшегося плутоватой красотою фавна и с глазами фавна, пламенел кокетливо заткнутый за ухо двойной цветок гибиска. А над их головами, закрывая их, как зонтик, от солнца, простирался широкий балдахин, также горевший цветами, и из каждого цветка торчали пушистые листочки перистых пестиков. Издалека, заглушенный расстоянием, доносился топот стреноженных коней. У всех решительно глаза были напряженно устремлены на спящего, который лежал навзничь на цыновке лаухала под деревьями.

Рослые ребята были эти гавайские ковбои, но спящий был еще рослее! Судя по белоснежной бороде и таким же волосам, он был значительно старше их. Толстые запястья и огромные пальцы говорили о могучих членах под свободными штанами из ткани дунгари и бумазейной рубахой без пуговиц, открывавшей грудь, заросшую лохмами таких же белоснежных волос, как и на голове. Ширина и высота этой груди, ее упругость и пластичные, теперь отдыхавшие мускулы свидетельствовали об огромной силе человека. И ни загар, ни обветренность кожи не могли скрыть того, что это был насквозь хаоле— чистокровный белый.

Огромная белая борода, устремленная в небо, не подстригавшаяся цырюльником, поднималась и опускалась с каждым дыханием, а белоснежные усы отвесно топорщились, как иглы дикобраза. Внучка спящего, девочка лет четырнадцати, в рубахе (муумуу), сидела возле него на корточках и отгоняла мух перистым опахалом. На ее лице написаны были озабоченность, нервная настороженность и благоговение—словно она прислуживала богу.

И, действительно, спящий бородач Гардман Пуль был для нее, как и для многих других, богом: источником жизни, источником питания, кладезем мудрости, законодателем, улыбающимся благоволением и карающим черным громом—короче говоря, владыкой, который мог записать в свой счет четырнадцать живых и совершенно взрослых сыновей и дочерей, шестерых правнуков, а внуков столько, что ему трудно было счесть их даже в самые досужие минуты.

За пятьдесят один год до этого он высадился из открытой ладьи в Лаупа-Хоэхоэ на наветренном берегу Гавайи. Эта ладья была единственной лодкой, уцелевшей с китобойного судна «Черный Принц», из Нью-Бедфорда. Уроженец этого же места, он в двадцать лет, благодаря своей сокрушительной силе и ловкости, поступил вторым штурманом на погибшее впоследствии китобойное судно. Прибыв в Гонолулу и хорошенько оглядевшись, он первым делом женился на Калама Мамайиопили, потом поступил в лоцманы порта Гонолулу, после этого открыл трактир с меблированными комнатами и, наконец, после смерти отца Калама занялся скотоводством на унаследованных ею обширных пастбищах.

Свыше полувека жил он с гавайцами, и считалось, что он знает их язык лучше очень многих туземцев. Женившись на Калама, он взял за ней не только землю, но и звание вождя, и верноподданность, причитавшаяся ей от вассалов по ее происхождению, перешла на него. Вдобавок он сам обладал всеми природными качествами, необходимыми вождю: исполинским ростом, бесстрашием, гордостью, пылким нравом, не переносившим ни малейшего оскорбления или заносчивости; не боясь решительно ничего, он добивался преданности прочих

смертных не каким-нибудь презренным торгашеством, но самой широкой щедростью. Он знал гавайцев насквозь, знал их лучше, чем они себя знали, в совершенстве усвоил себе их полинезийскую велеречивость, знал их поверья, обычаи и обряды.

И вот, на семьдесят втором году жизни, проведя в седле целое утро, начавшееся в четыре часа, он лежал теперь в тени деревьев, предаваясь привычной и священной сиесте, которую ни один вассал не посмел и не позволил бы нарушить никому, даже из равных великому владыке. Только королю предоставлялось это право— и король также убедился в свое время, что нарушить сиесту Гардмана Пуля значило разбудить человека, способного сказать с плеча весьма неприятную правду, а ее, как известно, не любят выслушивать даже короли.

Солнце продолжало палить. В отдалении слышался конский топот. Умирающий пассат вздыхал и жужжал, нарушая промежутки покоя. Еще тяжелее стал аромат цветов. Женщина понесла за дом успокоившегося младенца. Деревья сложили свои листья и замерли в обморочном покое теплого воздуха. Девочка, еле дышавшая и придавленная огромной важностью своей задачи, отгоняла мух, и два десятка ковбоев напряженно и безмолвно наблюдали спящего...

Гардман Пуль шевельнулся, но не вздохнул глубоко, как обыкновенно. Не поднялись и белые длинные усы. Под бородой отдулись щеки. Поднялись веки, открыв голубые глаза, живые и глубокие, нисколько не сонные; правая рука потянулась к лежавшей рядом недокуренной трубке, а левая—к спичкам.

— Принеси джина с молоком!—приказал он по-гавайски девочке, затрясшейся при его пробуждении.

Он закурил трубку и не обращал ни малейшего внимания на ожидавших вассалов, пока стакан молока с джином не был принесен и выпит.

— Ну?—отрывисто спросил он. Двадцать физиономий расплылись в улыбки, двадцать пар черных глаз заблестели приветственно, а он вытер оставшиеся на усах капли джина с молоком.—Чего вы тут околачиваетесь? Ступайте сюда!

Двадцать гигантов, в большинстве молодых, поднялись и с великим звоном и бренчанием шпор и цепочек на шпорах зашагали к нему. Они стали вокруг него, застенчиво прячась друг за друга и конфузливо улыбаясь. Правду сказать, для них Гардман Пуль был больше, чем вождь. Он был их старший брат или отец, или патриарх; со всеми ими он состоял в родстве так или иначе, по гавайским обычаям: через жену и многочисленные браки своих детей и внуков. Стоило ему нахмуриться—и они все терялись, его гнев приводил их в ужас, приказ его мог бросить их на верную смерть; и все же никому из них

и в голову не пришло бы обратиться к нему иначе, чем просто по имени, и это имя, «Гардман», «Крутой Человек», по-гавайски выговаривалось: Канака Оолеа.

По кивку Гардмана они попрежнему уселись на траву и с заискивающими улыбками ждали его распоряжений.

— Что вам нужно?—спросил он по-гавайски с внезапностью и суровостью—напускной, как они знали.

Они шире растянули рты в улыбки и задвигали широкими плечами и мощными торсами, как огромные щенята. Гардман Пуль выделил из них одного.

— Ну, Илипопои, что тебе нужно?

— Десять долларов, Канака Оолеа.

— Десять долларов!—вскричал Пуль в притворном ужасе при упоминании столь огромной суммы.—Не собираешься ли ты взять вторую жену? Вспомни, чему учат миссионеры! По одной жене, Илипопои, по одной жене! Потому что тот, у которого много жен, наверное попадет в ад!

Хихикание и поблескивание смеющихся глаз приветствовали шутку.

— Нет, Канака Оолеа,—был ответ.—Сатане известно, что и с одной женой мне трудно добывать кай-кай для одной жены и ее многочисленных родичей.

— Кай-кай?—повторил Пуль завезенное из Китая обозначение провианта, которым гавайцы заменили их собственное слово паина.— Разве вы нынче не получили кай-кай?

— Да, Канака Оолеа,—отвечал старый, сморщенный туземец, только-что присоединившийся к группе, выйдя из дома.—Все они получили кай-кай на кухне, и вдоволь; они ели, как отбившиеся лошади, приведенные с лавы.

— А что тебе надо, Кумухана?—обратился Пуль к старику, и в то же время сделал знак девочке, чтобы она отгоняла мух с другой стороны владыки.

— Двенадцать долларов!—объявил Кумухана.—Я хочу купить осла и подержанное седло с уздечкой. Мои ноги ослабли и не носят меня.

— Ты подожди!—приказал владыка—хаоле.—Я с тобой поговорю об этом деле и о других важных делах, когда окончу с прочими и они уйдут!

Сморщенный старик кивнул и стал закуривать трубку.

— Кай-кай на кухне была хороша!—продолжал Илипопои, облизнувшись.—Пойи была первый сорт, свинина жирная, лососина не воняла, рыба очень свежая и обильная, хотя нужно сказать, что опихи (маленькие ракушки, гнездящиеся на камнях) была пересолена, и потому жестка. Опихи никогда не следует солить! Сколько раз

говорил я тебе, Канака Оолеа, что опихи нельзя солить! Я битком набит хорошей кай-кай. Чрево мое отяжелело от него. Но нет легкости моему сердцу, ибо нет кай-кай в моем доме, где у меня жена, и тетка второй жены твоего четвертого сына, и моя дочь-малютка, и старая мать моей жены, и приемное дитя старой матери моей жены—калека, и сестра моей жены, которая тоже живет с нами со своими тремя детьми, ибо ее отец скончался от злой водянки...

— Пять долларов отсрочат вам похороны на день или два?—оборвал Пуль эти излияния.

— Да, Канака Оолеа, и даже можно будет купить моей жене новый гребень и для меня немножко табаку!

Из кошелька, выпутого из кармана штанов, Гардман Пуль выудил золотую монету и ловко метнул ее в протянутую руку.

Холостяку, которому нужны были шесть долларов на новые гетры, на табак и на шпоры, дано было три доллара; столько же другому, которому нужна была шляпа; а третьему, скромно попросившему два доллара, дано было четыре с присовокуплением цветистого комплимента искусству, с которым он заарканил на горах одичавшего быка. Все знали, что Гардман, по общему правилу, сокращает претензии вдвое, и потому удваивали их размеры.

Гардман Пуль знал это, и про себя улыбался. Такова уж была его манера обращаться с многочисленными подчиненными, и она нисколько не подрывала их уважения к нему.

— А тебе, Ахуху?—спросил он туземца, имя которого означало—«Ядовитое дерево».

— И на пару штанов!—заключил Ахуху список своих нужд.—Я очень много и далеко ездил за твоей скотиной, Канака Оолеа, и там, где мои дунгари (штаны) терлись о седло, ничего не осталось от моих дунгари! Нехорошо, когда говорят, что ковбой Канаки Оолеа, к тому же еще родственник сводной сестры жены Канаки Оолеа, стыдится показаться в люди и пятится задом от всех, кто видит его!

— Вот тебе на дюжину пар дунгари, Ахуху!—просиял Гардман Пуль, вручив туземцу деньги.—Я горжусь тем, что моя семья хранит мою гордость. А потом, Ахуху, из этой дюжины пар дунгари ты одну пару дай мне, иначе и мне придется пятиться задом, потому что и мои дунгари тоже износились, и мне тоже стыдно!

Бурный смех был ответом на эту последнюю выходку вождя—хаоле, и вся группа взрослых детей направилась к поджидавшим их коням, все, за исключением старого, сморщенного Кумухана, которому приказано было остаться.

Целых пять минут сидели они в полном молчании. Затем Гардман Пуль приказал девочке принести еще стакан джина с молоком, и когда она это сделала, он кивнул ей, чтобы она передала стакан

Кумахапа. Стакан не отрывался от губ туземца, пока не был опорожнен, после чего старик громко вздохнул и причмокнул губами.

— Много ава выпил я на своем веку,—задумчиво сказал он;— но ведь ава—напиток простого человека, а напиток хаоле—напиток вождей. В ава нет огня и силы спирта, в ава нет покалыванья и кусанья, которое очень приятно, так же приятно, как приятно жить.

Гардман Пуль улыбнулся и кивнул в знак согласия, а старый Кумухана продолжал:

— Тепла в ней нет; спирт же обогревает чрево и душу. Он согревает сердце. И душа, и сердце стынут у человека, когда он стар.

— А ты стар!—согласился Пуль;—почти так же, как я.

Кумухана покачал головой и пробормотал:

— Если бы я не был старее тебя, то я был бы так же молод, как ты.

— Мне семьдесят один!—заметил Пуль.

— Я не знаю этого счета,—был ответ.—Что случилось, когда ты родился?

— Давай сообразим,—начал рассчитывать Пуль.—Теперь у нас 1880-й, вычти семьдесят один, и останется девять. Я родился в 1809 году. Это год, в котором скончался Келиимакаи, год, когда шотландец Арчибальд Кэмбель жил в Гонолулу.

— В таком случае я постарше тебя, Канака Оолеа! Я хорошо помню шотландца; я в то время играл среди соломенных домов Гонолулу и уже ездил верхом на бурунных досках в прибое в Вайкики. Я мог бы показать тебе место, где стоял соломенный дом шотландца! Там находится теперь Матросская Миссия. И я знаю, когда я родился. Мне не раз говорила об этом моя бабушка. Я родился, когда Мадаме Пеле (богиня огня, она же богиня вулканов) разгневалась на жителей Пайэа; они перестали приносить ей в жертву рыбу из своего рыбного пруда, и она наслала поток лавы с Хуулалаи и засыпала их пруд. И рыбный прудок Пайэа погиб навеки. Вот когда я родился!

— Это было в 1801 году, когда Джемс Бойд строил корабли для Камехамехи в Хило,—продолжал Пуль;—стало быть, тебе семьдесят девять лет, и ты восемью годами старше меня. Ты очень стар!

— Да, Канака Оолеа,—пробормотал Кумухана, пытаясь гордо выпятить впалую грудь.

— Ты очень мудр!

— Да, Канака Оолеа.

— И ты знаешь много тайн, ведомых только старцам!

— Да, Канака Оолеа.

— И стало быть, ты знаешь...—Гардман Пуль сделал паузу, чтобы сильнее загипнотизировать старика упорным взглядом своих

выцветших синих глаз.—Говорят, кости Кахекили взяты из тайника, и в настоящее время покоятся в Королевском Мавзолее. А мне шепнули, что только ты один из всех знаешь правду!

— И знаю!—был гордый ответ.—Один я знаю.

— Ну, что же, лежат они там?

— Кахекили был алии (верховный вождь). По прямой линии от него происходит твоя жена Калама. Она также алии.—Старик помолчал, глубокомысленно сжав свои губы.—Я принадлежу ей, как и весь мой род принадлежал ее роду. Только она может повелевать великими таинствами, известными мне! Она мудра, слишком мудра для того, чтобы приказать мне выдать эту тайну. Тебе, о, Канака Оолеа, я не отвечаю «да», но не отвечаю и «нет». Это тайна алии, которой не знают сами алии.

— Хорошо, Кумухана!—отвечал Гардман Пуль.—Но ты не забывай, что я также алии—и чего не посмела спросить моя славная Калама, то спрошу я! Я пошлю за нею сейчас же и прикажу ей повелеть тебе ответить! Но это будет глупо, и вдвойне глупо с твоей стороны. Лучше расскажи тайну мне, и она ничего не узнает! Уста женщин выливают все, что втекает в ухо—так уж они созданы! Я мужчина, а мужчина создан иначе. Ты хорошо знаешь, что мои губы так же плотно замыкают тайну, как спрут присасывается к соленой скале. Если ты не скажешь мне, так скажешь Каламе и мне, и уста ее начнут говорить, и в скором времени последний малахини (новичок, чужак) будет знать все! Будет знать то, что, если скажешь мне одному, знали бы только мы с тобой!

Долго сидел Кумухана в полном молчании, обсуждая про себя приведенный довод и не видя возможности уклониться от его неумолимой логики.

— Велика твоя мудрость, хаоле!—промолвил он, наконец.

— Да? Или нет?—Гардман Пуль приставал, как с ножом к горлу.

Кумухана огляделся кругом, потом остановил взор на девчонке, отгонявшей мух.

— Уходи!—приказл ей Пуль.—И не возвращайся, пока я не хлопну в ладоши.

Больше Гардман Пуль не промолвил ни слова, даже когда девочка скрылась в доме; но на его лице был написан неумолимый, как железо, вопрос: да, или нет?

Опять Кумухана осмотрелся кругом и взглянул даже вверх, на ветви дерева, словно боялся шпиона. Губы у него пересохли. Он облизывал их языком. Дважды пытался заговорить—и вместо слов издавал нечленораздельный хрип. И, наконец, понурив голову, он прошептал так тихо и так торжественно, что Гардману Пулю пришлось приблизить ухо, чтобы услышать: «Нет».

Пуль хлопнул в ладоши, и из дома опрометью выскочила трепещущая девочка.

— Принеси молока с джином старому Кумухана!—скомандовал Пуль. И обратился к Кумухана:—Теперь рассказывай всю историю!

— Погоди!—был ответ.—Погоди, пока эта маленькая вахине придет и уйдет!

Девочка ушла, джин с молоком отправился путем, предназначенным для джина и молока, когда они смешаны в одно, а Гардман Пуль ждал рассказа, не понукая больше старика. Кумухана положил руку на грудь и глухо покашливал, как бы прося поощрения; наконец, заговорил:

— В стародавние дни страшное это было дело—смерть великого алии! Кахекили был великий алии. Поживи еще немного, он был бы царем. Кто знает? Я был тогда молодой человек, еще не женатый. Ты знаешь, Канака, Оолеа, когда скончался Кахекили и можешь высчитать, сколько мне было тогда лет. Он скончался, когда губернатор Боки открыл «Блонд-Отель» в Гонолулу. Ты ведь слыхал?

— Я в ту пору находился на наветренной стороне Гавайи,—отвечал Пуль.—Но я слышал. Боки построил спиртоочистительный завод и снимал в аренду земли Маноа для разведения сахара, а Каахуману, в то время бывший правителем, отменил аренду, повырывал с корнями сахарный тростник и насажал картофеля. Боки разгневался, стал готовиться к войне, собрал своих бойцов вместе с десятком дезертиров с китобойного судна; достал пять медных пушек из Вайкики...

— Вот в эту самую пору и умер Кахекили!—быстро подхватил Кумухана.—Ты очень мудр! Многое из старых времен знаешь ты лучше, чем мы, старые канаки!

— Это было в 1829 году,—благодушно продолжал Пуль.—Тебе было тогда двадцать восемь лет, а мне двадцать, и я только-что пристал к берегу после пожара «Черного Принца».

— Мне было двадцать восемь,—подхватил Кумухана,—это верно! Я очень хорошо помню медные пушки Боки из Вайкики. В ту пору Кахекили и скончался в Вайкики. Люди до сих пор думают, будто его кости были отвезены в Хале-о-Кеауе (мавзолей) в Хонаунау, в Кона...

— И через много времени после этого были перевезены в Королевский Мавзолей сюда, в Гонолулу,—закончил Пуль.

— И есть еще люди, Канака Оолеа, которые и по сей день полагают, будто королева Алиса запрятала их с остальными костями своих предков в огромных жбанах в своей табу—запретной комнате. Все это неправда! Я хорошо знаю. Священные кости Кахекили исчезли навсегда! Они нигде не покоятся! Они перестали существовать! Великое число кона (ветров) посеребрило прибой Вайкики с той поры,

как последний смертный глядел на последнего Кахекили! Я один остался в живых из всех этих людей. Я последний человек—и не рад тому, что остался последним...

Ты подумай: я был юноша, и сердце мое горело, как накаленная добела лава, тоской по Малиа—она была среди домочадцев Кахекили. Горело по ней и сердце Анапуни, но сердце у него было черное, как ты увидишь! В ту ночь, в ночь кончины Кахекили, мы с Анапуни были на попойке. Анапуни и я были простолюдинами, как все канаки и вахине, пировавшие с простыми матросами и людьми с китобойного судна. Мы пьянствовали на цыновках у взморья Вайкики возле старого хейяу (храма). В ту ночь я узнал, сколько могут выпить матросы хаоле. Что касается нас, канаков, то наши головы разгорячились, были легки и трещали как сухие тыквы от виски и рома.

Дело было за полночь—я хорошо это помню, когда я увидел Малиа, никогда не показывавшуюся на попойках; она направлялась к нам по мокрому песку взморья. Целый ад загорелся в моей душе, когда я заметил, как смотрит на нее Анапуни—он был к ней ближе всех, находясь в кругу пьянствовавших напротив меня! О, я знаю, что горели во мне виски и ром, и молодость; но в то мгновение мой безумный ум решил, что, если она заговорит с ним и с ним первым пойдет танцовать, я стисну его обеими руками за горло и сброшу вниз, в прибой, шумевший возле нас, потоплю, задушу, уничтожу препятствие, стоявшее между мною и ею! Имей в виду—она никак не могла выбрать между нами, и только он давно уже мешал ей стать моей!

Это была молодая женщина изумительной красоты. И дивно хороша была она, когда шла к нам по песку в сиянии луны. Даже матросы хаоле умолкли, и, разинув рты, уставились на нее! Какая у нее была походка! Я слышал, о, Канака Оолеа, твои рассказы о женщине Елене, из-за которой загорелась Троянская война. Так скажу тебе, что из-за Малиа куда больше мужчин штурмовали бы стены ада, чем сколько их бросилось на старый городишко, о котором у вас в обычае так много и долго говорить, когда вы выпьете чересчур мало молока и чересчур много джина!

Ее походка! И эта луна, мягкое мерцание медуз в прибое, как сияние газовых ламп у рампы, которую я видел в новом театре хаоле. Шла не девушка, а женщина. Она не порхала, как волны и струйки на тихом, закрытом оградами взморье,—нет, она шла величественно, царственно, как силы природы, как текущая лава, катящаяся по склонам Кау к морю, как движение волн, поднятых морским пассатом, как вздымание и опускание четырех великих приливов года, наверно, отдающихся музыкой в ушах божественной вечности,—музыкой, недоступной недолговечному, смертному человеку!

Анапуни был к ней ближе прочих. Но смотрела она на меня. Слыхал ли ты, о, Канака Оолеа, зов—беззвучный, но более громкий, чем трубы архангелов? Так взывала она ко мне через головы пьяниц! Я наполовину поднялся, ибо не совсем еще напился; но Анапуни схватил ее и привлек к себе, а я откинулся назад, уперся на локоть, наблюдал их и бесновался. Он хотел усадить ее возле себя, и я ждал. Если бы она села и затем танцовала с ним, то еще до утра Анапуни был бы мертв—я задушил бы его и утопил в мелком прибое!

Не правда ли, странная штука любовь, о, Канака Оолеа? Но нет, ничего здесь нет странного! Так и должно быть в пору юности человека, иначе род человеческий не мог бы продолжаться.

— Вот почему влечение к женщине сильнее желания жизни,— вставил Пуль.—Иначе не было бы ни мужчин, ни женщин!

— Да!—подтвердил Кумухана.—Но много лет прошло с той поры, как во мне угасла последняя искра этого пламени. Я вспоминаю ее, как человек вспоминает стародавний восход солнца: было, и нет. Так человек стареет, остывает и пьет джин не ради безумия, но ради тепла. А молоко питательно!..

Но Малиа не села возле Анапуни. Я помню, что глаза у нее дико блуждали, волосы были распущены и развевались, когда она нагнулась и что-то шепнула ему на ухо. Ее волосы закрыли его, и сердце мое стукнуло в ребра, и голова закружилась так, что я как бы ослеп. И если бы через минуту она не пошла ко мне, то я пересек бы круг и схватил ее!

Этому не суждено было случиться. Ты помнишь вождя Копукалани? Он подошел к кругу. Лицо его почернело от гнева. Он схватил Малиа не за руку, нет, за волосы схватил он ее, потащил за собой и скрылся. И до сих пор я не могу понять случившегося! Я только-что готов был убить за нее Анапуни—и не поднял ни руки, ни возмущенного голоса, когда Копукалани потащил ее прочь за волосы. Не сделал этого и Анапуни. Разумеется, мы были простолюдины, а он—вождь! Это так, но почему же два простолюдина, обезумевшие от желания женщины, которое сильнее в них желания жизни, позволяют вождю, пускай даже высшему в крае, тащить эту женщину за волосы? Как мы, двое мужчин, желавшие ее больше жизни, не убили вождя на месте? Это—нечто, посильнее жизни, сильнее женщины; но что это такое? И почему?

— Я тебе отвечу!—сказал Гардман Пуль.—Это потому, что в большинстве люди глупцы, и, стало быть, о них должны заботиться люди, которые умнее их. Вот тайна предводительства! Во всем мире вожди командуют людьми. Во всем мире, сколько ни существуют люди, существовали вожди, которым приходилось говорить этому множеству глупцов: «Сделайте это, не делайте того-то. Работайте и

работайте, как мы показываем вам, иначе брюхо у вас будет пусто, и вы погибнете. Повинуйтесь законам, которые мы сочинили для вас, иначе вы будете как звери, и не будет вам места на свете. Вы бы не уцелели, если бы не вожди, которые командовали вами и устраивали дела ваших отцов. Не было бы у вас семьи, если бы мы вами не управляли. Вы должны вести себя смирно, благопристойно, сморкать нос. Вы должны рано ложиться вечерами и по утрам рано вставать на работу, если хотите иметь постели для сна, а не гнездиться на деревьях, как глупые птицы. Сейчас время сажать ямс— и вы должны сажать его. И сейчас, теперь, сегодня, а не то, чтобы плясать и гулять нынче, а сажать ямс завтра или в какой-нибудь другой из множества ваших ленивых дней! Вы не должны убивать друг друга и должны оставлять в покое жен ваших соседей. Такова жизнь для вас! Ибо вы зараз обдумываете только один день, а мы, ваши вожди, обдумываем за вас все дни и много дней вперед!»

— Как облако на горной вершине, спускающееся сверху и обволакивающее человека, а он смутно распознает облако, так и твоя мудрость для меня, Канака Оолеа!—бормотал Кумухана.—Грустно все же, что мне суждено было родиться простолюдином и все дни моей жизни прожить простолюдином...

— Это потому, что ты сам был прост!—уверял Гардман Пуль.— Когда человек рождается простым, а по природе не прост, то он вырастает и сбрасывает вождя, и сам делается вождем над вождями! Почему ты не управляешь моим ранчо с его многими тысячами голов скота, не меняешь пастбищ с приходом дождей, не ловишь быков, не продаешь мяса на парусные суда и на военные корабли и людям, живущим в домах Гонолулу, не споришь с адвокатами, не помогаешь составлять законы и не говоришь даже королю, что ему следует делать, а что делать опасно? Почему никто другой не делает того, что я делаю? Кто-нибудь из всех людей, работающих на меня, кормящихся из моих рук и заставляющих думать за них, меня, работающего усерднее кого-либо из них, меня, который ест не больше любого из них и который, как и все они, может спать зараз только на одной цыновке лаухала?

— Вот я и выбрался из облака, Канака Оолеа!—проговорил Кумухана, и физиономия его заметно просияла.—Теперь я понимаю! Многое стало ясным! Во все мои долгие годы алии, под которыми я родился, думали за меня! Проголодавшись, я всегда приходил к ним за пропитанием, как прихожу теперь на твою кухню. Много людей ест в твоей кухне, и в дни пиров ты для них убиваешь жирных тельцов. Вот почему и нынче я пришел к тебе стариком, труд которого не стоит и шиллинга в неделю, а прошу у тебя двенадцать

долларов на покупку осла и подержанного седла с уздечкой! Вот почему мы, дважды десять глупцов, под этими самыми деревьями полчаса тому назад просили у тебя кто доллар, кто два, кто четыре, кто пять, кто десять, кто двенадцать. Мы—беспечные люди, дети тех беспечных дней, когда никто не додумался бы сажать во-время ямс, если бы наши алии не заставили нас; люди, которые не хотели и одного дня подумать за себя, а теперь, когда мы состарились и никуда не годимся, знаем, что наш алии надумает кай-кай для нашего брюха и соломенную кровлю, чтобы под ней приютиться...

Гардман Пуль кивнул и напомнил:

— Ну, что же кости Кахекили? Вождь Конукалани оттащил прочь Малиа за волосы, а вы с Анапуни сидели смирно в кругу пьяниц. Что же такое шепнула Малиа на ухо Анапуни, когда наклонилась над ним, закрыв ему лицо своими волосами?

— Что Кахекили скончался. Вот что она шепнула Анапуни! Что Кахекили только-что умер, и что вожди, приказав всем домочадцам оставаться в доме, обсуждают вопрос, как распорядиться с его костями и плотью, прежде чем весть о его смерти распространится. Что верховный жрец Эоппо переубедил всех, и она, Малиа, подслушала ни много, ни мало, как то, что меня и Анапуни избрали в жертвы, которые должны будут отправиться одним путем с Кахекили и его костями и ходить за ним во веки веков в мире теней!

— Моэпуу—человеческое жертвоприношение!—вставил Пуль.— А между тем прошло уже девять лет с прибытия миссионеров!

— А за год до их прибытия идолов посбрасывали с подножий и нарушили все табу!—добавил Кумухана.—Но вожди все еще держались старого обычая, обычая хунакеле, и прятали кости алии в таком месте, чтобы ни один человек не мог их найти, не мог делать рыболовных крючков из их челюстей или наконечников для стрел из длинных костей. Смотри, о, Канака Оолеа!

Старик высунул язык, и Пуль, к своему изумлению, увидел, что поверхность этого чувствительного органа была от корня до кончика покрыта чрезвычайно сложной татуировкой.

— Это было сделано через несколько лет после прибытия миссионеров, когда скончался Кеопуолани. Мало того, я выбил у себя четыре передних зуба и выжег дужки на всем моем теле. И всякого, кто в эту ночь осмеливался высунуть нос за дверь, убивали вожди! Нельзя было зажечь огня в доме, не слышно были ни шума, ни шороха. Даже собак и свиней, поднимавших шум, убивали, и даже всем кораблям хаоле в порту запретили бить в колокола этой ночью! Страшная вещь была в те дни смерть алии!

Но вернемся к ночи, в которую скончался Кахекили. Мы продолжали сидеть в кругу пьяниц после того, как Конукалани утащил

Малиа за волосы. Некоторые из матросов хаоле начали, было, ворчать, но в те дни их было мало в стране, а канаков было много. И больше Малиа не видел никто из живых. Копукалани знал, как ее убили, но никому не рассказывал. А в последовавшие годы разве смели задавать ему такие вопросы простолюдины, в роде меня и Анапуни?

Но она все рассказала Анапуни перед тем, как ее оттащили. А у Анапуни было черное сердце. Мне он не сказал ничего! Он стоил того убийства, которое я замышлял над ним! В кругу сидел исполин гарпунщик, пение которого было подобно мычанию быка; я загляделся на него, покуда он ревел какую-то морскую песню, и когда бросил взгляд через круг на Анапуни, увидел: Анапуни исчез. Он бежал в высокие горы, где мог прятаться с птицеловами недели или месяцы. Это я узнал впоследствии.

А что же я? Я сидел устыдившись своего желания женщины, которое оказалось слабее моего рабского повиновения вождю. И топил свой стыд в больших кружках рома и виски, пока все вокруг меня не пошло ходуном, и в голове, и снаружи, пока Южный Крест не заплясал хула на небе, горы Коолау не заклапялись своими царственными вершинами Вайкики, а прибой Вайкики не поцеловал их в лоб. А гигант гарпунщик продолжал реветь—это был последний звук, который я услышал, ибо я откинулся навзничь на цыновку лаухала и на время как бы умер.

Когда я проснулся, чуть-чуть серел рассвет. Чья-то голая нога пнула меня в ребро. После невероятного количества пойла, которое я проглотил, удар пяткой показался мне очень неприятным. Канаки и вахине с попойки ушли по домам. Я один оставался среди спящих матросов, и огромный гарпунщик храпел, как кашалот, положив голову на мои ноги.

Меня еще несколько раз пнули пяткой; я сел, меня затошнило. Но тот, который пнул меня, находился в великом нетерпении и спрашивал, куда девался Анапуни. Я не знал этого, и вот меня опять толкали—на этот раз с обеих сторон—два нетерпеливых человека за то, что я не знал. Не знал я и того, что Кахекили скончался. Но я догадывался, что случилось нечто серьезное, ибо люди, толкавшие меня, были вожди, люди с большой властью. Один был Аимоку из Канече; другой—Хумухуму из Маноа.

Они приказали мне итти с ними, и обращались со мной очень грубо. Когда я поднялся, голова гарпунщика скатилась с моих ног и с края цыновки на песок. Он хрюкнул, как свинья, раскрыл рот, и весь его язык вывалился изо рта на песок. Он не втянул его обратно. Впервые я тут узнал, как длинен язык человека! Я видел песок на этом языке, и меня стошнило вторично. О, как ужасен день после ночи

попойки! Я весь горел, внутри у меня все пересохло и пылало, как лава, как язык гарпунщика, сухой и вывалянный в песке. Я нагнулся напиться из питьевого кокосового ореха, но Аимоку выбил его из моих трясущихся пальцев, а Хумухуму ударил меня по затылку тыльной частью руки.

Они шли передо мной бок-о-бок с торжественными и мрачными лицами, а я плелся за ними следом. Во рту было дурно от выпитого, голова страшно болела, и я готов был отрезать свою правую руку за глоток, за один глоток воды. Если бы я получил его, то, я знаю, он закипел бы у меня в утробе, как вода, пролитая на раскаленные камни очага. О, как страшен день после попойки! Жизнь многих людей, умерших молодыми, прошла передо мной с той поры, как я в последний раз был в состоянии выпить такое великое количество хмельного. Молодость не знает меры!

Мы шли, и я начал понимать, что скончался какой-нибудь алии. Не видно было ни одного канака, спящего на песке или крадущегося домой после ночи любви; ни одной каноэ не видно было на ранней ловле, когда рыба так хорошо идет на приманку со сменой прилива. Когда мы проходили мимо хойяу (храма), к которому великий Камехамеха причаливал свои бриги и шхуны, я увидел, что с большой двойной каноэ Кахекили сняты навесы из цыновок и что, несмотря на отлив, много людей тащат ее по песку в воду. Но все эти люди были вожди. И хотя у меня все плыло перед глазами, и голова кружилась, и нутро горело жаждой, я догадался, что скончавшийся алии был Кахекили. Ибо он был стар, и всего скорее можно было ожидать именно его смерти.

— Я слышал, что его смерть в большей степени, чем вмешательство Кекуаноа, помешала восстанию губернатора Боки!—заметил Гардман Пуль.

— Именно смерть Кахекили помешала ему,—подтвердил Кумухана.—Все простолюдины, когда в эту ночь разнеслась весть о его смерти, укрылись в свои деревянные дома, не зажигали ни огня, ни трубок, не дышали громко, и поэтому в своем доме они были табу от избрания в жертвы. Бежали также все бойцы губернатора Боки и дезертиры хаоле с кораблей, так что медные пушки остались без прислуги, а его кучка вождей сама по себе ничего не могла сделать.

Аимоку и Хумухуму посадили меня на песок в сторонке от огромной двойной каноэ, которую спускали на воду. И когда она поплыла, все вожди почувствовали жажду, ибо они не привыкли к такой работе; мне было приказано влезть на пальмы возле навесов для челноков и сбрасывать с них питьевые кокосы. Вожди напились и освежились, но мне они не позволили напиться.

Потом они перенесли Кахекили из его дома в каноэ в гробу хаоле, новеньком, просмоленном и лакированном. Его мастерил королевский плотник, полагавший, что он делает лодку, которая не должна протекать. Гроб был сплошной, и над лицом Кахекили оставлено было только тонкое стекло. Вожди не привинтили наружной доски, чтобы закрыть это стекло. Может быть, они не знали устройства гробов хаоле; во всяком случае, как ты видишь, мне оказалось на руку то, что они этого не знали.

«Тут только один моэпуу!»—проговорил жрец Эоппо, глядя на меня, когда я сел на гроб на дне пироги. Вожди уже гребли, выплывая за рифы.

«Другой убежал и спрятался!—ответил Аимоку.—Это единственный, которого нам удалось достать».

И тогда я понял. Я понял все! Меня должны были принести в жертву! Анапуни был избран другой жертвой! Вот о чем шепнула Малиа Анапуни на попойке. И ее утащили, прежде чем она успела предупредить меня. А он, с его злым сердцем, не сказал мне этого.

«Их должно быть два!—отвечал Эоппо.—Таков закон!»

Аимоку перестал грести и поглядел на берег, словно хотел вернуться и найти другую жертву. Но некоторые вожди стали возражать, доказывали, что все простолюдины ушли в горы или лежат табу в своих домах, и что могут пройти дни, прежде чем найдут второго. В конце концов Эоппо сдался, хотя время от времени продолжал ворчать, что закон требует двух моэпуу.

Мы гребли. Проехали Алмазный Мыс, поровнялись с Мысом Коко, пока не выплыли на середину пролива Молокаи. Здесь разгулялась волна, хотя пассатный ветер дул очень слабо. Вожди перестали грести, и только рулевые держали челны носами к ветру и к волне. И прежде чем двинуться дальше, они вскрыли несколько кокосов и стали пить.

«Не беда, что я выбран в моэпуу,—обратился я к Хумухуму,— но я хотел бы напиться перед тем, как меня убьют!» Я не получил питья. Но я говорил правду! Я слишком много выпил виски и рому, чтобы бояться смерти. По крайней мере, у меня исчез бы отвратительный вкус во рту, перестала бы болеть голова, перестали бы гореть внутренности, как раскаленный песок! И, кажется, больше всего я страдал от мысли о языке гарпунщика, вывалившемся на песок и покрытом песком. О, Канака Оолеа, какие скоты молодые люди, когда пьют! Только состарившись, подобно мне и тебе, обуздывают они свою жажду и пьют умеренно, как ты и я.

— Так уж нам приходится!—возразил Гардман Пуль.—Старые желудки изнеживаются, становятся тонки и слабы. И мы пьем умеренно, ибо не смеем пить больше. Мы мудры; но горька эта мудрость!

— Жрец Эоппо спел длинную меле о матери Кахекили и родительнице этой матери, и обо всех матерях до самого начала времен,—продолжал Кумухана.—И мне казалось, что я умру от пожирающего меня жара, прежде чем он окончит. Он стал взывать ко всем богам нижней вселенной, и средней вселенной, и верхней вселенной, умоляя их холить и лелеять покойного алии и исполнить заклятия—и страшные же были заклятия!—которые он наложил на всех людей в будущем, которые вздумали бы трогать кости Кахекили и забавляться, убивая при их помощи гадов.

Знаешь, Канака Оолеа, жрец говорил совсем на другом языке, и я узнал этот язык—язык жрецов, древний язык. Мауи он называл не Мауи, но Мауи-Тики-Тики и Мауи-По-Тики. А Хину, божественную мать Мауи, он называл Ипа. А божественного отца Мауи он называл то Акалана, а то Капалоа.

Странно, как умирающий от жажды человек мог запомнить все эти вещи! И помню я, что жрец называл Гавайи—Вайи, а Ланаи—Пгангаи.

— Это маорийские имена,—пояснил Гардман Пуль,—слова Самоа и Тонги, которые жрецы привезли с собой с юга в стародавние времена, когда они открыли остров Гавайи и начали устраиваться на нем.

— Велика твоя мудрость, о, Канака Оолеа!—торжественно возгласил старик.—Ку, всесодержителя небес, жрец именовал Ту, а также Ру; а Ла, бога солнца, он называл Ра...

— А ведь в Египте был бог солнца Ра в древние времена!—перебил рассказчика Пуль, внезапно оживившись.—Да, вы, полинезийцы, много прошли времени и пространства! Это отклик древнего Египта, когда Атлантида [1]) еще была над водой! Но продолжай, Кумухана, не вспомнишь ли ты еще чего-нибудь из древней песни Эоппо?

— И в самом деле,—кивнул рассказчик,—хотя я был уже наполовину мертвец и скоро должен был совсем скончаться под ножом жреца, когда он запел песню, каждое слово ее мне крепко запомнилось. Слушай, вот она!

И старик запел дрожащим фальцетом.

---

[1]) Атлантида, — по преданию, переданному греческим философом Платоном, — громадный остров, вернее целый материк, „по пространству обширнее Азии и Ливии вместе взятых“, находившийся в Атлантическом океане (на запад от Африки) и исчезнувший вследствие землетрясения. Сказание об Атлантиде долгое время относилось учеными к области басен и мифов, однако, позднейшими научными исследованиями собран большой материал, в значительной степени подтверждающий возможность существования и гибели Атлантиды.

— Без сомнения, смертная песнь маорийцев!—воскликнул Пуль.— И поет ее гаваец с татуированным языком! Повтори-ка, и я переведу ее тебе по-английски.

И когда старик повторил песню, Гардман Пуль медленно произнес по-английски:

Но в смерти нет ничего нового.
Смерть есть и всегда была с кончины старого Мауи.
В ту пору Пата-таи громко засмеялся
И разбудил домового — бога,
Который разрубил его надвое;
И так пришел вечерний сумрак!

— А в конце-то концов,—возобновил свой рассказ Кумухана,— меня не убили! Эоппо, уже державший смертоносный нож в руке и готовый поднять руку для удара, не поднял ее. А я? Как я чувствовал себя? Что я думал? Часто смеялся я впоследствии, вспоминая об этом, Капака Оолеа! Я чувствовал только одно: жажду! Мне не хотелось умирать. Но хотелось глотнуть воды. Я знал, что умру, и мне вспоминались тысячи водопадов, свергающихся в пропасть с наветренных гор Коолау. Я не думал об Анапуни. Меня мучила жажда! Я не думал и о Малиа—меня мучила жажда! И перед собой я все время видел язык гарпунщика, пересохший и покрытый песком, как видел его в последний раз. У меня был теперь такой же язык. А на дне каноэ перекатывалось много питьевых кокосов. Но я и не пытался тронуть их, ибо кругом были вожди, а я был простолюдин.

«Нет,—проговорил Эоппо, приказав вождям бросить за борт гроб.— Двух моэпуу нет, так пусть же не будет ни одного!»

«Убей этого одного!»—возопили вожди.

Но Эоппо покачал головой и промолвил: «Мы не можем отправить Кахекили на тот свет с одной лишь половинкой таро!»

«Полрыбы на человека лучше, чем ничего!»—ответил Аимоку старинной поговоркой.

«Но только не на похоронах алии!—быстро возразил жрец.—Таков закон! Мы не можем сквалыжничать с Кахекили и урезывать наполовину подобающую ему жертву!»

Итак, гроб был брошен в воду, и я не был убит. Но странное дело: на мгновение я обрадовался тому, что остался в живых! И сейчас же вспомнил Малиа и начал замышлять месть Анапуни. И когда закипела во мне кровь жизни, жажда моя увеличилась десятикратно: казалось, язык мой и рот, и глотка наполнились сухим песком, как язык гарпунщика. Когда гроб полетел за борт, я сел на дно лодки. Между моими ногами катался питьевой кокосовый орех, и я прикрыл

его ногами. Но когда я взял его в руку, Аимоку ударил меня по руке краем весла. Смотри!

Кумухана вытянул руку, показав два скрюченных пальца, очевидно, вывихнутых и не вправленных.

— У меня не было времени злиться на боль: на меня свалились новые беды. Все вожди заревели в ужасе; гроб, ставший торчком, не тонул, он подпрыгивал и покачивался в воде за нашей кормой. А каноэ, повернутую к волнам и к ветру, несло волнами и ветром прямо на гроб. Стекло гроба было обращено к нам, так что мы видели лицо и голову Кахекили; он скалился на нас из-за стекла и, казалось, уже жил на том, другом свете, и гневался на нас, и собирался излить этот гнев при помощи нездешних сил! Он подпрыгивал вверх и вниз, и лодку все ближе толкало к нему.

«Убей его! Пусти ему кровь! Ударь его в сердце!» Вот что перепуганные вожди кричали Эоппо. «Бросай таро! Пусть алии получит полрыбы!»

Эоппо, хоть и был жрец, также испугался и помутился в рассудке при виде Кахекили в гробу хаоле, который ни за что не хотел тонуть. Он схватил меня за волосы, поднял на ноги и занес нож, чтобы вонзить его в мое сердце, и я не оказал сопротивления. Я только вновь ощутил великую жажду, и перед моими отуманенными глазами в воздухе, у самого носа, болтался облепленный песком язык гарпунщика!

Но прежде чем нож упал и вонзился в меня, случилось нечто, спасшее мне жизнь. Акаи, сводный брат губернатора Боки, если ты помнишь, был в каноэ рулевым на корме; он сидел ближе всех к гробу с покойником, не желавшим тонуть. Он обезумел от страха и протянул вперед весло, чтобы оттолкнуть заключенного в гробу алии, собиравшегося, казалось, вскочить в каноэ. Конец весла попал в стекло, стекло разбилось...

— И гроб немедленно потонул!—подхватил Гардман Пуль.—Воздух, благодаря которому он держался на воде, вышел в разбитое стекло!

— Гроб немедленно потонул, потому что корабельный плотник строил его наподобие лодки,—подтвердил Кумухана.—И я, за минуту до того бывший моэпуу, опять стал человеком. И я остался в живых, хотя умер тысячью смертей от жажды, пока мы добрались до берегов Вайкики.

Так вот, о, Капака Оолеа, кости Кахекили не покоятся в Королевском Мавзолее. Они лежат на дне пролива Молокаи, если только давно уже не превратились в плавающую слизь или не сделались телом кораллов, образовавших коралловый риф. Один я из живых видел, как кости Кахекили потонули в проливе Молокаи!

Наступила пауза. Гардман Пуль сидел в глубоком раздумье. Кумухана облизывал сухие губы. Наконец, он нарушил молчание:

— А двенадцать долларов, Канака Оолеа, на осла и на подержанное седло с уздечкой?

— Ты получил бы двенадцать долларов,—ответил Пуль, вручая старику шесть долларов с половиной,—но у меня на конюшне, в сундуке, лежат подходящие для тебя уздечка и седло, которые ты и получишь; а за шесть с половиною долларов ты купишь вполне подходящего осла у паке (китайца) в Кокако, который только вчера предлагал мне его за эту цену!

Они продолжали сидеть. Пуль безмолвствовал, твердя про себя маорийскую смертную песнь, которую он только-что услышал, в особенности же слова: «И так пришел вечерний сумрак». Он находил их прекрасными. Кумухана облизывал губы, явно давая понять, что он ждет еще чего-то. Наконец, он нарушил молчание:

— Я долго говорил, о, Канака Оолеа! Нет уже в устах моих постоянной влаги, как во дни моей молодости. Мне кажется, опять мною овладела жажда, терзавшая меня при виде гарпунщика. Для языка, засохшего, как у гарпунщика, весьма хорош джин с молоком. О, Канака Оолеа!

Улыбка мелькнула на лице Пуля. Он хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежала девчонка.

— Стакан джина с молоком старому Кумухана!—скомандовал Гардман Пуль.

Вайкики, Гонолулу
28 июня 1916

ИСПОВЕДЬ АЛИСЫ

То, что мы здесь рассказываем об Алисе Акана и гавайских делах, случилось хоть и не в наше время, но сравнительно недавно, когда Эбель Ах-Йо проповедывал на Гонолулу свою знаменитую «религию возрождения» и убеждал Алису Акана очистить исповедью душу свою. Самая же исповедь Алисы касается более старинных времен.

Алиса Акана (ей было в ту пору пятьдесят лет) рано начала жить, и всегда жила широко... То, что она знала, касалось самых корней и нитей, затрогивало секреты целых семейств, деловых предприятий и многочисленных плантаций околотка. Она была как бы живым архивом точных фактов, за которыми очень гнались адвокаты—все равно, касались ли эти данные границ земельных участков, дарственных записей на землю или же браков, рождений, завещаний, либо... скандалов. Крепко держа язычок за зубами, она очень редко делилась с людьми тем, что им было нужно; а если делала это, то только во имя справедливости, никого не обижая.

Ибо Алиса с первых дней своего девичества привыкла жить среди цветов, песен, вина и плясок; войдя в лета, она сделалась хозяйкой и представительницей пиршеств по обязанности владелицы увеселительного заведения с плясуньями, специалистками танца хулы.

В атмосфере этого дома, где забывались заповеди «божеские и человеческие» и всякая осторожность и где пьяные языки свободно болтались во рту, она почерпала исторические данные о предметах, о которых в другой обстановке мало кто позволял себе заикаться или хотя бы догадываться. И то, что она умела держать язык за зубами, сослужило ей хорошую службу; хотя старожилы отлично знали все, что ей было известно, но никто из них не слыхал, чтобы она когда-нибудь сплетничала о кутежах в лодочном сарае Калакауа, о шумных наездах офицеров с военных кораблей или о тайнах дипломатов и министров чужих стран.

За полстолетие она зарядилась таким количеством исторического динамита, что если бы он взорвался, это потрясло бы всю общественную и торговую жизнь Гавайских островов; теперь она была хозяйкой дома для танцев хулы, директрисой туземных балерин, плясавших

для особ царствующего дома на луау (пирушках), на званых вечерах в частных домах, на званных ужинах, на которых подавался пойи [1]), и для любознательных туристов. Все это не мешало ей крепко держать язык за зубами. В пятьдесят лет это была веселая, тучная, приземистая полинезийка крестьянского типа, очень крепкого телосложения и без каких бы то ни было немощей, что обещало ей долгую, долгую жизнь. И на пятидесятом году случилось, что она, влекомая любопытством, попала на собрание, в котором Эбель Ах-Йо проповедывал свое «возрождение».

Эбель Ах-Йо был столь же разносторонней личностью, как знаменитый Билли Сэндэй (Вильям-Воскресенье, известный миссионер—проповедник Южного океана). Родословная его отличалась даже большей пестротой, ибо он был на четверть португалец, на четверть шотландец, на четверть гаваец и на четверть китаец.

В нем сочетались лукавство и хитрость, ум и рассудочность, грубость и утонченность, страстность и философское спокойствие, неугомонное «богоискательство» и умение погружаться по самую шею в навоз действительности,—словом, все элементы четырех, коренным образом отличных друг от друга, рас, сумма которых дала эту личность. Вдобавок он в высокой степени владел искусством самообмана.

По части ораторского дара он далеко обогнал Билли Сэндэя, известного мастера простонародного жаргона. Ибо в речи Эбель Ах-Йо трепетали красочные глаголы, местоимения, наречия и метафоры четырех живых языков! В этих языках он черпал неизмеримое множество выражений, в которых потонули бы мириады словечек Билли Сэндэя. Как хамелеон, колебался он между различными элементами своего существа и умел приспособляться к безыскусственной свежести простых душ, которых он «обращал» своими речами.

Эбель Ах-Йо так же верил в себя и в многообразие своей натуры, как он верил, что бог похож на него и на всякого человека и что этот бог не какой-нибудь племенной бог, но бог мировой, нелицеприятным оком взирающий на расы всего мира. И его теория имела успех. Китайцы, корейцы, японцы, гавайцы, жители Порто-Рико, русские, англичане, французы,—словом, представители всех народов без колебаний, бок-о-бок преклоняли колени и приступали к пересмотру своих особливых богов.

Сам он еще в ранней молодости отпал от английской церкви и много лет чувствовал себя каким-то Иудой. Иуда был проклят,—стало быть, и он, Эбель Ах-Йо, проклят; а ему не хотелось оставаться проклятым навеки! Вот почему он всячески норовил увильнуть от проклятия. И наступил день, когда он обрел спасение. Он

---

1) Туземная каша из толченого таро.

рассуждал так: учить, будто Иуда проклят—значит, превратно толковать бога, который наипаче всего есть справедливость. Иуда был слугой божьим, особо избранным для выполнения особенно грязного дела. Стало быть, Иуда, преданный Иисусу и предавший его лишь по божественному велению, свят! Стало быть, и он, Эбель Ах-Йо, свят уже в силу своего отступничества, и, стало быть, он с чистой совестью может предстать перед богом!

Эта теория стала одним из главных догматов его вероучения; она оказалась весьма на руку другим отступникам от своих религий, втайне чувствовавшим себя Иудами.

А Эбелю Ах-Йо пути божии были так же ясны, как и те, которые он, Эбель Ах-Йо, начертал себе. Все спасутся в конце концов, хотя у одних это отнимет больше времени, чем у других, и они получат места подальше от благодати.

И как могла Алиса Акана—чистокровная, беспримесная гавайянка—устоять против тонкой, окрашенной демократизмом и закаленной в тигле четырех рас логики неотразимо красноречивого проповедника? При первой же встрече с нею он мгновенно разгадал всю фривольность [1]) ее жизни и ее грехи—недаром же он был певчим на пассажирских пароходах, крейсирующих между Гавайи и Калифорнией, а после этого—буфетным слугой на море и на суше, от Барбарийского берега до таверны Хэйни. По правде сказать, он перед вступлением на великий путь проповеди «возрождения» оставил свой пост официанта нумер первый в Университетском Клубе!

И стоило Алисе Акана попасть на проповедь Эбеля Ах-Йо, как она начала поклоняться его богу; трезвому уму этой женщины он показался самым толковым из всех богов, о каких ей только приходилось слышать! Она жертвовала деньги в кружку Эбеля Ах-Йо, заперла свой танцовальный дом и распустила танцовщиц, которым предоставила добывать себе пропитание более легким способом, а с себя сорвала ярко-цветные платья, ленты и букеты цветов и купила библию.

Это вообще была эпоха религиозного угара на Гонолулу, своеобразная демократическая тяга к богу. Буржуа получали приглашения на собрания, но не являлись. И только глупые, смиренные простолюдины отправлялись исповедываться на коленях и потом выходили на солнце чистенькими, как невинный ребенок.

Но Алиса не чувствовала себя счастливой; она еще не очистилась. Она покупала и раздавала библии, все больше жертвовала

---

[1]) Фривольность—легкомыслие, разнузданность, нарушающая требования стыдливости.

в кружку, подпевала своим контральто священным песнопениям, но не решалась очистить покаянием душу свою. И тщетно боролся с нею Эбель Ах-Йо! Она не хотела стать на колени перед амвоном кающихся и в слезах высказать все, что омрачало ее душу, все дурное, что было в ее прошлом.

— Ты не можешь служить двум господам!—говорил ей Эбель Ах-Йо.—Ад кишит людьми, пытавшимися это сделать! С чистым и простодушным сердцем должна ты помириться с богом. Ты не будешь готова к искуплению, пока не исповедуешь душу свою на собрании. Пока ты этого не сделаешь, ты будешь носить в себе язву греха! Решись!—гремел Эбель Ах-Йо.—Либо верность человеку, либо верность богу!

А Алиса не могла решиться. Слишком долго ее уста оставались запечатанными честным словом человека.

— Я исповедаюсь перед собой!—возражала она.—Бог видит, как моя душа устала от греха и как мне хочется быть чистой и светлой, такой, какой я была маленькой девочкой в Канеохе...

— Но ведь грехи твоей души скованы грехами других душ!—неизменно отвечал Эбель Ах-Йо.—Если у тебя есть на душе бремя, сбрось его! Ты не можешь носить бремя и в то же время быть чистой...

— Я буду молиться богу каждый день, по нескольку раз в день!—отвечала она.—Со смирением, со вздохами и слезами буду я приближаться к господу. Я буду часто жертвовать в кружку и без счета буду покупать библии, библии, библии...

— И не узреть тебе улыбки божией!—отвечал проповедник.—Ты будешь попрежнему отягчена грехами, ибо ты не исповедала своих грехов и не избавишься от них, пока не исповедуешься!

— Ах, как трудно возрождение!—вздыхала Алиса.

— Возрождение труднее даже рождения!—Эбель Ах-Йо не считал нужным утешать ее.—Только когда ты уподобишься младенцу...

— Уж если я начну говорить, так разговор будет долгий!—призналась Алиса.

— Тем больше причин исповедаться!

Таким образом дело оставалось на мертвой точке: Эбель Ах-Йо требовал безусловной приверженности к господу, а Алиса Акана продолжала порхать у опушки рая.

— Длинный будет разговор, можно побиться об заклад, раз только Алиса начнет!—весело говорили друг другу гуляки из камааинасов (старожилов), потягивая пальмовую водку.

В клубах предстоящая исповедь Алисы была предметом более серьезных забот. Представители молодого поколения хвалились, что

приобрели уже места в первых рядах на предстоящем собрании, а старики кисло острили насчет обращения Алисы. Алиса стала необычайно популярной среди друзей, которые лет двадцать не вспоминали о ее существовании!

Однажды после полудня, когда Алиса с библией в руке садилась в вагон трамвая на перекрестке, некий Сайрус Ходж, сахарный маклер и местный магнат, приказал своему шоферу остановить автомобиль. Волей-неволей, покоренная его любезностью, Алиса вынуждена была сесть рядом с ним в его лимузин, и он потерял три четверти часа, забыл свои дела и недосуг только для того, чтобы лично отвезти ее куда ей нужно было.

— Глазам отрадно видеть вас!—бормотал он.—Как годы-то летят! Какой у вас чудесный вид—вы владеете секретом молодости!

Алиса улыбалась и отвечала ему комплиментами на пышный полинезийский дружелюбный манер.

— Боже! боже!—предавался воспоминаниям Сайрус Ходж.—Какой я был мальчик тогда.

— Хорош мальчик!—засмеялась она.

— Но ведь я был не больше, как мальчик, в те далекие дни.

— А помните ночь, когда ваш извозчик напился и сбросил вас?..

— Шшш...—остановил он ее.—Мой япошка-шофер окончил высшую школу и знает по-английски лучше нас обоих! Я даже думаю, что он шпион на службе японского правительства. Зачем нам говорить при нем? К тому же я был тогда так молод! Вы помните?

— У вас щеки были, как персики, которые зрели у нас в саду, пока их не поточил жучок,—говорила Алиса.—Мне помнится, вы тогда брились не чаще одного раза в неделю. Вы были красивый малый. Помните, какую хула мы закатили в вашу честь?

— Шшш!..—опять остановил он ее.—Все это забыто и похоронено; предадим же прошлое забвению!

Алиса отметила про себя, что в его глазах уже нет того простодушия юности, которое ей хорошо помнилось. Теперь его глаза проницательно-испытующе смотрели на нее, ожидая уверений, что она не станет воскрешать далекого прошлого.

— Религия—хорошее дело для нас, когда мы вступаем в средний возраст,—говорил ей другой старинный приятель. Он строил себе великолепный дом на Тихоокеанских высотах, недавно женился вторым браком и как раз ждал пароход, чтобы встретить двух своих дочерей, окончивших учение в Вассаре и возвращавшихся домой.

— И в старости нам очень нужна религия! Она умягчает душу, делает нас более терпимыми и снисходительными к слабостям ближних, особенно к грехам молодости, когда люди безумствуют и сами не ведают, что творят.

И он с тревогой ждал ответа Алисы.

— Да,—отвечала она,—все мы родились во грехах, и очень трудно вырасти из греха! Но я расту, расту...

— Не забывай, Алиса, что в ту пору я всегда честно поступал с тобой. Мы с тобой никогда не ссорились!

— Даже в ту ночь, когда ты устроил нам луау по случаю своего совершеннолетия и непременно требовал, чтобы после каждого тоста били посуду! Разумеется, ты за нее заплатил...

— Щедро!—чуть не с мольбой уверял он.

— Щедро,—согласилась она.—На те деньги, которые ты мне заплатил, я купила почти вдвое посуды, так что на следующем луау я поставила сто двадцать приборов, не взяв взаймы ни единого блюдца или стакана. Этот луау задавал тогда лорд Мэйнуэдзер, ведь ты помнишь его?

— Я вместе с ним играл в Мапа в подкалыванье свиней,—кивнул собеседник.—Мы приехали туда покутить на две недельки, но знаешь, Алиса... Религия—очень, очень хорошая вещь; не следует только увлекаться ею. И не исповедуй своей души о б о м н е! Что подумают мои дочери об этой побитой посуде?

— Всегда питал к тебе алоха (теплые чувства), Алиса!—уверял ее член сената—тучный, плешивый господин.

А другой, адвокат и уже дедушка, говорил ей:

— Мы всегда были друзьями, Алиса. Знайте, что если вам понадобится юридический совет или провести дело, я с радостью устрою вам все и не возьму гонорара—я помню нашу старинную дружбу!

В сочельник к ней явился банкир с большим конвертом делового формата.

— Совершенно случайно,—объяснил он,—когда мои клерки рылись в земельных архивах долины Папио, я нашел закладную на вас в две тысячи долларов на рисовое поле, сданное А-Чину. Невольно я задумался над прошлым, когда мы были молоды, ветрены и немножко необузданы... у меня как-то потеплело на сердце, когда я вспомнил вас; и вот ваш должок теперь ликвидирован—так, просто из алоха...

Вспомнили Алису и ее одноплеменники. Ее дом сделался Меккой для туземцев и туземок, совершавших свое паломничество секретным образом, с наступлением темноты, и всегда приносивших презент—свежую каракатицу с рифов, ракушки опихи, лиму (съедобные водоросли), корзинки с редкостными грушами, зерна самого свежего сбора, плоды мангового дерева и златолистника, отборнейший розовый пышный таро, молодых поросят, бананы, плоды хлебного дерева и свежих крабов, пойманных в тот же день в Жемчужной Бухте. Мэри Мендана, жена португальского консула, почтила ее

ящиком конфет ценою в пять долларов и мандариновым пальто, которое на распродаже нельзя было купить дешевле, чем за семьдесять пять долларов. А жена богатого китайского импортера Йип-Ван, Эльвира Мняхара Макаэна-Йин-Ван, лично принесла Алисе два куска знаменитого сукна пинья с Филиппинских островов и дюжину шелковых чулок!

Время шло. Эбель Ах-Йо продолжал бороться с Алисой, уговаривал ее покаяться, Алиса боролась за свою душу, и добрая половина населения Гонолулу ехидно или со страхом ждала исхода этой борьбы. Прошла масляничная неделя, наступила и прошла неделя игры в поло и скачек, приближался торжественный день Четвертого Июля (годовщина американской независимости), и Эбель Ах-Йо решил, наконец, сломить метким психологическим ударом твердыню ее сопротивления. Он произнес свою знаменитую речь, которая содержала в себе определение вечности «по Эбелю Ах-Йо». Разумеется, как и Билли Сэндэй, Эбель Ах-Йо крал свои определения. Но из жителей Сандвичевых островов никто этого не знал, и его фонды искусного проповедника поднялись на сто процентов.

Он так успешно проповедывал в этот вечер, что обратил очень многих адептов [1]), которые со стонами упали у покаянной трибуны в толпе других обращенных, горевших религиозным огнем, включая пол-роты солдат-негров 25-го полка, расположенного в городе гарнизоном, дюжину кавалеристов 4-го кавалерийского эскадрона, застрявшего здесь по дороге на Филиппины, множество пьяных матросов с военных судов, подозрительных дам из Ивилеи и добрую половину портовых бродяг.

Эбель Ах-Йо, читавший в душе человека, как по книге, а Алису Акана понимавший еще лучше, знал, что делал, когда в эту приснопамятную ночь проповедывал о боге, преисподней и вечности в словах, доступных пониманию Алисы Акана. Случайно он открыл ее уязвимое место. Будучи, как все полинезийцы, великим любителем природы, он первым делом угадал, что землетрясения и извержения вулканов ужасают Алису. Ей уже пришлось на Большом Острове пережить катастрофы, от которых провалилась соломенная хижина, где она спала; она видела, как Мадаме Пеле (богиня Огня и вулканов) извергла красную расплавленную лаву на отлогие склоны горы Мауна-Лоа, и лава уничтожила рыбные садки на берегу моря, слизнув на своем пути стада скота, деревни и людей.

За день до памятного собрания легкое землетрясение потрясло Гонолулу, и у Алисы Акана появилась бессонница. Утренние газеты

---

[1]) Адепт — посвященный в тайны какого-либо учения, последователь, приверженец.

сообщили, что на Мауна-Кеа началось извержение, и что лава быстро поднимается в огромном кратере Килауеа. На молитвенном собрании, колеблясь между страхами сущего мира и вечным блаженством грядущего, Алиса сидела на передней скамье в состоянии, близком к истерике.

Эбель Ах-Йо встал и вложил персты в самую чувствительную часть ее души. Описав всемогущество божье на обычный лад, Эбель Ах-Йо заговорил о том дне, когда даже бесконечное терпение бога лопнет, и он прикажет святому Петру закрыть свой журнал и гросбухи, повелит архангелу Гавриилу созвать души на страшный суд и возопиет страшным голосом: «Велакахао!»

Велакахао на туземном языке означает: раскаленное железо.

— И возгласит бог Велакахао, и начнется страшный суд, и вики-вики (быстро) свершится он; ибо Петр куда лучший бухгалтер, чем счетовод какого-нибудь треста, а кроме того, у Петра книги правильнее!

Эбель Ах-Йо быстро отделил овец от козлищ и вверг последних в геенну огненную.

— А на что похожа геенна огненная?—спросил он.—О, друзья мои! Позвольте описать вам вкратце ту геенну, тот ад, который я видел собственными глазами на нашей земле! В ту пору я был молодой человек, совсем мальчик, и жил в Хило. Утро началось землетрясением. Целые сутки огромный край сотрясался и дрожал, так что самые крепкие мужчины заболели морской болезнью, женщины хватались за стволы деревьев, чтобы не упасть, а скот валился с ног. Я сам видел теленка, который упал от сотрясения! Вслед за этим наступила ночь неописуемых ужасов. Почва тряслась, как каноэ в бурю. Одна мать, выбегая из рухнувшего дома, на-смерть растоптала собственного ребенка...

Небеса горели пламенем. Мы читали наши библии при свете этого пламени,—а между тем печать была мелкая и трудная даже для молодых глаз... В сорока милях от нас преисподняя вырвалась из высоких гор и изливала в море красную, как кровь, расплавленную породу [1]). Это зрелище горящих пожаром небес и беснующейся под ногами земли было слишком величественно и слишком ужасно, чтобы им можно было любоваться. Мы думали только о том, какой мыльный пузырь представляет земля, о вечном озере огня и серы

---

[1]) Лава вулканов Мауна-Лоа и Килауеа отличается необычайной подвижностью. Она льется как вода, нередко проходит 20—30 *км* в час, и на протяжении 15 *км* не обнаруживает почти никаких признаков остывания, низвергаясь со склонов настоящими лавопадами.

и о боге, которому мы молились о спасении. Среди нас нашлось немало благочестивых душ, давших своим пастырям обет уделить церкви не жалкую десятину, но пять десятых своего имущества, если только господь дарует им жизнь!

О, друзья мои! Господь спас нас! Но он дал нам почувствовать, что такое ад, который разверзнется в судный день, когда громы возопиют: «Велакахао», и железо расплавится. Подумайте, расплавленное железо для грешников!

На третий день стало спокойнее; мой друг проповедник и я поднялись на Мауна-Лоа и заглянули в страшный кратер Килауеа. Мы увидели бездонную пучину огненного озера, которое ревело и плескалось, выбрасывая волны и пламенную пену на сотни футов, как фейерверк в вечер Четвертого Июля, который вы видели. Мы задыхались, голова кружилась от огромных облаков дыма и серы, поднимавшихся кверху...

И говорю я вам: ни один богобоязненный человек не мог бы взглянуть на эту картину, не вспомнив библейской картины преисподней! Поверьте, люди, писавшие Новый Завет, видели не больше нашего! Что касается меня, то я не отрывался глазами от страшной картины. Я стоял немой и трепещущий, и никогда еще не постигал я с такой ясностью величия и всемогущества бога—всех размеров его гнева и несказанных ужасов, которые ожидают нераскаянных грешников, не исповедавшихся и не примирившихся со своим творцом.

Но, друзья мои, думаете ли вы, что наши проводники-туземцы, глубоко погрязшие в язычестве, были тронуты этой сценой? Нет! Рука дьявола крепко схватила их! Совершенно равнодушные, они помнили только о своем ужине, судачили о сырой рыбе и располагались на цыновках для сна. Это были исчадия сатаны, нечувствительные к величию, красоте и ужасам дел господних. Вы, к которым я теперь обращаюсь, не язычники. Что такое язычник? Это—человек, обнаруживающий тупое безразличие ко всем высоким понятиям и возвышенным чувствам. Если вы хотите привлечь его внимание, не просите его заглянуть в преисподнюю! Нет, вы подарите ему горшок пойи, сырую рыбу или пригласите его участвовать в низком чувственном удовольствии. О, дети мои, насколько глухи они ко всему, что возвышает бессмертную душу! Мы с проповедником скорбели о них, когда глядели в преисподнюю. О, друзья мои! Это был ад, тот самый ад, о котором говорится в писании, ад вечной муки для недостойных!

Алиса Акана находилась в экстазе страха, близком к истерике. Она бессвязно бормотала:

— О, господи! Я отдам девять десятых моего имущества! Я отдам все! Я отдам даже два куска сукна пинья, мандариновое пальто и всю дюжину шелковых чулок [1])!

Когда она успокоилась настолько, что могла опять слушать, Эбель Ах-Йо приступил к своему знаменитому определению вечности.

— Вечность—великий срок, друзья мои! Бог живет и, стало быть, он живет в вечности! Бог очень древен! Огонь преисподней столь же древен и столь же вечен, как бог. Иначе, как могла бы существовать вечная пытка для грешников, ввергаемых господом в преисподнюю в день страшного суда, чтобы гореть там во веки веков? О, друзья мои, ваш ум слаб, слишком слаб, чтобы понять вечность. Но мне по милости божьей дано внушить вам представление о крохотной частице вечности!

На взморье Вайкики песку столько же, сколько звезд на небе, и даже больше; никто не может сосчитать песчинок. Если бы человеку дано было прожить миллион лет, считая эти песчинки, он потребовал бы себе отсрочку. Теперь представим себе маленькую старенькую птичку минах со сломанным крылом, которая поэтому не может летать. Представим себе, что в Вайкики эта птичка минах, лишенная возможности летать, берет песчинку в клюв, и прыг-прыг весь день, и в течение многих лет продвигается к Жемчужной Бухте, где и бросает эту песчинку в воду. Потом она прыг-прыг целый день, и этак в течение многих дней назад, в Вайкики, за другой песчинкой. Опять она прыг-прыг скачет всю дорогу обратно, к Жемчужной Бухте. Представьте себе, что она это проделывает в течение целых годов и столетий, и тысяч столетий, пока, наконец, в Вайкики не останется ни одной песчинки, а Жемчужная Бухта не окажется засыпанной доверху и не превратится в сушу, на которой растут красивые деревья и ананасы. И тогда, о, друзья мои,— даже тогда!—в преисподней не начнется еще даже восход солнца!

Алиса Акана не выдержала столь неудержимого натиска, столь простого и убедительного образа вечности. Она встала, зашаталась и пала на колени у покаянной трибуны. Эбель Ах-Йо еще не кончил своей проповеди, но он знал психологию толпы. Он пригласил свою паству запеть псалом и начал протискиваться между неграми, во всю мочь оравшими аллилуия, к Алисе.

---

[1]) Страхи Алисы будут особенно понятны, если принять во внимание силу вулканической деятельности Гавайи. На сравнительно небольшом острове (93 английских мили в длину) находятся пять вулканов: Кохала, Мауна-Кеа, Хуалалай Мауна-Лоа и Килауеа, из них три последних—действующие. Жители Гавайи поэтому всегда находятся под страхом извержений.

И прежде чем возбуждение улеглось, девять десятых его паствы и все вновь обращенные уже стояли на коленях и с громкими воплями и мольбами исповедывались во всех своих бесчисленных грехах и проступках!

Почти одновременно по телефону дали знать в Тихоокеанский Клуб и в Университетский Клуб, что Алиса, наконец, исповедывает душу на публичном собрании; и в первый раз за все время проповеднической деятельности Эбеля Ах-Йо его храм наполнился массой публики, приехавшей на собственных машинах и в таксомоторах. Прибывшие первыми созерцали любопытное зрелище: гавайцев, китайцев и других представителей разношерстных рас плавильного тигля Гавайи, которые крались вон, спеша улизнуть из скинии Эбеля Ах-Йо. Но удирали большей частью мужчины; женщины остались, жадно прислушиваясь к исповеди Алисы.

Никогда еще на всем Тихом океане, на севере и на юге, не бывало такой изумительной исповеди, как публичное покаяние Алисы Акана, кающейся Фрины[1]) Гонолулу!

— Брр!—услышали первые из прибывших, когда она очистила свою душу от главной массы мелких грехов, своих и чужих.—Вы думаете, что Стефен Макекау—сын Моисея Макекау и Минни Алинг? Вы думаете, что он имеет законное право на двести восемь долларов, которые каждый год получает от Компании Парк-Ричардса за аренду рыбного пруда, сданного Биллю Конгу в Амане? Как бы не так! Стефен Макекау не сын Моисея! Он сын Аарона Кама и Тилли Наоне! Его еще грудным младенцем Аарон и Тилли подарили Моисею и Минни. Я это знаю! Моисей, Минни, Аарон и Тилли теперь в могиле. Но я знаю правду и могу доказать! Старая миссис Поэпоэ еще в живых! Я присутствовала при рождении Стефена, и ночью, когда ему было два месяца, собственноручно отнесла его к Моисею и Минни, а старая миссис Поэпоэ несла фонарь. Эта тайна—один из моих грехов! Она отвращала меня от господа! Теперь я освободилась от нее. Молодой Арчи Макекау, который собирает долги по счетам Газовой Компании, а после обеда играет в безбол и пьет страшно много виски, должен получать эти двести восемь долларов первого числа каждого месяца от компании Парка-Ричардса. Он протранжирит эти деньги на водку и на фордовский автомобиль. Стефен—хороший человек, а Арчи—дурной человек. К тому же он лгун, и отслужил два срока каторжных работ на рифах, а до этого находился в исправительном заведении. Но бог требует правды—и Арчи будет получать эти деньги, хотя они пойдут у него прахом...

---

[1]) Фрина — куртизанка древней Греции (женщина легкого поведения), известная своей красотой, обвинявшаяся в безбожии.

Алиса перебирала воспоминания своей молодости и обильной событиями жизни. Женщины забывали, что они находятся в скинии, да и мужчины тоже, и на их лицах пылали разнообразные страсти, когда они впервые узнавали долгоскрываемые секреты своих дражайших половин.

— Завтра в конторах адвокатов будет давка!—пробормотал на ухо полковнику Стильтону Мак Ильвейн, начальник сыскного отделения, добросовестно запоминавший сообщаемые кающейся грешницей факты.

Полковник Стильтон улыбнулся в ответ, хотя начальник сыщиков не мог не заметить насильственности этой улыбки.

— В Гонолулу есть банкир,—продолжала Алиса.—Вы все знаете, как его зовут. Он пошел в гору и попал в важные господа по милости своей жены... Ему принадлежит много акций Общих Плантаций и Междуостровной Компании...

Мак Ильвейн узнал «портрет» и перестал хихикать.

— Его зовут полковником Стильтоном. В прошлый сочельник он подъехал ко мне с великой алоха (любовью) и отдал мне закладную на мою землю в долине Иапио на две тысячи долларов. Отчего это явилась у него ко мне такая большая алоха? Я вам расскажу...

И она, действительно, рассказала, бросив яркий, как из прожектора, свет на разные деловые и политические махинации, долго таившиеся под спудом.

— Этот грех давно на моей совести,—заключила Алиса,—он отвращал мое сердце от господа! В ту пору Гарольд Майльс был президентом сената; спустя неделю он купил три участка в Жемчужной Бухте, заново покрасил свой дом в Гонолулу и заплатил все свои долги в клубах. Дом Рэмси в Гонолулу был завещан народу в случае, если государство пожелает содержать его. Но если государство в течение двух лет не возьмет дома в свое заведывание, он должен перейти к наследникам Рэмси, которых старый Рэмси смертельно ненавидел! Что ж, дом честь-честью перешел к наследникам! Их адвокатом был Чарли Мидльтон, и он заставил меня помочь ему обломать это дельце с членами правительства. Вот их имена...—Назвав шесть имен из обеих палат законодательного собрания, Алиса прибавила:—Вероятно, после этого все они покрасили свои дома. Впервые признаюсь в этих делишках. На душе стало легче и светлее! Душа моя была до сих пор забронирована от господа толстым слоем масляной краски. А Гарри Уэрстер! В то время он был членом сената. О нем рассказывали дурные вещи, и он не был переизбран. Но его дом остался без покраски. Он был честный человек. До сих пор его дом стоит некрашенным, и все это знают...

...—А вот еще Джимми Локендампер. Злое у него сердце! Всего лишь неделя прошла, как он перед всеми вами исповедывал душу. Не

всю душу обнажил он, солгал своему господу! А я не лгу господу; разговор у меня будет долгий, но я расскажу все! Вон там, направо, сидит Азалеа Акау. Венчанная же его жена—Лиззи Локендампер. Много лет тому назад он питал к Азалеа великую алоха. Вы думаете, что действительно ее дядя, уехавший в Калифорнию и там скончавшийся, оставил ей по завещанию две тысячи пятьсот долларов, которые она получила? Не дядя сделал это; я это знаю! Дядя ее умер нищим в Калифорнии, и Джимми Локендампер послал в Калифорнию восемьдесят долларов, чтобы было чем похоронить старика: у Джимми Локендампера был клочок земли в Кохала, который он получил от тетки своей матери. Его венчанная жена Лиззи не знает этого. Он продал этот участок Кохальской Водопроводной Компании и дал две с половиной тысячи долларов Азалеа Акау...

Лиззи, венчанная жена, встала, как разъяренная фурия, и вместо своего супруга, который успел убежать, вцепилась зубами и когтями в Азалеа.

— Постой, Лиззи Локендампер!—воскликнула Алиса.—У меня на сердце греховное бремя по твоей милости. Да и масляной краски немало!..—И когда она кончила разоблачать, как Лиззи красила свой дом, с места встала Азалеа в безумной ярости.

— Постой, Азалеа Акау! Теперь я хочу облегчить свою душу на твой счет, и тут не масляной краской пахнет! За покраску всегда платил Джимми. Дело касается твоей новой ванны и усовершенствованного водопровода, которые тяготят мою душу...

Много, много пришлось Алисе Акана рассказать о своих ближних! Она вторгалась в деловые и финансовые сферы, в жизнь знати и плебса. Никому не удалось увернуться от нее, как высоко или низко на общественной лестнице он ни стоял. И только в два часа утра перед зачарованной аудиторией, битком-набившей «скинию» до самых дверей, она закончила свое повествование о темных делишках, совершавшихся в общине, с которой она так интимно срослась. И, уже кончая, опять что-то вспомнила.

— Брр!—фыркнула она.—На прошлой неделе я отдала Эбелю Ах-Йо участок, стоящий восемьсот долларов, на покрытие текущих расходов и на пополнение бухгалтерской книги святого Петра в небесах. Где же я взяла этот участок? Все вы считаете мистера Флеминга порядочным человеком. А между тем душа его более крива и уклончива, чем был вход в Жемчужную Бухту перед тем, как правительство Соединенных Штатов выпрямило канал! У него сейчас болезнь печени, но его болезнь—кара божия, и он умрет скрюченным. Этот участок дал мне Флеминг двадцать два года тому назад, когда рыночная цена участка равнялась двадцати пяти долларам. Вы думаете, он дал его потому, что его алоха ко мне была

велика? Нет! Никогда у него в душе не было никакой алоха, разве что к долларам!

...—Теперь слушайте. Великий грех возложил на меня Флеминг! Когда Франк Ломилоли находился в моем доме, пьяный вдребезги, при чем за водку мне авансом заплатил ровно впятеро мистер Флеминг, я убедила Франка Ломилоли подписаться на запродажной записи, которою он уступал свой городской участок за сто долларов. В ту пору этот участок стоил шестьсот долларов, а сейчас ему цена двадцать тысяч. Может быть, вы хотите знать, где находился этот участок? Я скажу вам это и сниму бремя со своей души! Он находится на Королевской улице, где теперь помещается кабачок «Милости Просим», гараж Японской Таксомоторной Компании, магазин водопроводных принадлежностей Смита и Вильсона и кондитерская «Амброзия», а двумя этажами выше расположены меблированные комнаты Аддисона. Все эти постройки из дерева, и всегда их хорошо красили. Вчера их опять начали красить. Но я не позволю этой краске стать между мной и господом! Между мной и моей дорогой на небо не будет больше ведер с краской!..

На следующий день все утренние и вечерние газеты бессовестно молчали об этом величайшем за последние годы скандале; население же Гонолулу наполовину хихикало, наполовину трепетало от ужаса, по мере того как распространялись шопотком рассказы, не всегда преувеличенные и слышавшиеся повсюду, где только встречались двое жителей Гонолулу.

— Наша ошибка,—говорил полковник Чильтон в клубе,—заключалась в том, что мы с самого начала не назначили комитета безопасности, который бы следил за душой Алисы!

Боб Кристи, один из молодых островитян, залился смехом, таким ядовитым и громким, что от него тотчас же потребовали объяснений.

— О, ничего особенного!—ответил он.—Но на пути сюда я слышал, что старого Джона Уорда только что заперли в каталажку за пьянство, безобразное поведение и за сопротивление полиции. Вы знаете, Эбель Ах-Йо постоянно околачивается по полицейским участкам. Ничего он так не любит, как спасти грешную душу какого-нибудь пьяницы.

Полковник Чильтон посмотрел на Лэска Финнестона, и оба посмотрели на Гэрри Уилкинсона. Он ответил им таким же взглядом.

— Старый забулдыга!—воскликнул Лэск Финнестон.—Нечестивый пропойца! Я и забыл, что он еще жив! Изумительное телосложение! Никогда он не бывал трезвым, разве что во время кораблекрушения, и, насколько помню, всегда был готов пуститься во все тяжкие. А ему, наверное, под восемьдесят!

— Около этого,—подтвердил Боб Кристи.—Он все еще всюду шатается, пьет, когда есть деньги, и всегда бодр, хотя не так уж силен физически и для чтения пользуется очками. Память у него изумительная. Если Эбель Ах-Йо подцепит его...

Гэрри Уилькинсон крякнул, приготовляясь к речи.

— Вот замечательный старик!—начал он.—Какой-то забытый осколок прошлых веков! Мало теперь людей этого типа! Он пионер. Он настоящий «камааина» (старожил). И в таком преклонном возрасте беспомощно бьется в лапах полиции. Мы должны что-нибудь сделать для него в признание его тяжких трудов на Гавайи! Случайно мне стало известно, что его родина в порту Сэг. Он не видал родных мест свыше полувека! Устроим ему на завтра сюрприз: заплатим за него штраф, презентуем ему билет в порт Сэг и оплатим расходы, скажем, на годичную поездку. Я составлю комитет. Назначаю полковника Чильтона, Лэска Финнестона и себя! Что касается председателя, то кто же годится для этого больше Лэска Финнестона, который так хорошо знал Уорда в старину? Итак, возражений нет? Я назначаю Лэска Финнестона председателем комитета по сбору денег на уплату полицейского штрафа и покрытие расходов по годичной поездке благородного пионера Джона Уорда в признание его энергии и трудов по строительству Гавайи.

Возражений не последовало.

— Комитет открывает секретное заседание!—возгласил Лэск Финнестон, встав и направляясь к дверям библиотеки.

БЕРЦОВЫЕ КОСТИ

„Они сошли в преисподнюю с воинскими доспехами и положили мечи свои под голову“.

— Очень было грустно видеть обращение старухи!—Принц Акули бросил боязливый взгляд в сторону дерева кукуи, под сенью которого только что уселась с работой старая вахине (женщина).—Да,—продолжал он, почти уныло кивнув мне,—в последние годы Хивилани вернулась к старым обычаям и старым верованиям—разумеется, тайно; и, верьте мне, она была порядочный коллекционер! Вы посмотрели бы ее коллекцию костей! Они у ней стояли по всей комнате в огромных сосудах; это были кости почти всех ее родственников, не считая какого-нибудь полудесятка, который Капау выхватил у ней из-под носа, первым добравшись до них. Страшно было слушать их, когда они ссорились из-за этих костей! У меня мурашки бегали по спине, когда я мальчиком заходил в ее огромную комнату, где царил вечный сумрак; ведь я знал хорошо, что вот в этом сосуде находится все, что осталось от моей внучатной тетки с материнской стороны, а вот в этом кувшине—мой прадед, что во всех этих сосудах хранятся останки моих предков, семя которых прошло века и воплотилось во мне, живом, полном дыхания существе! Хивилани в конце концов превратилась в подлинную туземку и спала на циновке на твердом полу—она изгнала из своей спальни огромную великолепную кровать под балдахином, подаренную ее бабушке лордом Байроном, кузеном автора Дон-Жуана, прибывшим сюда на фрегате «Блонд» в 1825 году.

Она вернулась ко всем туземным обычаям, она стала откусывать сырую рыбу перед тем, как бросить ее своим слугам, она давала им доедать свою кашу пойи, вообще все, что не могла сама доесть...

Принц Акули вдруг оборвал повествование, и по тому, как расширились его ноздри и как изменилось выражение его подвижных черт, я понял, что он почуял что-то в воздухе и определяет запах, оскорбивший его!

— Чтоб его чорт побрал!—крикнул он мне.—Вонь до небес! И мне придется держать его на себе, пока нас не выручат!

Насчет предмета его отвращения не могло быть ошибки: старая ведьма плела превосходнейший леи (венок) из плодов хала. Она разрезывала многочисленные доли ореховидной оболочки плода на колокольчатые части, которые нанизывала на тугую крученую заболонь [1]) дерева хау. Без сомнения, запах стоял до небес, но мне, малахини (новичку), этот винный и пряный запах плода не был неприятен.

Дело в том, что лимузин принца Акули сломался на расстоянии четверти мили отсюда, и нам пришлось искать приюта от солнца в этом горном жилье—настоящей беседке. Хижина была убогая, под соломенной кровлей, но зато стояла среди редких бегоний, распустивших свои нежные цветы футах в двадцати над нашей головою; бегонии походили на деревья: стволы у них были, как у ивы, толщиной в человеческую руку. Здесь мы освежились кокосами и послали ковбоев за несколько миль на ближайшую телефонную станцию вызвать из города машину. Нам даже виден был этот город—метрополия Олоконы, Лаканайи, рисовавшийся за полями сахарного тростника дымком на береговой линии, окаймленной венцом пены у рифов, и голубой дымкой океана на горизонте, где остров Оаху мерцал мутным опалом.

Мауи—Долинный остров Гавайи, а Кауаи—Садовый остров; но Лаканайи, лежащий рядом с Оаху, и в прошлом, и ныне, и присно считается Жемчужным островом этой группы. Это не самый крупный, но и не самый мелкий остров; все согласны с тем, что Лаканайи—самый дикий и самый прекрасный в своей дикости, и самый благородный из всех островов. Он дает лучшие урожаи сахару, прекрасный жирный горный скот. Дожди на нем падают в изобилии, не причиняя, однако, вреда. На Кауаи он похож тем, что это остров первозданный и потому древнейший; его лава имела достаточно времени превратиться в богатейший чернозем, а ущелья между древними кратерами размылись до того, что стали похожи на большие каньоны реки Колорадо с бесчисленными водопадами, свергающимися с тысячи футов; они рассыпаются пеленой пара и исчезают на полпути, спускаясь миражами радуги, как роса или частый дождик, падающий над пропастью.

Впрочем, Лаканайи легко описать. Но как описать принца Акули? Чтобы узнать его, нужно изучить всю подноготную Лаканайи. А кроме того, в совершенстве узнать и остальную часть земного шара. Во-первых, принц Акули не имел ни признанного, ни законного права именоваться «принцем». Во-вторых, «Акули»—значит каракатица; так что «Принц Каракатица»—едва ли достойный титул для прямого потомка древнейших и самых высоких алии (высший вождь) Гавайи:

---

[1]) Наружная часть древесины.

род древний и исключительный, в котором, по обычаю египетских фараонов, братья и сестры вынуждены были сочетаться браком по той причине, что не могли брачиться ни с кем ниже себя по рангу,— во всем известном им мире не было равного или более высокого рода, а династия, во всяком случае, должна была продолжаться.

Я слышал певцов-историков принца Акули (он их унаследовал от своего отца), которые распевали нескончаемые генеалогии, доказывавшие, что он—знатнейший алии во всем мире! Начиная с Вакеа (их Адам) и Папа (их Ева), они проследили генеалогию через столько поколений, сколько букв в алфавите, до Папакаоко, первого предка, родившегося на Гавайи, жену которого звали Кахихиокалани. Еще раньше, сохраняя свой ранг, их род откололся от рода Аа, основателя двух линий царей: Кауаи и Оахау.

В одиннадцатом веке по рождестве христовом, по свидетельству историков Лаканайи, в ту пору, когда братья женились на сестрах за неимением достойных супруг, их род получил примесь новой крови от рода, восходившего чуть ли не до неба. Некий Хопкемаха приплыл с острова Самоа на огромной двойной каноэ. Он женился на одной лаканайской алии и, когда его три сына выросли, отправился с ними на Самоа, чтобы привезти своего младшего брата. Но привез он Куми, сына Туи Мануа, род которого считался высочайшим во всей Полинезии и только на одну ступень был ниже богов и полубогов. Таким образом драгоценное семя Куми за восемь столетий до этого вошло в кровь лаканайских алии и через них по прямой линии воплотилось в принце Акули!

Его я впервые встретил в офицерской столовой Черной Гвардии в Южной Африке; говорил он тогда с оксфордским акцентом. Это было как раз перед тем, как знаменитый полк был изрублен в кашу при Магерсфонтейне. Принц Акули имел такое же право на эту столовую, как и на свой акцент, ибо воспитывался в Оксфорде и находился на королевской военной службе. С ним, в качестве его гостя, приехавшего «посмотреть войну», был принц Купидон. Это было его прозвище, но он—подлинный принц всей Гавайи, включая и Лаканайи, а настоящий и законный титул его—Принц Иона Кухио Каланианаоле. Он стал бы настоящим царем Гавайи, если бы не произошла «революция хаоле», аннексия. То обстоятельство, что генеалогия принца Купидона была ниже принца Акули, происходившего от неба, не имело значения, ибо принц Акули мог бы быть царем Лаканайи и всей Гавайи, если бы его деда впрах не расколотил первый и величайший из всех Камехамеха.

Это событие произошло в 1810 году, в цветущие дни торговли сандаловым деревом. Тогда же смирился король Кауаи и ел из рук Камехамехи. Дед принца Акули получил свою трепку и подчинился, ибо

он был человек старой школы, он не умел утверждать островной власти языком пороха и артиллеристов хаоле. Камехамеха, более дальновидный, уже брал к себе на службу хаоле, в том числе таких людей, как Айзек Дэвид, штурман и единственный оставшийся в живых из перебитого экипажа шхуны «Прекрасная Американка», и Джон Юнг, пленный боцман шхуны «Элинор». Айзек Дэвид с Джоном Юнгом и другими авантюристами при помощи шестифутовых медных каронад [1]) с захваченных «Ифигении» и «Прекрасной Американки» уничтожили военные каноэ и привели в смятение сухопутных бойцов короля Лаканайи, и в награду получили от Камехамехи, согласно условию: Айзек Дэвид—шестьсот зрелых, жирных свиней; Джон Юнг—пятьсот таких же парнокопытных.

Итак, в результате всех этих бурных страстей, падения первобытных культур, кровожадных убийств, яростных сражений и браков с младшими братьями полубогов появился лощеный, с оксфордским акцентом, современный до кончика ногтей принц Акули, принц-Каракатица, чистокровный полинезиец, живой мост через тысячу веков, мой товарищ, приятель и спутник по сломавшемуся лимузину ценой в семь тысяч долларов, застрявший вместе со мной в раю бегоний на высоте полуторы тысяч футов над уровнем моря и метрополии его острова Олоконы. От скуки он стал рассказывать мне о своей матери, которая на старости лет вернулась к своей древней религии и древнему идолопоклонству, занялась коллекционированием и окружила себя костями тех, кто были ее предками во тьме веков.

— Мании коллекционирования положил начало царь Калакауа на острове Оаху,—говорил принц Акули.—А его жена, королева Капиолани, заразилась от него этой страстью. Они собирали все решительно. Старые цыновки Макалоа, старые тапа, старые тыквенные бутылки, древние двойные каноэ и идолов, которых жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году. Я давно не видал рыболовных крючков из перламутра, но могу поклясться, что Калакауа набрал их несколько тысяч, не говоря уже о крючках из человеческих челюстей, о плащах из перьев, о шлемах, каменных шильях и пестах фаллической [2]) формы для толчения пойи. Когда он и Капиолани объезжали в царской процессии острова, жителям приходилось прятать свои личные реликвии. Царю в теории принадлежит все имущество подданных; а у Калакауа, когда дело касалось старинных вещей, теория превращалась в практику.

---

[1]) Каронада — старинная короткая морская пушка.

[2]) Фаллический — относящийся к оплодотворяющему или рождающему началу.

От них мой отец Канау заразился страстью к коллекционированию, заразилась и Хивилани. Но отец был человек современный до кончика ногтей. Он не верил ни в богов, ни в кахуна (жрецов), ни в миссионеров. Он не признавал ничего, кроме сахарных акций и породистых коней, и считал своего деда дураком за то, что тот не догадался набрать коллекцию Айзеков Дэвисов, Джонов Юнгов и медных каронад перед тем, как начать борьбу с Камехамехой. Итак, он собирал редкости, как истый коллекционер; но мать относилась к этому делу серьезно. Вот почему она остановилась на костях. Помню также: был у нее безобразный древний каменный идол, перед которым она с воем ползала по полу. Теперь он находится в музее. Я отправил его туда после ее смерти, а ее коллекцию костей—в Королевский Мавзолей—Олекона.

Не знаю, помните ли вы, что отцом ее был Кааукуу. Это был гигант. Когда построили Мавзолей, его кости, прекрасно сохранившиеся и чистые, были взяты из тайника и перенесены в Мавзолей. У Хивилани был старый вассал Ахуна. В одну ночь она украла у Канау ключи и заставила Ахуну выкрасть кости ее отца из Мавзолея. Я это знаю наверное. Он без сомнения был гигант! Она хранила его кости в одном из больших сосудов. Однажды, когда я был уже довольно большим мальчиком и горел любопытством узнать, действительно ли Каукуу был так огромен, как рассказывали легенды, я вытащил из сосуда его нижнюю челюсть и примерил на себе. Я вдел в челюсть свою голову, и она окружила мою шею и плечи, как хомут! Все зубы сохранились в челюсти, белые, как фарфор, без малейших дырочек, с нисколько не потемневшей и не потрескавшейся эмалью! За это святотатство мне задали хорошую порку, хотя матери пришлось призвать на помощь старого Ахуну. Но инцидент пошел мне на пользу. Он дал матери уверенность, что я не боюсь мертвецов, и обеспечил мне курс в Оксфорде. Вы это узнаете, если автомобиль позадержится.

Старый Ахуна был подлинно старозаветный слуга, верный и преданный, как раб... Он больше мог порассказать о предках моей матери и отца, чем оба они вместе. И он знал то, чего не знал ни один живой человек: вековое кладбище, где спрятаны были кости большей части предков матери и предков Канау! Канау никак не мог выудить этого секрета у старика, который видел в Канау вероотступника.

Долгие годы Хивилани боролась со старым лукавцем Ахуной. Как ей, наконец, удалось настоять на своем, мне неизвестно. Разумеется, она была верна своей вере. Это могло способствовать тому, что Ахуна немножко размяк. А может быть, она его застращала; она знала немало древних заклятий и умела издавать звуки, показывавшие ее близкое знакомство с Ули—самым главным богом колдунов Гавайи. Она

могла перещеголять любого обыкновенного кахуна-лапаау (ведуна) на молитве Лонопуха и Колеамоку; толковала сны и видения, предзнаменования и болезни желудка; выводила на чистую воду жрецов лекарского бога Майола; заводила такие причитания пуле-хее, что у тех голова начинала кружиться; и утверждала, что знает кахуна хоэпохо—современный спиритизм! Я сам видел, как она «пила ветер», «наводила порчу» и прорицала. Она была в самых коротких отношениях с аумакуа, которым приносила жертвы на алтарях разрушенных хеиау (храмов), бормоча при этом молитвы, столь же жуткие, сколь и непонятные для меня. А старого Ахуну она заставляла бросаться на пол, завывать и кусать себя!..

Впрочем, я убежден, что она получила над ним власть благодаря так называемой анаана. Ножницами для маникюра она отрезала прядь его волос. Мы называем это мауну, что означает—наживка. И она дала ему понять, что этот клок волос заколдован у нее. Она намекнула старику, что зарыла волосы в землю и каждую ночь приносит жертвы и заклинает Ули.

— Это и есть замаливание до смерти?—спросил я принца Акули, воспользовавшись минутой, когда он закуривал папиросу.

— Вот именно!—кивнул он.—И Ахуна не устоял. Сперва он пытался найти место, где были спрятаны его волосы. Не успев в этом, он нанял для того же знахаря пахиухиу. Но Хивилани пригрозила знахарю сделать над ним апо-лео—это способ лишить человека речи, не причиняя ему другого вреда.

Ахуна зачах, и с каждым днем все более становился похож на покойника. В отчаянии он обратился к Канау. Случайно я при этом присутствовал. Вы уже слышали, что за человек был мой отец.

«Свинья!—говорил он Ахуне.—Свиные мозги! Вонючая рыба! Умирай, и пусть это кончится. Ты дурак! Все это вздор! Ровно ничего страшного! Пьяный хаоле Говард может доказать, что миссионеры неправы. Джин доказывает, что Говард неправ. Доктора говорят, что он не проживет и шести месяцев. Даже джин лжет! Жизнь также лжет. Пришли тяжелые времена, цены на сахар упали. Среди моих племенных кобыл падеж! Как бы я хотел заснуть лет на сто и, проснувшись, узнать, что цена на сахар поднялась вдвое».

Отец был философ; желчный ум и манера выбрасывать отрывистые афоризмы. Он хлопнул в ладоши. «Принеси большой стакан!—скомандовал он.—Нет, принеси два стакана!» Потом повернулся к Ахуне. «Ступай и подыхай, старый язычник, исчадие тьмы, язва преисподней! Но не умирай в нашем доме! Я хочу веселья и смеха, сладкого щекотанья музыки и красоты молодых движений, а не карканья больных жаб и пучеглазых покойников, еще держащихся на своих дрожащих ногах! Я сам стану таким, если буду долго жить! И всегда

буду жалеть, если проживу долго! За каким чортом я вложил последние две тысячи долларов в плантации Кертиса? Говард предупреждал меня, что цены упадут, а я думал, что он врет спьяна. Кертис размозжил себе голову, его главный «луна» бежал с его дочерью, химик сахарного завода заболел тифом, все пошло к чорту!»

Принц захлопал в ладоши, вызывая слуг, и скомандовал: «Приведите певцов. И танцовщиц хула, да побольше! И пошлите за старым Говардом. Кому-нибудь надо же расплачиваться, и я хочу сократить на месяц оставшиеся ему полгода жизни. Но главное—музыка! Пусть будет музыка! Она крепче хмеля и быстрей опиума!»

О, эта врачующая музыка! Его отца, старого дикаря, однажды угощали на борту французского фрегата, и там он в первый раз в жизни услышал оркестр. Когда маленький концерт кончился, капитан спросил любезно гостя, какая пьеса ему понравилась больше всего. Деду пришлось «описать» эту музыку, и как вы думаете, что ему понравилось?

Я отказался угадывать; принц закурил новую папироску.

— Разумеется, первая—не пьеса, но настраивание инструментов.

Я кивнул, изобразив в глазах и на лице улыбку, а принц Акули, снова бросив опасливый взгляд на старую вахине и на ее хала леи, который она успела наполовину сплести, вернулся к повествованию о костях своих предков.

— Так вот, в этой стадии игры старый Ахупа уступил Хивилапи. Нельзя сказать, чтобы он окончательно сдался. Но он заключил компромисс. Если он доставит ей кости ее деда (отца Кааукуу, бывшего, по преданиям, еще рослее своего исполинского сына!), то она вернет Ахупе его прядь волос, при помощи которой начала «замаливать его до смерти». Ахуна с своей стороны поставил условием, что его не заставят выдать тайну всего кладбища с прахом всех лаканайских алии до седой древности. Но так как он был слишком дряхл, чтобы в одиночку пуститься в столь рискованную экспедицию, то ему должен был помочь кто-нибудь, кому поневоле пришлось бы узнать тайну. И выбор пал на меня! Я был самый высокий алии после моего отца и матери; и они были отнюдь не выше меня рангом!

Так я появился на сцене; меня вызвали в сумрачную комнату, где я застал двух старых людей, якшавшихся с мертвецами. Замечательная была парочка: мать—растолстевшая до безобразия, и Ахуна—тощий, как скелет. Мать производила впечатление, что если положить ее на спину, то она не сможет повернуться без помощи блоков и веревок; Ахупа же наводил на мысль, что если эту зубочистку ткнуть, то она расколется на тонкие щепочки.

Когда они объяснили мне в чем дело, пришла новая пиликиа (беда). Отец заразил меня своим неверием. Я отказался отправиться

на похищение костей! Я заявил, что мне плевать на кости всех алии моего рода! Видите ли, я незадолго перед тем открыл Жюля Верна, которого мне дал старый Говард, и зачитывался им до одурения. Кости? На что мне кости, когда существуют северные полюсы, центры земли и волосатые кометы, на которых можно путешествовать среди звезд! Разумеется, я не желаю отправляться ни в какую экспедицию за костями. Я указал, что отец еще здоровый человек и может отправиться куда надо, поделив с матерью кости, какие добудет. Но мать ответила, что он только жалкий коллекционер, что-то в этом роде, лишь в более сильных выражениях.

«Я знаю его!—уверяла она меня.—Он готов прозакладывать кости родной матери на бегах или проиграть в карты».

Я стоял за отца, когда дело касалось современного скептицизма, и объявил матери, что все это вздор. «Кости?—сказал я.—Что такое кости? Даже у белых мышей, у крыс и у тараканов есть кости, хотя тараканы носят свои кости поверх мяса, а не внутри его. Разница между человеком и другими животными,—объяснил я матери,—не в костях, а в мозгах. Помилуй, у быков кости куда крупнее, чем у человека, и сколько я съел рыб, у которых куда больше костей! А за китом—так и всем не угнаться по части костей!»

Выражался я весьма откровенно—такова уж наша гавайская манера, если вы знаете. В ответ на это с такой же откровенностью мать пожалела, что не вышвырнула меня вон грудным младенцем, сейчас же после моего появления на свет. Потом стала оплакивать час моего рождения. Отсюда оставался только шаг до анаана—до того, чтобы проклясть меня. Она пригрозила мне этим—и тогда я совершил величайший подвиг мужества в своей жизни! Старый Говард подарил мне нож со множеством лезвий, со штопором, с отвертками и всякими штуками, включая маленькие ножницы. Я начал подстригать себе ногти.

— Вот!—сказал я, выложив ей на руку обрезки.—Смотри, что я думаю об этом! Вот тебе сколько угодно, иди и наводи на меня порчу анаана, если можешь!

Я сказал, что это был мужественный поступок. Несомненно так. Мне было всего пятнадцать лет, всю свою жизнь я провел в окружении таинственных предметов, тогда как мой скептицизм совсем недавнего происхождения покрывал меня весьма тонким слоем. Я мог быть скептиком на дворе, под лучами солнца. Но я боялся потемок. И в этой сумрачной комнате, с костями покойников, повсюду лежавшими в огромных сосудах, старуха пугала меня. Но я не сдавался, и моя бравада [1]) оказалась сильнее: мать бросила обрезки ногтей мне

[1]) Бравада — молодечество, дерзкая выходка, пренебрежение опасностью

в лицо и залилась слезами. Слезы пожилой женщины, весящей триста двадцать фунтов, мало внушительны, и я закоснел в своей гордыне!

Тогда она переменила тактику и принялась беседовать с мертвецами. Мало того: она их вызвала в комнату! Я ничего не видел, Ахуна же умудрился заметить отца Каaукуу в углу комнаты, упал на пол и взвыл. Стало и мне казаться, что я почти видел старого исполина, только не мог как следует разглядеть его.

— Пусть он сам за себя говорит!—сказал я. Но Хивилани продолжала говорить за покойника и передала мне торжественное повеление отправиться с Ахуной на кладбище и привезти кости, нужные моей матери. На это я ответил, что если мертвецов можно убедить изводить живых людей изнурительными болезнями, и если мертвецы могут переноситься из места своего погребения в угол комнаты, то я не понимаю, почему бы им, прощаясь с нами для возвращения в среднюю вселенную, верхнюю вселенную, нижнюю вселенную или вообще туда, где они живут, когда не ходят в гости, не оставить своих костей в комнате, где их так удобно положить в сосуды!

После этого мать взялась за бедного старика Ахуну. Она напустила на него дух отца Каaукуу, который будто бы прикорнул в углу и приказывал Ахуне открыть ей тайну кладбища. Я пытался ободрить Ахуну, советовал предложить покойнику самому открыть этот секрет—ведь он знает его лучше кого бы то ни было, раз живет там уже больше ста лет. Но Ахуна был человек старой школы. Скептицизма в нем не было ни на иоту! Чем больше стращала его Хивилани, тем больше катался он по полу и тем громче хныкал.

Но когда он начал кусать себя, я сдался. Мне стало жаль старика, да и залюбовался я им. Это был изумительно твердый человек, несмотря на всю свою духовную темноту! Обуянный страхом тайны, тяготевшей над ним, простодушно веря в заклинания Хивилани, он был раздираем внутренними противоречиями. Мать была его живая алии, его алии капо (священная предводительница). Он должен был хранить верность ей, но еще больше обязан он был верностью всем мертвым и исчезнувшим алии, которые полагались на него, уповая, что он не даст потревожить их кости.

Я сдался. Но и я выставил свои условия! Отец мой, человек новой школы, не пускал меня в Англию учиться; падение цен па сахар было для него достаточной причиной. Моя мать, человек старой школы, также отказывала мне в этом—своей темной душой она мало ценила образование, но, однако, понимала, что образование ведет к неверию, к неуважению старины. А я хотел учиться, хотел изучать искусства, науки, философию, знать все, что знает старый Говард, все, что позволяло ему, стоя одной ногой в могиле, бесстрашно насмехаться над суевериями и давать мне читать Жюля Верна. Он в

свое время учился в Оксфордском университете, и заразил меня тягой в Оксфорд.

Кончилось тем, что Ахуна и я, старая школа и новая школа, заключили между собой союз и победили. Мать обещала заставить отца послать меня в Англию, хотя бы ей даже пришлось напоить его. Говард будет сопровождать меня, дабы я мог пристойно похоронить его в Англии. Чудак он был, этот старый Говард! Позвольте рассказать вам о нем маленький анекдот. Это было в ту пору, когда Калакауа отправился в свое кругосветное путешествие—помните, еще Армстронг и Джедд, и пьяный лакей немецкого барона сопровождали его. Калакауа предложил Говарду...

Но тут на принца Акули свалилась беда, которой он давно опасался. Старая вахине окончила свою леи хала! Босоногая, без всяких женских украшений, одетая в рубаху из полинялой бумазеи, с увядшим старым лицом и изуродованными работою руками, она пала перед ним ниц и затянула в его честь меле, предварительно надев ему на шею леи (венок). Правда, хала одуряюще пахла, но поступок старухи был прекрасен, и сама старуха показалась мне прекрасной—под свежим впечатлением рассказа, я невольно представил себе, что она похожа на Ахуну.

О, действительно, быть алии на Гавайи, даже во вторую декаду двадцатого века, вещь нелегкая! Алии, при всей своей современности, должен быть снисходителен и величественно внимателен к старым людям, целиком принадлежащим прошлому. И этот принц без царства,—его возлюбленный остров давно уже был аннексирован Соединенными Штатами, присоединенный к их территории вместе с остальными гавайскими островами,—этот принц ничем не выдал своего отвращения к запаху хала! Он наклонил голову, и его приветливые слова, произнесенные на чистом гавайском языке, без сомнения остались в сердце старухи счастливым воспоминанием до конца ее дней. Гримаса, которую он украдкой сделал в мою сторону, не появилась бы на его лице, если бы оставалась хоть малейшая вероятность, что старуха заметит ее.

— Итак,—начал принц Акули после того, как вахине удалилась,—мы с Ахуной отправились в нашу грабежную авантюру. Вы слыхали о Железном Береге?

Я кивнул; мне очень хорошо знакома картина этих застывших лавой берегов, как бы окованных железом; ни для высадки, ни для якоря там совершенно нет места; видны только страшные, отвесные стены утесов высотою в тысячи футов; вершины их уходят в облака и исчезают в дождевых шквалах, а основания омываются огромными волнами, разлетающимися мириадами брызг; и днем и ночью от облаков до моря здесь стоит пелена пара от скачущих водопадов, и

непрестанно играют лунные и солнечные радуги. Так называемые долины, а в действительности трещины, прорезывают кое-где циклопические стены, открывая путь к безумно высоким и отвесно обрывистым плоскогорьям, почти недоступным ноге человека; и только дикие козы отваживаются туда забираться.

— Очень мало вы знаете о нем!—возразил принц Акули.—Вы видели этот берег с палубы парохода. А ведь там есть обитаемые долины, из которых нет выхода сушей! Туда можно проникнуть только в каноэ в определенные дни двух месяцев в году. Когда мне было лет двадцать восемь, я забрался однажды в одну такую долину охотиться. Налетевшее ненастье приковало нас здесь на три недели. Тогда пятеро из моей компании, и я в том числе, решили выбраться вплавь через буруны. Трое, действительно, добрались до каноэ, ожидавших нас. Двое других были отброшены на берег, каждый со сломанной рукой. А вся остальная компания осталась там до следующего года, выбравшись лишь через десять месяцев! В числе их был Вильсон. Он был помолвлен и собирался жениться.

Я видел однажды, как коза, подстреленная охотником с плоскогорья, упала у моих ног, слетев с высоты в тысячу ярдов! Поверите ли, в течение десяти минут с плоскогорья сыпался дождь коз и камней! Один из моих лодочников (людей с каноэ) сорвался с тропинки между двумя крохотными долинами Аипио и Луно. Он сперва ударился о камень, торчавший на полутора тысячах футов ниже нас, а затем отлетел на скалистый выступ еще футов на триста. Мы не хоронили его. Мы не могли до него добраться. Там и лежат его кости и, если не случится землетрясения или извержения вулкана, будут лежать до судного дня.

Бог мой! На-днях только, когда наш комитет, конкурирующий с Гонолулу по части привлечения туристов, созвал инженеров выяснить, что стоило бы провести живописную дорогу по Железному Берегу, оказалось, что она обойдется никак не меньше четверти миллиона долларов за милю!

И вот мы с Ахуной, старик и мальчишка, отправились на этот негостеприимный берег в каноэ, в которой гребли старики! Самому молодому из них, рулевому, было за шестьдесят, остальным же никак не меньше семидесяти каждому. Их было восемь человек, и выехали мы в ночное время, так что никто не видал нашего отъезда. И даже эти старики, пользовавшиеся доверием всю свою жизнь, знали тайну только краешком уха! И только до края этой тайны они могли довезти нас!

А на этом краю—теперь я могу вам сказать—лежала долина Понулоо. Мы добрались туда на третий день перед вечером. Дряхлые гребцы выбивались из сил. Потешная была экспедиция! В страшно

бурливой воде время от времени кто-нибудь из престарелых матросов лишался сил и падал без чувств! Один даже умер на второе утро! Мы похоронили его, выбросив за борт. Как жутки языческие церемонии, с которыми седые старцы хоронили своего седого брата. А мне было всего пятнадцать лет; по крови и по языческому наследственному праву я был над ними алии капо, это я-то, начитавшийся Жюля Верна и собиравшийся вскоре уехать в Англию учиться! Отец мой был философом, который в собственной жизни проделал всю историю человека от человеческих жертвоприношений и поклонения идолам до самого бесшабашного атеизма! Неудивительно, что и он подобно древнему Экклезиасту, видел во всем суету, а отдых находил в сахарных акциях, певцах и танцовщицах хула!

Принц Акули умолк и задумался.

— Ну, что же,—вздохнул он,—и я проделал длинный жизненный путь.—И он с отвращением втянул в себя запах хала леи, душивший его.—Смердит стариной!—засвидетельствовал он.—А я?.. Я воняю современностью! Отец мой был прав. Приятней всего—это когда цена на сахар поднимается на сто процентов, или четыре туза выпадают в игре в покер. Если великая война продлится еще год, я наживу чистых три четверти миллиона на каждый миллион! Если завтра будет заключен мир и упадут цены, то я назову вам сотню людей, которые перестанут получать от меня пенсии и вернутся в старые туземные домишки, которые мы с отцом давно им подарили.

Принц хлопнул в ладоши, и старая вахине поплелась к нему со всей торопливой услужливостью, на какую была способна. Она раболепно простерлась перед ним, а он вытащил записную книжку и карандаш из внутреннего кармана.

— Каждый месяц, о старая женщина нашего древнего рода,—обратился он к ней,—ты будешь получать по сельской почте клочок писаной бумаги, который сможешь обменять у любого лавочника и в любом месте на десять долларов золотом. Это тебе на все время твоей жизни! Смотри! Вот я записываю это на память вот этим карандашом на этой бумаге. Это потому, что ты моего рода и моей службы. Потому, что в сей день ты почтила меня своими цыновками и трижды благословенным и трижды восхитительным леи хала!

А ко мне он обратил усталый взор скептика, прибавив:

— А если я завтра умру, то адвокаты станут оспаривать не только мое завещание, но даже мои благотворения и назначенные мною пенсии; они поставят даже под сомнение ясность моего рассудка!

Так вот, то была подходящая пора года; но с нашими старцами на веслах мы не решились высадиться, пока не собрали на крутом берегу половины населения долины Понулоо. Затем мы сосчитали

волны, выбрали наилучшую и доверились ей. Разумеется, каноэ опрокинуло, разнесло вдребезги, но собравшиеся на берегу извлекли нас на сушу невредимыми.

Ахуна стал распоряжаться. С наступлением ночи все должны оставаться в своих домах, собаки должны быть привязаны, и морды их обвязаны так, чтобы лая не было слышно! И вот в ночную пору мы с Ахуной отправились в экспедицию—и никто не знал, пошли ли мы вправо, влево или вверх по долине, к ее голове. Мы несли с собой вяленые ломтики мяса, твердую кашу пойи и сушеный аку, и по количеству провизии я понял, что мы будем отсутствовать несколько дней. О, какая дорога! Подлинная лестница Иакова на небо, так как первая же пали (утес, скала) почти отвесно ниспадала с высоты трех тысяч футов. И весь этот путь мы проделали впотьмах!

На вершине, абсолютно невидимые из долины, которую мы покинули, мы спали до рассвета на твердом камне во впадине, знакомой Ахуне. В ней было так тесно, что мы еле втиснулись. Старик, боясь, как бы я не стал ворочаться в беспокойном юношеском сне, лежал с наружной стороны, обхватив меня руками. На рассвете я понял почему: между мною и обрывом едва было три фута пространства! Я подполз к обрыву, заглянул вниз—и вид этой бездны в сером рассвете заставил меня содрогнуться! Еле-еле я разглядел море прямо под собой в расстоянии полумили. И на такую высь мы поднялись в темноте!

В следующей долине, совсем крохотной, мы нашли следы древнего поселения, но ни одной живой души. Путь был такой же: головокружительные тропки вверх и вниз по отвесным стенам долины, и так из долины в долину. Старый изможденный Ахуна, казалось, таил в себе неисчерпаемые силы! Во второй долине жил в одиночестве старый прокаженный. Он не знал меня, и когда Ахуна сказал ему, кто я такой, он стал пресмыкаться у моих ног, чуть не обнимая их, и своим безгубым ртом бормоча меле в честь моего рода.

Следующая долина оказалась той, которая нам была нужна. Она была длинная и настолько узкая, что на дне ее негде было разводить таро даже для одного человека. Она не имела и берега, ибо поток, размывший в пали эту долину, свергался водопадом с высоты нескольких сот футов. Это был голый пласт размытой лавы, на котором только кое-где могла укрепиться корнями горная растительность. Много миль прошли мы по этой извилистой трещине между отвесными стенами и забрались в геологический хаос, лежащий далеко за Железным Берегом. На какое расстояние мы углубились в эту долину, я не знаю, но, судя по количеству воды в реке, очень далеко. Мы не добрались до конца долины. Я видел, что Ахуна окидывает взглядом встречающиеся вершины, и понял, что он определяет место одному

ему известным способом. Когда мы, наконец, остановились, то это произошло для меня как-то вдруг, с полной неожиданностью. Очевидно, линии, которые он мысленно проводил, здесь скрещивались. Он сбросил часть провизии и снаряжения, которое нес на себе. Здесь было место, которое мы искали. Я оглядывался во все стороны, на жесткие неумолимые стены, лишенные растительности, и не мог себе представить, какое возможно кладбище в этом твердом камне.

Мы поели, потом разделись для работы. Ахуна позволил мне оставить на себе только рубашку. Он стоял возле меня на краю глубокого пруда, тоже раздетый и страшно костлявый.

«Ты опустись в пруд в этом месте,—сказал он.—Спускаясь, ощупывай камень рукой, и на глубине десяти футов нащупаешь яму, пещеру. Войди в нее головою вперед, но войди медленно—края лавы остры и могут рассечь тебе голову и тело».

«А потом?»—спросил я. «Ты увидишь, что ход расширяется,—был ответ.—Когда пройдешь по этому коридору шестьдесят футов, потихоньку начни подниматься, и голова твоя выйдет из воды в темноте. Там жди меня! Вода очень холодная!»

Мне это не понравилось; я ожидал не холодной воды и не потемок, а костей. «Иди первым!»—сказал я. Старик стал уверять, что не может. «Ты алии, мой князь!—ответил он.—Невозможно, чтобы я вперед тебя вошел в священное хранилище костей твоих царственных предков!»

Но путешествие не улыбалось мне. «Ты брось эту болтовню о князе!—ответил я ему.—Это все вздор! Иди первым, я никому не расскажу об этом!»—«Мы должны угождать не только живым вождям,—настаивал он,—но еще более того мертвецам. Мы не можем лгать усопшим!»

Мы начали спорить, и с полчаса дело стояло на мертвой точке. Я не хотел, а он не мог. Он попробовал, наконец, задеть мою гордость. Он стал воспевать геройские подвиги моих предков; особенно мне запомнилась песнь о Мокомоку, моем прадеде и исполинском отце исполинского Каауку, в которой говорилось, что во время сражения Мокомоку трижды бросался на своих врагов, хватал той и другой рукой за шею по воину и стукал их головами, пока они не умирали! Но не это меня убедило. Мне стало жаль старого Ахуну! Он был положительно вне себя от страха, что экспедиция может сорваться! А я восхищался стариком, вспоминая, как он спал между мною и бездной, оберегая мою жизнь.

Итак, повелительным тоном, как настоящий алии, я промолвил: «Ты тотчас же последуешь за мной!»—и нырнул. Все, что он сказал, оказалось правдой. Я нашел вход в подземный коридор, осторожно

проплыл его, порезав плечо об острый выступ лавы, и вынырнул в потемках из воды. Не успел я сосчитать и трех десятков, как он вынырнул рядом, положил на меня руку, чтобы удостовериться, я ли это, и приказал мне проплыть впереди его сотню футов. Тут мы нащупали дно и влезли на камни. А света все не было, и я, помню, радовался тому, что на нашу высь не могут забраться многоножки!

Ахуна имел при себе нечто в роде бутылки из кокосового ореха, плотно закупоренную; в ней был китовый жир, вероятно, попавший на берег Лаканайи лет за тридцать до этого. Изо рта он вынул непромокаемую спичечную коробку, составленную из двух пустых ружейных патронов. Он зажег фитиль, плававший в масле. Я осмотрелся—и меня постигло разочарование. Это был не погребальный склеп, а просто лавовая труба, какие встречаются на всех здешних островах.

Сунув мне в руку светильник, Ахуна предложил итти вперед, предупредив, что путь будет длинный, но не очень. Путь оказался длиной по крайней мере в милю, по моим соображениям, а иногда мне казалось,—миль в пять; дорога шла в гору. Когда, наконец, Ахуна остановил меня, я понял, что мы близки к цели. Он стал тощими коленями на остроконечные глыбы лавы и обхватил мои колени костлявыми руками. Свободную мою руку он положил себе на голову и принялся воспевать дрожащим, надтреснутым голосом всех моих предков и их высокие достоинства. Окончив, он промолвил:

«О том, что ты здесь увидишь, не рассказывай никому, ни Канау, ни Хивилани. В Канау ни капли святости. Душа его полна сахаром и конскими заводами. Я знаю, он продал плащ из перьев, который носил его дед, английскому коллекционеру за восемь тысяч долларов и на другой же день проиграл деньги в «поло» между Мауи и Аахау. Хивилани, мать твоя, полна святости. В ней слишком много святости. Она стареет, слабеет головою и не в меру якшается с колдунами...»

«Хорошо,—ответил я.—Я никому не скажу. Если бы я рассказал, мне пришлось бы еще раз поехать сюда. А я не хочу повторять путешествие. Найду какую-нибудь другую прогулку. Этого я не стану больше проделывать!»

«Хорошо,—проговорил он и поднялся, отступив, чтобы я вошел первым. И прибавил:—Твоя мать стара; я, как обещал, принесу ей кости ее матери и ее деда. Довольно ей до самой смерти; если же я умру раньше ее, так ты позаботься, чтобы все кости ее семейного собрания были помещены в Королевский Мавзолей».

Я осмотрел музеи на всех островах,—продолжал принц Акули,—и должен сказать, что все их коллекции, собранные вместе, не могут сравниться с тем, что я видел в погребальной пещере Лаканайи!

Подумайте! Мы не даром ведем самую высокую и древнюю генеалогию на островах. Здесь было все, о чем я слыхал или мечтал, и многое, о чем я не имел представления. Пещера была изумительная! Ахуна бормотал молитвы и меле, расхаживал кругом, зажигал лампады с китовым жиром. Здесь лежали все наши гавайские предки от начала гавайских времен. Одна за другою связки костей, бережно завернутые в тапа; ну, точь-в-точь посылочное отделение почтовой конторы!

А какие предметы! Кахили от небольших кисточек, которыми отгоняют мух, до царственных регалий, огромных, как похоронные плюмажи [1]) с ручками от полутора до пятнадцати футов длины. И какие ручки! Из дерева «кауила», инкрустированные перламутром или слоновой костью, с искусством, вымершим среди наших мастеров более ста лет назад! Это был царский фамильный чулан. Впервые я тут увидел вещи, о которых раньше только слыхал, как, например, пахоа, сделанные из китового уса, подвешиваемые за косички из человеческих волос и носимые на груди только самыми высокими вождями!

Сколько тут было тапа и цыновок самых редких и древних сортов, плащей, леи, шлемов, совершенно бесценных, кроме совсем обветшавших, из перьев самых редкостных птиц—мамо, иви, акакапе, иоо. Один плащ из перьев мамо был лучше самого дорогого плаща в Египетском Музее Гонолулу, а ведь те ценятся от полумиллиона до миллиона долларов. Я невольно подумал: «Какое счастье, что Канау ничего об этом не знает!»

Какая масса предметов! Резные тыквы и кубышки, скребки из раковин, сети из волокон олона, джонка из йе-йе, рыболовные крючки из всякого рода костей, ложки из раковин. Музыкальные инструменты давно забытых веков—укуке и носовые флейты—киокио, на которых играют ноздрею, заткнув другую. Табу-чаши для пойи, для мытья пальцев, шилья божков-леворучек, резанные из лавы плошки, каменные ступки и песты. И тесла, целые груды их, от маленьких, в унцию весом, для тонкого ваяния идолов, и до пятнадцатифунтовых, для рубки деревьев, и все это с чудесными рукоятками.

Были тут каэкеке—знаете, эти наши древние барабаны: куски выдолбленного кокосового ствола, на одном конце обтянутые кожей акулы. Ахуна показал мне первый каэкеке на всей Гавайи и рассказал его историю. Невероятно древняя вещь! Он даже боялся прикасаться к ней, чтобы она не рассыпалась прахом; обрывки кожи еще висели на барабане.

«Это самый древний каэкеке, отец всех наших каэкеке!—говорил Ахуна.—Кила, сын Моикехи, привез его из далекой Райятеа на Южном океане. Сын Кила, Кохаи, приплыл оттуда же; его не

---

[1]) Плюмажи — украшения из перьев.

было десять лет, и он привез с собой из Таити первые плоды хлебного дерева, которые пустили ростки и размножились на гавайской земле».

А кости, кости! Рядом с маленькими связками лежали целые скелеты, завернутые в тапа и положенные в каноэ для одного, двух и трех гребцов из драгоценного дерева коа с резными украшениями из дерева виливили. Возле безжизненных костей лежали воинские доспехи—старые, заржавленные пистолеты, пищали и пятиствольные пистоли, длинные кентукийские винтовки, мушкеты, которыми торговала еще компания Гудсонова залива, кинжалы из зубов акулы, деревянные кортики, стрелы и копья с деревянными наконечниками, обугленными на огне, что придает им железную твердость.

Ахуна сунул мне в руку копье с наконечником из заостренной, длинной берцовой кости человека и поведал историю копья. Предварительно, однако, он развернул длинные кости, плечевые кости и кости ног из двух связок, точь-в-точь вязанки хвороста! «Это,—объявил Ахуна, показывая содержимое одной из связок,—Лаулани; она была женой Акаико, кости которого,—их ты держишь теперь в руке, они, заметь, много крупнее,—были облечены плотью рослого семифутового мужчины, весившего триста фунтов триста лет тому назад. А этот наконечник копья сделан из берцовой кости Кеолы, могучего борца и скорохода своего времени. Он полюбил Лаулани, и она бежала с ним. И в давно забытой схватке на песках Калини Акаико прорвал фронт врага, схватил Кеолу, любовника своей жены, бросил его наземь и перепилил его шею ножом из акульей челюсти. Встарь, как и всегда, мужчина бился с мужчиной из-за женщины. А Лаулани была прекрасна; подумай, Кеола из-за нее превратился в наконечник копья! Она сложена была как богиня, тело ее было как полная чаша восторгов, а пальчики, с раннего детства ломи (массированные), были крохотные и тонкие. Десять поколений помнили ее красоту! Певчие твоего отца и сейчас воспевают ее прелести в хула, названной по ее имени. Вот какова была Лаулани, которую ты держишь в своих руках!»

Ахуна смолк, а я все смотрел и смотрел на кости, обуреваемый мыслями. Старый пьяница Говард давал мне читать Теннисона, и я часто уносился мечтой в «Королевские Идиллии». «Вот, было таких же трое,—размышлял я,—Артур, Ланселоо и Джиневра. И вот чем все это кончилось, вся жизнь, борьба, устремления и любовь! Усталые души давно погибших людей заклинают теперь толстые старухи и шелудивые колдуны, а кости их оценивают коллекционеры, проигрывают в карты и на конских скачках, или продают за наличные деньги, помещают их в сахарные акции...»

Меня точно озарило. В этом погребальном склепе я получил великий урок. И я сказал Ахуне: «Копье с наконечником из

берцовой кости Кеолы я возьму себе. Я его никогда не продам, оно всегда будет со мной».

«А для чего?»—спросил он. И я ответил: «Для того, чтобы созерцание его укрепляло меня в резвости рук и в твердости ног на земле; я буду знать, что мало кому на земле достается счастье оставить памятку о своем «я» хотя бы в виде наконечника для копья через три столетия после кончины...»

И Ахуна склонил голову и превознес мою мудрость. Но в этот момент давно сгнившая веревка из волокон олоны порвалась, скорбные кости Лаулани вырвались из моих рук и рассыпались по каменистому полу. Одна берцовая кость, отскочив, упала в тень лодочного носа, и я решил взять ее с собой. Я стал помогать .Ахуну собирать и связывать кости, чтобы он не заметил похищенной мною.

«А вот,—говорил Ахуна, представляя меня другому моему предку,—твой прадед Мокомоку, отец Кааукуу. Смотри, какие огромные кости: он был великан! Я понесу его, ибо тебе трудно будет нести тяжелое копье Кеолы. А вот Лелемахоа, твоя бабушка, мать твоей матери; ее понесешь ты. День теперь короток, а мы должны проплыть под водой прежде, чем тьма сокроет солнце от мира».

Туша лампы погружением фитиля в масло, Ахуна не заметил, как я подложил берцовую кость Лаулани к костям моей бабушки.

Рев автомобиля, присланного, наконец, из Олоконы нам на выручку, прервал рассказ принца. Мы попрощались с древней вахине. Когда мы отъехали с полмили, принц Акули возобновил повествование.

— Итак, мы с Ахуной вернулись к Хивилани, и к ее счастью, которое длилось до самой ее смерти,—а умерла она в следующем году,—в сосудах ее сумеречной комнаты упокоилось еще двое из ее предков. Она сдержала свое обещание и уговорила отца отправить меня в Англию. Я взял с собой старого Говарда; он воспрянул духом и опроверг докторов—только через три года я похоронил его в недрах семейного склепа! Иногда мне кажется, что это был самый блестящий мужчина, которого я когда-либо знал! Ахуна же умер только после моего возвращения из Англии, умер последним хранителем наших тайн алии. И на смертном одре снова взял с меня клятву: никогда не открывать место нахождения безымянной долины и никогда туда не возвращаться!

Я забыл вам рассказать о многом, что я видел в пещере в тот единственный раз. Там были кости Куми, почти полубога, сына Туи Мануа из Самоа, который взял жену из моего рода, чем приобщил мою генеалогию к небесам. Там же были и кости моей прабабушки, той, что спала на кровати, преподнесенной ей лордом

Байроном. Ахуна намекнул на легенду, объяснявшую причины этого дара, а также упомянул об исторически удостоверенном факте продолжительной стоянки «Блонды» в Олоконе. И я держал в руках эти бедные кости,—кости, некогда облеченные плотью красавицы, кипевшей умом и жизнью, горевшей любовью, обнимавшей любимого руками, ласкавшей его глазами и губами и зачавшей меня в глубине поколений. Это были прекрасные переживания! Правда, я человек современный. Я не верю ни в старинную дребедень, ни в кахуна (жрецов). А все же в этой пещере я видел такие вещи, о которых не смею сказать вам и которые после смерти Ахуны знаю только я один! У меня нет детей. Со мной прекращается мой древний род. У нас теперь двадцатый век, и мы пахнем бензином. И все же эти невысказанные тайны умрут со мной! Я никогда не возвращусь в древний склеп. И в будущем ни один человеческий глаз не увидит его никогда до той минуты, когда землетрясения раздерут грудь земли и вышвырнут тайны, зарытые в сердце гор!

Принц Акули умолк. С явным облегчением он снял с шеи леи хала, фыркнул и, вздохнув, украдкой швырнул венок в кусты (лантана).

— Ну, а что же сталось с берцовой костью Лаулани?—тихонько спросил я.

Он молчал, пока мы не пролетели добрую милю лугов, сменившихся плантациями сахарного тростника.

— Она теперь у меня,—ответил он, наконец.—И возле нее лежит Кеола, убитый прежде времени и превращенный в наконечник копья за любовь к женщине, кость которой покоится возле его кости. Этим бедным трогательным костям я обязан в жизни больше, чем чему бы то ни было! Они попали в мои руки в период возмужания. Они совершенно изменили весь уклон моей жизни и направление моего ума! Они научили меня скромности и смирению, поколебать которые не удалось даже состоянию моего отца! Как часто, когда женщина готова была завладеть моей душой, я шел смотреть на берцовую кость Лаулани. И как часто, в минуты гордой самоуверенности, беседовал я с останками Кеолы на конце копья—Кеолы, быстрого бегуна, могучего борца и любовника, похитителя жены своего царя! Созерцание их всегда успокаивает меня, и могу даже сказать, что я построил на них свою веру и практику жизни!

Вайкики, Гонолулу,
Гавайские острова
16 июля 1916

ДИТЯ ВОДЫ

Я лениво слушал бесконечные песни Кохокуму о подвигах и приключениях полубога Мауи, полинезийского Прометея, выудившего сушу из пучин океана удочкой, прикрепленной к небу, поднявшего небо, под которым раньше люди ходили на четвереньках, не имея возможности выпрямиться, остановившего солнце с его шестнадцатью перепутанными ногами и заставившего его медленнее двигаться по небу; очевидно, солнце было членом профессионального союза и признавало шестичасовой рабочий день, тогда как Мауи стоял за свободу труда и за двенадцатичасовой рабочий день...

— А вот это,—говорил Кохокуму,—из фамильной меле королевы Лилиуокалани:

Мауи расшевелился и стал сражаться с солнцем
При помощи силка, который он расставил.
И солнце было побеждено зимою,
А лето победил Мауи...

Будучи сам уроженцем Гавайских островов, я лучше знал местные мифы, чем этот старый рыбак, хотя и пользовался его памятью, дававшей ему возможность воспроизводить их часами без перерыва.

— И ты веришь в это?—спросил я на мягком гавайском языке.

— Это было очень, очень давно!—задумчиво ответил он.—Своими глазами я не видел Мауи. Но все наши старики, от глубочайшей древности, рассказывают нам об этом, как я, старик, рассказываю моим сыновьям и внукам, и так до скончания веков.

— И ты веришь,—настаивал я,—что фокусник Мауи заарканил солнце, как дикого быка, и поднял небо над землею?

— Я человек маленький и не мудрый, о, Лакана,—ответил мне рыбак.—Но я читал библию, которую миссионеры перевели для нас по-гавайски, и там сказано, что ваш Великий Изначальный Муж создал землю, и солнце, и луну, и звезды, и всяких тварей от лошади до таракана, и от многоножки и москита до морской вши и медузы, и мужчину, и женщину,—все решительно—и все это в шесть дней! Ну, что ж, Мауи столько не сделал. Он не сотворил ничего. Он привел вещи в порядок, и только—и на это у него ушло много, много времени. Во всяком случае, легче и проще поверить в маленького фокусника, чем в большого фокусника!

Что мог я на это ответить? Это была сама логика! Кроме того, у меня болела голова. И ведь вот что любопытно, это я должен признать: теория эволюции учит нас, что человек действительно бегал на четвереньках, прежде чем начал ходить на двух ногах; астрономия определенно утверждает, что скорость вращения земли на ее оси непременно уменьшается, и, стало быть, увеличивается долгота дня; а сейсмологи допускают, что все Гавайские острова были подняты со дна океана вулканическими силами [1])!

К счастью, я увидел, что бамбуковый шест, плававший на поверхности воды в нескольких сотнях футов расстояния, вдруг стал торчком, и заплясал, как бешеный. Это отвлекло нас от бесполезных споров; мы с Ахуной схватили весла и направили наше маленькое каноэ к танцующему шесту. Кохохуму поймал лесу, привязанную к концу шеста, и вытащил из воды двухфутовую рыбу укикики, отчаянно бившуюся и сверкавшую серебром на солнце; брошенная на дно лодки, она продолжала отбивать барабанную дробь. Кохокуму взял слизистую каракатицу, откусил зубами трепетный кусок наживки, нацепил его на крюк и бросил за борт лесу и грузило. Шест лег плашмя на воду, и палка медленно поплыла прочь. Оглядев десятка два таких шестов, расположенных полукругом, Кохокуму вытер руки о голые бока и затянул скучную и древнюю, как он сам, песнь о Куали:

О, великий рыболовный крюк Мауи!
Манаи-и-ка-ланин („к небесам прикрепленный“)!
Витая из земли леса держит крючок,
Спущенный с высокой Кауики!
Его наживка — красноклювый Алаа,
Птица, посвященная Хине.
Она погружается до Гавайи,
Трепеща и в муках умирая!
Поймана суша под водою,
И всплыла на поверхность,
Но Хина спрятала крыло птицы
И разбила сушу под водою!
Внизу наживка была сорвана,
И тотчас же сожрана рыбами
Улуа глубоких тинистых заводей!

---

[1]) Гавайи—острова безусловно вулканического происхождения (подняты на поверхность океана вулканическими силами). Расположенные в глубоких частях моря, там, где оно достигает 3700—5500 *м* в глубину, Гавайи имеют горы, достигающие поразительной высоты (более 4000 *м*). Вулканические конусы почти сливаются друг с другом.

Однако, совпадение мифа с научно-установленными фактами, разумеется, не является доказательством „боговдохновенности“ религиозного мифотворчества. Известно, что в религиозных мифах народы древности нередко лишь синтезировали в образной форме результаты многовековых наблюдений.

Голос у Кохокуму хриплый и какой-то скрежещущий—накануне, на поминках, он слишком много выпил, и все это не могло смягчить моего раздражения. Голова болела, глаза с болью жмурились от ярких отблесков солнца; тошнило от пляски на волнующемся море. Воздух душный, застоявшийся. На подветренной стороне Ваихее, между белым взморьем и гребнем горы, ни малейшего ветерка, удушливый зной. Я так отвратительно чувствовал себя, что уже решил отказаться от ловли и направиться к берегу.

Лежа на спине и закрыв глаза, я потерял счет времени. Я даже забыл, что Кохокуму поет, пока он, умолкнув, не напомнил о себе. Раздавшееся восклицание заставило меня открыть глаза, несмотря на яркий блеск солнца. Старик смотрел в воду через водяную трубку.

— Огромный!—сказал он, передавая мне прибор и прыгая в воду. Он погрузился без всплеска, не оставив даже ряби, перевернулся вниз головой и пошел на дно. Я следил за его движениями через водяную трубку, представлявшую продолговатый ящик фута в два длины, открытый на одном конце, а с другого конца заклеенный куском обыкновенного стекла.

Кохокуму был скучный малый и выводил меня из терпения своей болтливостью; но я невольно залюбовался им теперь. Наверное, старше семидесяти лет, тощий, как зубочистка, и сморщенный, как мумия, он проделывал то, чего не могли бы и не захотели проделать многие молодые атлеты моей расы! До дна было по крайней мере сорок футов. И на дне я увидел заинтересовавший его предмет, то прятавшийся, то высовывавшийся из-за глыбы коралла. Острый взгляд Кохокуму подметил выдававшееся щупальце спрута. Когда он бросился в воду, щупальце лениво спряталось. Достаточно было мельком увидеть одно это щупальце, чтобы догадаться об огромных размерах чудовища.

Давление воды на глубине сорока футов не шутка даже для молодого человека, между тем оно, повидимому, не причинило ни малейшего неудобства этому старику. Я убежден, что он даже не замечал его! Ничем не вооруженный, совершенно голый, если не считать короткого мало,—передника вокруг бедер,—он не смущался размерами чудовища, которого считал своей добычей. Я видел, как он ухватился правой рукой за выступ коралла, а левую руку до плеча сунул в пещеру. Прошло полминуты; он копался там и ощупывал что-то левой рукой. Щупальце за щупальцем, покрытые мириадами присосок, показались из-под коралла. Ухватив его руку, они обвили ее, как змеи. Наконец, дернувшись, показался и спрут: настоящий чорт—осьминог.

Между тем старик как будто не торопился вернуться в родную стихию, на воздух. На глубине сорока футов под водою, обернутый

спрутом по крайней мере в девять футов ширины между кончиками щупальцев, он холодно и даже небрежно сделал единственное движение, отдававшее в его власть чудовище: он сунул худощавое, ястребиное лицо в центр слизистой, извивающейся массы и уцелевшими старыми клыками прокусил сердце чудовища. Сделав это, он стал подниматься вверх, медленно, как должен делать пловец, меняющий давление при переходе из глубины на поверхность. Выплыв возле каноэ, не вылезая еще из воды и стряхивая с себя присосавшееся к нему чудовище, неисправимый греховодник затянул торжественное пуле, которое распевали бесчисленные поколения ловцов осьминогов:

О, Каналоа запретных ночей!
Стань прямо на твердой земле!
Стань на дне, где лежит осьминог!
Стань и возьми осьминога из моря глубокого!
Поднимись, поднимись, о, Каналоа!
Шевелись! Шевелись! Разбуди осьминога!
Разбуди лежащего плашмя осьминога! Разбуди распростертого
осьминога...

Я закрыл глаза и уши, не протянув ему даже руки, ибо совершенно был уверен, что он и без посторонней помощи взберется в нашу неустойчивую скорлупку, нисколько не рискуя опрокинуть ее.

— Замечательный спрут!—говорил он.—Это вахине (самка)! А теперь я спою тебе песнь о ракушке каури, о красной ракушке каури, которою мы пользовались, как наживкою для спрутов...

— Ты возмутительно вел себя ночью на поминках!—отпарировал я.—Я все знаю! Ты здорово шумел! Ты так пел, что всех оглушил! Ты изругал сына вдовы. Ты пил, как свинья; нехорошо в твоем возрасте глотать целыми кружками; когда-нибудь ты проснешься мертвецом. Тебе пора быть развалиной...

— Ха!—хихикнул он.—А ты, который не пил и еще не родился, когда я уже был стариком, ты, улегшийся вчера с солнцем и цыплятами, ты сейчас развалина! Вот, объясни мне это! Мои уши так же жаждут услышать тебя, как моя глотка жаждала пива этой ночью. И вот, смотри, нынче я, как выразился англичанин, приехавший сюда на своей яхте, в наилучшем виде, в чертовски хорошем виде!

— Что с тобой спорить!—возразил я, пожав плечами.—Только одно ясно: ты даже чорту не нужен! Молва о твоих безобразиях опередила тебя.

— Нет,—задумчиво ответил он,—не в этом дело. Может быть, чорт и рад был бы моему приходу—у меня припасено для него несколько славных песенок, старых скандалов и сплетен о высоких алии; он будет от них хвататься за бока! Позволь, я тебе объясню тайну моего рождения. Море—моя мать! Я родился в двойной каноэ во время шторма, дувшего с Коны в проливе Кахоолава. От этой

матери моей, от моря, я получил свою силу! И когда я возвращаюсь в ее объятия, как бы припадая к ее груди, как вот было сейчас, я становлюсь сильным! Для меня она кормилица, источник жизни...

«Тени Антея!» [1])—подумал я.

— Когда-нибудь,—продолжал старый Кохокуму,—когда я в самом деле состарюсь, люди скажут, что я утонул в море. Но это будет неправда! В действительности, я вернусь в объятия моей матери, чтобы покоиться на ее груди, под ее сердцем, до второго рождения, когда выплыву на солнце, сверкая молодостью и силой, как сам Мауи в золотую пору его юности.

— Странная вера!—заметил я.

— Когда я был моложе, я ломал свою бедную голову над верами, куда более странными!—возразил старый Кохокуму.—Но послушай, о, юный мудрец, мою пожилую мудрость. А знаю я вот что: чем более я стареюсь, тем менее ищу истину вне меня и тем больше нахожу истину внутри себя. Почему пришла мне в голову вот эта мысль о возвращении к моей матери и о возрождении из моей матери? Ты не знаешь? И я не знаю. Но без участия человеческого голоса или печатного слова, без побуждения откуда бы то ни было, эта мысль возникла внутри меня из моих собственных недр, которые так же глубоки, как море! Я не бог! Я ничего не творю! Стало быть, я не сотворил и этой мысли. Человек не творит истины. Человек, если он не слеп, только познает истину, когда видит ее... Или эта мысль, что мне пришла в голову,—сон?

— А может быть, ты сам сон!—засмеялся я.—И я, и небо, и море, и твердая, как камень, земля—все это сон.

— Я часто сам так думаю!—серьезно ответил он.—Очень возможно, что это так. Этой ночью мне казалось, что я птица, жаворонок—красивый, небесный жаворонок, подобный жаворонку горных пастбищ Халеакала. И вот я полетел вверх, вверх, к солнцу, и пою, и пою, как старый Кохокуму не пел никогда. Теперь я тебе рассказываю, как мне показалось, приснилось, будто я жаворонок в небесах. Но, может быть, я, настоящий я и есть эта птица-жаворонок? И, может быть, то, что я тебе рассказываю, и есть сон, который снится мне, птице-жаворонку? Кто ты такой, чтобы ответить мне на это «да» или «нет»? Посмеешь ли ты сказать мне, что я не жаворонок, который спит и грезит, будто он старый Кохокуму?..

---

[1]) Антей — по греческой мифологии — сын Посейдона и Геи (богини земли), великан, который насильно заставлял всякого чужестранца вступать с ним в единоборство и побеждал его, почерпая новые силы при каждом прикосновении к своей матери-Земле.

Я пожал плечами, а он с торжеством продолжал:

— И почем ты знаешь, что ты не старый Мауи, который спит и видит во сне, будто он Джон Лакана, разговаривающий со мною в каноэ? Кто знает, не проснешься ли ты старым Мауи, и не почешешь ли себе боков, и не скажешь ли, что тебе приснился забавный сон, будто ты хаоле?

— Не знаю,—согласился я.—Да ты и не поверил бы мне!

— В снах много больше того, что нам известно!—говорил он с большой важностью.—Сны уходят вглубь, назад, может быть, до начала начал! Кто знает, не приснилось ли только старому Мауи, что он вытащил Гавайи со дна морского? В таком случае и Гавайи— и сон, и ты, и я, и вот этот спрут—только части сна Мауи, да и птица-жаворонок тоже!

Он вздохнул и уронил голову на грудь.

— А я ломаю свою старую голову над неисповедимыми таинствами,—продолжал он,—пока не устану и не захочу забвения; тогда я начинаю пить пиво, хожу на рыбную ловлю, пою старые песни и вижу себя во сне птицей-жаворонком, распевающим в небесах. Это я люблю больше всего, и чаще всего об этом я грежу, когда выпью много кружек...

И он с унынием посмотрел на дно лагуны через водяную трубку.

— Теперь долго не будет клева!—объявил он.—Поблизости шатаются акулы, и нам придется подождать, пока они уплывут. А чтобы ожидание не показалось тебе скучным, я спою песнь Лоно, которая поется, когда каноэ вытаскивают на берег. Ты помнишь?

Отдай мне ствол дерева, о, Лоно!
Отдай мне главный корень дерева, о, Лоно!
Отдай мне ухо дерева, о, Лоно!

— Будь милостив, Кохокуму, и не пой!—оборвал я его.—У меня голова трещит, и от твоего пения делается еще хуже. Может быть, ты и очень в ударе нынче, но голос твой ни к чорту не годится! Лучше уж рассказывай сны или какие-нибудь небылицы!

— Плохо, что ты болен, а такой молодой!—весело согласился он.—Ну, я не буду петь больше! Я расскажу тебе одну вещь, которой ты не знаешь, и о которой никогда не слыхал; это уже не сон и не небылица, но вещь, которая наверное случилась. Некогда, давно, жил здесь, у этого взморья, у этой самой лагуны, мальчик по имени Кеикаваи, что означает, как тебе известно, Дитя Воды. Богами его были море и рыбные боги, и родился он со знанием языка рыб; сами рыбы не знали этой речи, пока акулы не выдумали ее в один прекрасный день, а рыбы подслушали.

Случилось это вот как. Быстрые гонцы разнесли повсюду весть и приказы, что царь объезжает остров и что на следующий день

жители должны устроить ему луау (пирушку). Жителям маленьких местечек было очень трудно наполнять множество знатных желудков едою, когда царь совершал свой объезд. Ведь он приезжал всегда со своею женою, ее служанками, со своими жрецами и колдунами, танцовщицами и флейтистами и певцами хула, воинами и слугами и высокими вождями с их женами, их колдунами, их бойцами и их слугами.

Иногда в местечках, как Ваихи, путь такого царя отмечался после продолжительными бедностью и голодом. Но царя надо кормить, и нехорошо гневить царя! И вот, когда в Ваихи пришла весть о приближающемся бедствии, все, что занимались добыванием еды и пищи, с полей, и с прудов, и с гор, и из моря, занялись заготовлением запасов для празднества. И сумели все достать: от самого отборного царского таро до сладких междоузлий сахарного тростника, от опихи до лиму, от кур до диких свиней и щенков, откормленных пойи, и все, кроме одного,—рыбаки не достали омаров!

Надобно тебе знать, что омары были любимым царским блюдом. Он любил их больше всякой другой кай-кай (еды), и гонцы нарочно упомянули об омарах. И вот омаров не оказалось—а нехорошо гневить царское чрево! За рифы забралось много акул—вот отчего пришла беда! Они съели молодую девушку и старика. А из молодых людей, решившихся полезть в воду за омарами, один был съеден, другой лишился руки, а третий руки и ноги.

Но здесь находился Кеикаваи, Дитя Воды, мальчик всего одиннадцати лет, зато наполовину рыба и говоривший на языке рыб. И вот пошли набольшие к его отцу и стали просить Дитя Воды нырнуть за омарами, чтобы было чем наполнить царское чрево и отвести его гнев.

То, что случилось тогда, всем известно и все это видели. Рыбаки и их женщины, и разводители таро, и птицеловы, и набольшие, и все ваихаи, собрались и глядели на скалу, на краю которой стоял Дитя Воды, глядя на омаров, видневшихся на дне.

Одна из акул, взглянув вверх своими кошачьими глазами, заметила мальчика и кликнула акулий клич о «свежем мясе», созывая всех акул в лагуну. Акулы всегда действуют дружно: вот почему они так сильны. И акулы отозвались на клич: сорок штук собралось их, коротких и длинных, тонких, тощих и откормленных, сорок ровным счетом; и стали они переговариваться между собою: «Поглядите на лакомую пищу, на этого мальчика, на сладкий кусочек человеческого мяса без морской соли, которая нам надоела; вкусный и нежный, он так и растает под сердцем, когда брюхо наше проглотит его и станет высасывать из него сладость».

И еще говорили они: «Он пришел за омарами. Когда он нырнет, он кому-нибудь из нас достанется. Это не старик, которого мы

съели вчера, сухой и жесткий от старости, и не юноша, члены которого тверды и мускулисты; он нежный, такой нежный и мягкий, что растает в глотке прежде, чем брюхо проглотит его. Вот когда он нырнет, мы все бросимся к нему, и одному из нас, счастливцу, достанется он: хап—и нет его! Один укус, один глоток—и войдет он в брюхо счастливейшего из нас!»

А Кеикаваи, Дитя Воды, подслушал этот разговор, ибо он знал акулий язык; и взмолился он на языке акул акульему богу Моку-Халии, а акулы услышали это, замахали друг другу хвостами, стали подмигивать друг дружке кошачьими глазами в знак того, что они понимают его речь.

И промолвил он: «Теперь я нырну за омарами для царя. И не случится со мною беды, ибо акула с самым коротким хвостом мне друг, и она защитит меня».

С этими словами он поднял глыбу застывшей лавы и бросил ее в воду; с громким всплеском она упала в двадцати футах по одну сторону мальчика. Все сорок акул кинулись к месту всплеска, а он нырнул, и пока они разобрали, что промахнулись, он успел опуститься на дно, вернуться назад, и вылезть на берег, и в его руке был большой омар, омар вахине, полный яиц для царя.

«Га!—в великом гневе говорили акулы,—среди нас есть предатель! Этот лакомый ребенок, этот сладкий кусочек изобличил одну из нас, которая спасла его. Давайте меряться хвостами!»

Так они и сделали; они выстроились длинным рядом бок-о-бок, при чем хвостатые старались надуть других и вытягивались, чтобы казаться длиннее, а долгохвостые также тянулись и обманывали друг друга, чтобы их кто-нибудь не перехитрил и не перетянул. Они сильно обозлились на короткохвостую, кинулись на нее со всех сторон и сожрали, так что от нее ничего не осталось.

И опять они стали ждать, когда нырнет Дитя Воды, и прислушиваться, и опять Дитя Воды взмолился на акульем языке богу Моку-Халии и промолвил: «Акула с самым коротким хвостом мне друг, она защитит меня!» И опять Дитя Воды бросил глыбу лавы, на этот раз в двадцати футах по другую сторону. Акулы кинулись туда, где плеснул камень, второпях затолкались и так вспенили хвостами воду, что ничего нельзя было видеть; каждый думал, что кто-нибудь другой глотает лакомый кусочек. А Дитя Воды опять вылез с другим жирным омаром для царя.

Оставшиеся тридцать девять акул померялись хвостами и слопали акулу с самым коротким хвостом, так что всего осталось тридцать восемь акул. И Дитя Воды продолжал поступать так и дальше, а акулы продолжали делать то, что я уже говорил тебе; и за каждую акулу, съеденную ее братьями, на скале появлялся новый жирный

омар для царя. Разумеется, акулы ссорились, спорили и шумели, когда дело доходило до хвостов; но виновник всегда отыскивался, и в конце концов остались две акулы, две самые большие акулы из всех сорока.

И опять Дитя Воды объявил, что акула с самым коротким хвостом его друг, и надул обеих акул глыбой лавы, и вынес еще одного омара. Каждая из акул настаивала, что у другой хвост короче, и они стали драться, и акула с длинным хвостом победила...

— Замолчи, о, Кохокуму!—прервал я его;—не забудь, что эта акула уже...

— Я знаю, что ты хочешь сказать,—быстро ответил он мне,— и ты прав: ей долго пришлось есть тридцать девятую акулу, ибо в тридцать девятой акуле уже находилось девятнадцать других акул, которых она съела, а в сороковой акуле было также девятнадцать акул, которых она съела, и у нее уже не было того аппетита, с которым она начинала дело. Но ты не забывай, что ведь акула-то была очень большая!

Так вот, столь долго пришлось ей есть другую акулу и всех девятнадцать акул, сидевших внутри той, что она продолжала еще есть, когда пали сумерки и народ Ваихи пошел по домам с омарами для царя. И что же ты думаешь, разве они не нашли на другое утро на взморье последнюю акулу? Она лопнула от всего, что съела!

Кохокуму сделал паузу и лукаво посмотрел мне в глаза.

— Молчи, о, Лакана!—остановил он слова, готовые сорваться с моих уст.—Я знаю, что ты теперь скажешь: ты скажешь, что своими глазами я этого ведь не видел и, стало быть, не знаю того, что я тебе рассказываю. Но я знаю и могу доказать. Отец моего отца знал внука деда отца Дитяти Воды. Кроме того, вот на этом утесе, на который я сейчас указываю пальцем, стоял и с него нырял Дитя Воды. Я сам здесь нырял за омарами. Тут для них самое подходящее место! И часто я видел там акул. Там, на дне, я видел и считал— лежат тридцать девять кусков лавы, брошенных Дитятей Воды, как я рассказывал!

— Но...—начал было я.

— А!—оборвал он меня.—Смотри, покуда мы с тобой разговаривали, рыба опять начала клевать!

И он указал на три бамбуковых шеста, поднявших бешеную пляску в знак того, что рыба попалась на крючок и тянет лесу. Нагибаясь за своим веслом, он продолжал бормотать:

— Разумеется, я знаю. Тридцать девять глыб лавы так и лежат там! Ты в любой день можешь сам сосчитать их. Понятно, я знаю, и знаю, что это правда...

Глэн-Эллен
2 октября 1916

СЛЕЗЫ А-КИМА

В китайском квартале Гонолулу стояли великий шум и смятение, но это не была драка. Находившиеся вблизи места происшествия только пожимали плечами и снисходительно улыбались, словно эта перепалка была делом самым обычным.

— Что там творится?—спросил Чин-Мо, прикованный тяжким плевритом к постели, у своей жены, на минутку остановившейся у раскрытого окна послушать.

— Да это А-Ким,—был ее ответ.—Мать опять колотит его!

Все это происходило в саду, за жилыми комнатами, находившимися позади магазина, с улицы украшенного гордой вывеской:

А-КИМ и К⁰

РАЗНЫЕ ТОВАРЫ

Садик был миниатюрен, площадью не больше двадцати квадратных футов, но так искусно разбит, что производил впечатление огромного парка. Это был целый лес из карликовых сосен и дубов, насчитывавших несколько столетий, но в высоту не превышавших двух-трех футов и привезенных на Гавайи с величайшими хлопотами и издержками. Крохотный мостик, не больше шага в длину, аркой возвышался над миниатюрной речепкой со множеством порогов и водопадов, с миниатюрным озером, где плавали золотые рыбки чудесного оранжевого цвета с бесчисленными плавниками, по сравнению с озером и ландшафтом производившие впечатление сущих китов! Со всех сторон на это пространство открывались бесчисленные окошки деревянных домов в несколько этажей. В середине садика, на узенькой песчаной дорожке около озера А-Ким получал свою порку.

А-Ким не был ни юношей, ни ребенком нежного возраста, в котором получают порку. Ему принадлежал магазин «А-Ким и К⁰» и он же заработал деньги за длинный ряд лет для оборудования магазина; началось это с ничтожных сбережений законтрактованного чернорабочего (кули), а закончилось значительным текущим счетом в банке и большим кредитом. Полсотни зим и лет прошли над его головой и мимоходом аккуратненько приплюснули его. Он был невысокого роста и казался круглым, как арбузное семячко. И лицо его было

кругло, как луна. Шелковый костюм его дышал достоинством, а шапочка черного шелка с красной пуговкой наверху,—теперь, увы, свалившаяся наземь,—была как раз такая шапочка, какие носят удачливые и почтенные купцы китайского происхождения.

В данную минуту, впрочем, вид у него был какой угодно, только не достойный! Корчась и извиваясь под целым градом ударов бамбуковой палки, он лежал, согнувшись в три погибели.

А мать, так ловко действовавшая палкой после многолетней практики? Ей было семьдесят четыре года, не меньше! Ее тощие ноги были заключены в полосатые панталоны из тугого, лоснящегося полотна. Редкие седые волосы были неумолимо-плоско зачесаны назад с узкого, прямого лба. Бровей у нее не было: они давно вылезли. Глаза ее, крохотные, как булавочные головки, были чернее черного. Телом она была страшно худа. Под кожей иссохшего предплечья сидели не мускулы, а какие-то кусочки тетивы, туго натянутые на худые кости, и кожа была желтая, как пергамент. И на этой руке мумии плясали и подпрыгивали браслеты, звеневшие при каждом движении.

— Га!—выкрикивала она пронзительным голосом, ритмически отбивая по три удара после каждого своего замечания.—Я запретила тебе разговаривать с Ли-Фаа. Нынче ты останавливался с нею на улице! Целые полчаса вы разговаривали. Это что?..

— Это все проклятый телефон,—бормотал А-Ким, пока она придерживала занесенную палку, прислушиваясь.—Это тебе рассказала Чан-Люси. Я знаю, это она сделала! Она меня выдала! Я прикажу снять телефон! Он от дьявола!

— Он от всех дьяволов!—согласилась Тай-Фу, опять хватаясь за палку.—Но телефон останется. Я люблю разговаривать с Чан-Люси по телефону...

— У нее глаза десяти тысяч кошек!—выпалил А-Ким, дернувшись, и получил новый удар по костям.—Язык десяти тысяч жаб!—выпалил он, снова дернувшись.

— Она нахальная и невоспитанная шлюха!—продолжала Тай-Фу.

— Чан-Люси всегда была такой,—подтвердил А-Ким, как почтительный сын.

— Я говорю о Ли-Фаа!—поправила его мать, подкрепив свои слова палкой.—Ведь ты знаешь, что она только наполовину китаянка. Мать ее была бесстыжая каначка. Она носит юбки, как все эти женщины хаоле (белые), да еще и корсет: я видела своими глазами! А где ее дети? А ведь она похоронила двух мужей...

— Один из них утонул, а другого зашибла лошадь,—добавил А-Ким.

— Один год жизни с ней, о недостойный сын благородного отца, и ты сам рад будешь утопиться или попасть под лошадь!

Подавленное хихиканье и смех, послышавшиеся из-за окон, приветствовали эту фразу.

— Да и ты ведь похоронила двух супругов, почтенная матушка!— возражал А-Ким.

— Но у меня достало ума не выйти за третьего! К тому же мои оба супруга честно померли на своих постелях. Их не расшибала лошадь и в море они не тонули. И какое дело до этого нашим соседям? Разве ты обязан рассказывать им, что у меня было два супруга, или десять, или ни одного? Ты меня опозорил перед всеми нашими соседями, и теперь я тебе задам настоящую трепку!

А-Ким терпеливо перенес новый град ударов, и, когда мать остановилась, задыхаясь от усталости, он промолвил:

— Я всегда молил тебя, почтеннейшая матушка, чтобы ты била меня дома, заперев окна и двери, а не на улице и не в саду за домом!

— Ты назвал эту негодную Ли-Фаа Серебристым Цветком Луны!— довольно нелогично, чисто по-женски возразила Тай-Фу. Впрочем, ей удалось этим отвлечь внимание сына от шпилек, которые он, было, начал подпускать ей.

— Это тебе донесла госпожа Чан-Люси,—заметил он.

— Мне сказали по телефону!—увильнула мать от прямого ответа.—Я не могу узнавать каждый голос, который обращается ко мне по этой сатанинской машине!

Странное дело, А-Ким не делал ни малейших попыток удрать от матери, что было очень легко! Она же со своей стороны находила все новые поводы продолжать порку.

— Упрямец! Почему ты не плачешь? Ублюдок, позорящий своих предков, ни разу я еще не заставила тебя плакать! Еще в ту пору, когда ты был маленьким мальчиком, я не могла заставить тебя плакать! Отвечай мне: почему ты не плачешь?

Выбившись из сил, она уронила палку и вся тряслась, с трудом переводя дыхание.

— Не знаю. Должно быть, у меня манера такая,—отвечал А-Ким, с беспокойством глядя на мать.—Я принесу тебе стул, ты сядь, отдохни, и тебе полегчает!

Но мать, прохрипев что-то, отвернулась от сына и старчески поплелась по дорожке в дом. Подобрав тем временем свою шапочку и приведя в порядок растрепанный наряд, А-Ким, потирая побитые места, глядел ей вслед глазами, полными обожания. Он даже улыбался! Можно было подумать, что он в восторге от порки!

А-Кима колотили таким образом с детских лет, когда он еще жил на высоком берегу у Одиннадцатого порога реки Янг-Цзы-Цзян, где родился его отец, работавший всю свою жизнь с ранней молодости в качестве кули. Когда он умер, А-Ким занялся той же почтенной

профессией. С незапамятных времен мужчины этой фамилии были кули. Еще во времена Христа его предки по прямой линии занимались этим делом: встречали джонки точно такого же вида в пенистой воде у подножья ущелья и, смотря по размерам судна, припрягались к нему по сто-двести кули. Нагнувшись так, что руки их касались земли, а голова была в полуаршине от нее, они тянули джонку по быстринам до конца ущелья.

Повидимому, за весь этот ряд столетий заработная плата кули не повысилась ни на одну крупинку. Отец А-Кима, отец его отца и сам он, А-Ким, получали все то же неизменное вознаграждение—одну четырнадцатую часть цента. Женщины, поступавшие в прислуги, вырабатывали доллар в год. Мастера по плетению неводов из Ти-Ви зарабатывали доллар или два доллара в год. Они жили этим заработком, или, по крайней мере, не умирали с ним. Но у бурлаков бывали удачи, делавшие эту профессию почетной, а бурлацкий цех—сплоченной и наследственной профессиональной корпорацией. Одна из пяти джонок, протаскиваемых вверх или вниз по стремнинам, терпела крушение. На каждые десять джонок одна гибла окончательно. Кули бурлацкого цеха знали капризы и прихоти течения и умели вылавливать сетями, баграми и другими орудиями обильный улов из речных пучин. Кули помельче рангом смотрели на них снизу вверх, ибо бурлак мог позволить себе ежедневно пить кирпичный чай и есть рис четвертого сорта! А-Ким был доволен и даже гордился своим уделом, пока в один весенний день, с изморозью и градом, он не вытащил на берег утопавшего кантонского матроса. И этот странник, оттаяв понемногу у его огня, впервые произнес перед ним волшебное слово: «Гавайи!» Сам-то он не бывал в этом раю рабочих, говорил матрос. Но из Кантона туда уходит немало китайцев, и он слышал, какие письма они присылают домой. На Гавайи не знают ни морозов, ни голода! Даже свиньи,—их там никто не кормит,—жиреют от объедков, которыми пренебрегает человек! Кантонское или янгтсейское семейство могло бы прожить объедками гавайского кули. А жалованье! Золотыми долларами десять в месяц, а торговыми—двадцать в месяц; вот какие контракты подписывали китайские кули с этими белыми дьяволами, сахарными королями! В год такой кули получал чудовищную сумму в двести сорок товарных долларов—во сто крат больше того, что получал кули, каторжно работая на Одиннадцатом пороге реки Янг-Цзы. Словом, гавайскому кули жилось во сто раз лучше, а если исходить из количества труда—так в тысячу раз лучше. И в придачу ко всему—дивный климат!

Когда А-Киму исполнилось двадцать четыре года, он, невзирая на мольбы и побои матери, вышел из древнего и почтенного цеха бурлаков Одиннадцатого порога, предоставил матери наняться

служанкой в дом разбогатевшего кули за годовое жалованье в один доллар и за одно платье в год, ценою не больше тридцати центов, а сам поплыл вниз по Янг-Цзы в широкое море. Немало он пережил приключений, и велики были его труды и испытания, когда он чернорабочим матросом добрался на джонке до Кантона. На двадцать шестом году жизни он продал, по контракту, пять лет своей жизни и труда сахарным королям Гавайи и поплыл в числе восьмисот других законтрактованных кули к далекому острову на вонючем пароходе с пьяной командой, которым управлял сумасшедший капитан и который агентство Ллойда отказывалось регистрировать.

На родине, среди рабочего люда, положение А-Кима, как бурлака, было весьма почетно. На Гавайи, где он получал во сто раз больше, на него смотрели, как на самую низкую тварь. Кули плантации! Что могло быть ниже? Но кули, предки которого таскали на своем хребте джонки через Одиннадцатый порог Янг-Цзы еще до рождества христова, обязательно получает в наследство одну замечательную черту, а именно: терпение. Терпением был наделен и А-Ким. По истечении пяти лет принудительной службы он был так же тощ, как и раньше, но зато на его текущем счету в банке недоставало лишь десяти торговых долларов до полной тысячи.

С этой суммой он мог уехать на Янг-Цзы и зажить настоящим богачом. У него было бы еще больше денег, если бы он не проигрывал иногда в че-фа и фан-тан и если бы не прожил целый год среди скорпионов и сороконожек в тяжелом полусне на душных плантациях сахарного тростника, предавшись курению опиума. Если он не предавался этому все пять лет, так только потому, что это удовольствие очень дорого стоило. Нравственные соображения здесь были не при чем. Просто, опиум стоил дорого—вот и все!

Но А-Ким не вернулся в Китай. Наблюдая деловую жизнь Гавайи, он проникся большим честолюбием. Для основательного изучения дела и английского языка он на шесть месяцев поступил приказчиком в магазин на Гавайи. По истечении полугода он знал эту отрасль дела лучше, чем иной управляющий плантацией положение дел в своих складах. Покидая место, он получал сорок долларов золотом в месяц—восемьдесят товарных, и начал нагуливать жирок. В сравнении с обыкновенным кули он считался уж аристократом! Хозяин магазина предлагал ему шестьдесят золотых долларов в месяц, что составило бы в год сказочную сумму в тысячу четыреста сорок товарных долларов, т.-е. в семьсот раз больше его заработка на Янг-Цзы в роли двуногой лошади. Отклонив предложение, А-Ким отправился в Гонолулу и поступил приказчиком за пятнадцать золотых долларов в месяц в большой универсальный магазин Фонг-Чу-Фонга. Он служил там полтора года и ушел, когда ему исполнилось тридцать три года,

несмотря на то, что китайские хозяева платили ему уже семьдесят пять долларов в месяц. И тогда-то он повесил собственную вывеску:

А-КИМ и К°
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ

Он теперь недурно питался, и в его пополневшей фигуре уже замечались перспективы арбузной округлости, которую он приобрел впоследствии.

Он продолжал богатеть, и когда ему исполнилось тридцать шесть лет, начал быстро полнеть. Будучи членом могущественной и аристократической организации Хай-Гум-Тонг и Ассоциации Китайского Купечества, он привык восседать хозяином на обедах, стоимость которых равнялась тому, что он мог бы заработать в тридцать лет бурлачества на Одиннадцатом пороге. Но ему недоставало двух вещей: жены, а затем матери, которая колотила бы его палкой, как встарь. Достигши тридцати семи лет, он исследовал состояние своего счета в банке. Он равнялся трем тысячам долларов золотом. За две тысячи пятьсот наличными и льготную закладную он мог приобрести трехэтажное деревянное строение и прилежащий участок. Но в этом случае у него осталось бы только пятьсот долларов на жену. Фу-Ий-По готов был взять пятьсот наличными, а на остальные взять вексель из шести процентов.

Тридцатисемилетнему холостяку А-Киму действительно нужна была жена, особенно жена с маленькими ножками. Родившись и выросши в Китае, он представлял себе женщину не иначе, как с изящными маленькими ножками. Но еще больше и гораздо больше, чем жена с маленькими ножками, ему нужна была мать и восхитительные материнские побои. Поэтому он отклонил легкие условия Фу-Ий-По и с гораздо меньшими затратами вывез свою мать, которая служила в доме разбогатевшего кули за годовую плату в один доллар и тридцатицентовое платье; привез ее и сделал хозяйкой трехэтажного деревянного дома с двумя прислугами, тремя приказчиками и мальчишкой для помыканий, специально для нее; это, не считая товаров на десять тысяч золотом, разложенных по полкам, от самого дешевого бумажного крепа до дорогих шелков с ручной вышивкой. Уже в то время А-Ким начал строить карьеру на притоке туристов из Соединенных Штатов!

Тринадцать лет А-Ким счастливо жил со своей матерью и регулярно бывал ею бит за дело и без дела, за действительные или воображаемые провинности. В конце этого периода он так же остро ощущал тоску головы и сердца по жене и тоску чресел по сыновьям, которые бы жили после него и продолжали династию А-Кима. Это была мечта, издревле тревожившая мужчину, начиная с тех древних мужчин, которые захватывали права на охоту, монополизировали отмели для

расстановки верш или штурмовали деревни, предавая мечу их мужское население. В этом сходны между собой цари, миллионеры и китайские купцы из Гонолулу, несмотря на все различия их вкусов и воззрений.

Но идеал женщины, которую А-Ким желал в пятьдесят лет, уже отличался от его идеала женщины в тридцать семь лет! Теперь ему нужна была не с маленькими ножками жена, но свободная, нормальная, молодая, выступающая нормальными ногами женщина! Она преследовала его в мечтах и посещала его ночные грезы в образе Ли-Фаа, Серебристого Цветка Луны. Что за беда, если она дважды была замужем, если ее матерью была европеянка, если она носила юбки белых дьяволов и корсет и туфельки на высоких каблуках? Он желал ее! Повидимому, где-то было написано, что она должна стать вместе с ним родоначальницей «Компании А-Ким, Универсальный Магазин»!

— Я не желаю невестки полу-паке!—твердила мать А-Кима (паке по-гавайски значит китаец);—моя невестка должна быть чистокровной паке, как ты, сын мой, и как я, твоя мать! Она должна носить панталоны, сын мой, как все женщины нашего рода носили их. Женщина в сатанинских юбках и корсетах не может воздавать должного почтения нашим предкам! Корсеты несовместимы с почтением! А эта бесстыжая Ли-Фаа! Она нагла и самостоятельна, и никогда не будет в послушании ни у своего супруга, ни у матери своего супруга. Эта нахалка Ли-Фаа будет почитать только себя! Она насмехается над нашими молитвенными палочками и молитвенными бумажками, над нашими семейными богами, как мне рассказывали...

— Госпожа Чан-Люси!..—простонал А-Ким.

— Не одна госпожа Чан-Люси, о, сын мой! Я наводила справки. По крайней мере десять человек слышали, что она отзывалась о нашей кумирне, как об обезьяньей клетке. Однако, она хочет выйти за тебя, обезьяну, ради твоего магазина—настоящий дворец!—и твоего богатства, благодаря которому ты стал великим человеком! Она покроет позором и меня, и отца твоего, давно почившего с почетом...

Спорить было не о чем. А-Ким понимал, что мать его по-своему права. Недаром же Ли-Фаа родилась за сорок лет до того, от отца-китайца, поправшего все традиции, и от каначки-матери, ближайшие предки которой нарушили все табу, забросили своих полинезийских богов и малодушно склонили ухо к проповедям о далеком и непостижимом боге христианских миссионеров. Ли-Фаа, получившая образование, читавшая и писавшая по-английски и по-гавайски и довольно порядочно по-китайски, утверждала, что она ни во что не верит, хотя в глубине души боялась гавайских знахарей, которые, она была уверена, умели наводить порчу и «замаливать» людей до смерти. А-Ким хорошо знал, что Ли-Фаа не поселится в его доме, не будет простираться перед его матерью, не будет ее рабыней на старинный,

незапамятный китайский лад. С китайской точки зрения это была «новая женщина», феминистка; она, ездила на лошади верхом, по-мужски; в нескромном купальном костюме каталась на взморье Вайкики на бурунных досках и танцовала на туземных пирушках (луау) танец (хула) с «подонками общества» к скандальной потехе всех.

Сам А-Ким, который был на одно поколение моложе своей матери, тоже был испорчен, заражен «современным духом». Старый порядок держался постольку, поскольку в тайниках своей души он чувствовал еще на себе его запыленную руку; но он платил больше страховки от огня, был застрахован и на случай смерти, был казначеем местных революционеров, собиравшихся превратить Небесную Империю в республику, жертвовал в фонд гавайско-китайской бэзболной десятки, побивавшей девятки приезжих янки, беседовал о теософии с Катсо-Сугури, японским буддистом и импортером шелка, давал взятки полиции, принимал денежное и трудовое участие в демократической политике Гавайи и подумывал купить автомобиль. А-Ким не решался признаться даже самому себе, сколько старого хлама в нем выветрилось и в сколь многое он перестал верить! Мать его принадлежала к старому поколению, но он чтил ее и был счастлив под ее бамбуковой палкой. Ли-Фаа, Серебристый Цветок Луны, принадлежала к новому поколению, но без нее он не мог быть вполне счастлив!

Ибо он любил Ли-Фаа! С круглым, как луна, лицом, круглый, как арбузное семячко, ловкий делец, мудрый полувековой мудростью, А-Ким становился художником, когда думал о Ли-Фаа. Для него, и только для него во всем мире, она была Цветком Сливы, Спокойствием Женщины, Цветком Молчания, Лунной Лилией, Совершенным Покоем! Нашептывая эти ласковые названия, он слышал в них журчание речных струек, звон серебряных колокольчиков, колышимых ветром, ароматы жасмина и олеандра.

В один прекрасный день мать сунула в его руку кисточку для туши и положила на стол табличку для писания.

— Нарисуй,—сказала она,—иероглиф: бракосочетаться.

А-Ким, несколько удивленный, повиновался. Со всей художественностью, свойственной его расе и воспитанию, начертил он символический иероглиф.

— Разбери его!—приказала мать.

А-Ким с недоумением взглянул на мать, желая угодить ей, но не понимал, куда она клонит.

— Из чего состоит он?—настойчиво продолжала мать.—Каковы три первоначальных знака, сумма которых дает: брак, бракосочетаться, сближение и сочетание мужчины и женщины? Нарисуй их, нарисуй каждый особо, эти три начальных значка, дабы мы увидели, как мудро построили мудрецы древности символ слова бракосочетаться!

А-Ким, следуя указаниям матери, увидел, что он нарисовал три значка—знак руки, уха и женщины.

— Назови их!—продолжала мать, и он назвал.

— Это верно!—промолвила она.—Это великая повесть! Это графическое изображение брака. Таков был брак вначале; таким он будет всегда в моем доме. Мужчина берет ухо женщины, и ведет ее за ухо в свой дом, где она должна повиноваться ему и его матери. Меня тоже привел за ухо твой покойный отец. Я смотрела на твою руку—она не похожа на его руку; и я присмотрелась к уху Ли-Фаа—никогда тебе не взять ее за ухо! Я еще долго буду жить, и буду хозяйкой в доме моего сына на старинный лад, пока не умру...

Он трусил и чувствовал себя несчастным; дело в том, что Ли-Фаа, удостоверившись, что Тай-Фу отправилась в храм Китайского Эскулапа [1]) принести в жертву вяленую утку и молитвы о своем хилом здоровьи, воспользовалась этим случаем и нагрянула в магазин А-Кима.

Сложив свои дерзкие ненакрашенные губы в полураскрытый розовый бутон, Ли-Фаа возражала:

— Это хорошо для Китая! Я не знаю Китая! Тут Гавайи, а на Гавайи чужеземцы меняют свои обычаи!

— И все же она моя родительница!—протестовал А-Ким.—Она мать, давшая мне жизнь—все равно, родился я в Китае или на Гавайи, о Серебристый Цветок Луны, столь желаемый мною в жены!

— У меня было два мужа,—спокойно отвечала Ли-Фаа.—Один был паке, а другой—португалец. Я многому научилась от обоих. К тому же я получила образование, я училась в высшей школе и играла публично на фортепьяно. И многому я научилась от моих двух супругов. Из паке выходят самые лучшие мужья! Я ни за кого больше не пойду замуж, кроме как за паке! Но он не посмеет брать меня за ухо!

— А ты откуда это знаешь?—спросил А-Ким, насторожившись.

— От госпожи Чан-Люси,—был ответ.—Госпожа Чан-Люси рассказывает мне все, что слышит от твоей матери; а мать многое ей рассказывает. Так вот знай, что мое ухо не для этого сделано!

— Это мне говорила и почтенная матушка!—простонал А-Ким.

— Это твоя почтенная матушка говорила и госпоже Чан-Люси, и это госпожа Чан-Люси рассказала мне!—хладнокровно добавила Ли-Фаа.—А теперь я скажу тебе, мой третий грядущий супруг: не родился еще человек, который поведет меня за ухо! Это на Гавайи не в обычае! Я пойду с моим мужем только рука-об-руку, рядом,

---

[1]) Эскулап — у древних римлян бог врачевания.

«половина с половиной», как говорят здешние женщины—хаоле. Мой португальский супруг думал иначе и пробовал бить меня. Я три раза отводила его в полицейский суд, и каждый раз он отрабатывал свой срок на рифах, а после этого он утонул!

— Матушка была моей матерью пятьдесят лет под ряд!—стойко возражал А-Ким.

— И пятьдесят лет под ряд она била тебя!—захихикала Ли-Фаа.—Как смеялся, бывало, мой отец над Яп-Тен-Шином! Подобно тебе, Яп-Тен-Шин родился в Китае и привез с собой китайские обычаи. Его старый родитель вечно колотил его палкой. Он любил своего отца. Но старик особенно жестоко начал колотить его, когда он сделался паке-комиссионером. Каждый раз, как Яп-Тен-Шин отправлялся по делам своей миссии, отец задавал ему трепку! Миссионер, узнав об этом, строго выговаривал Яп-Тен-Шину за то, что он позволяет отцу колотить себя. Мой же отец заливался смехом, ибо мой отец был либеральнейший паке, переменивший свои обычаи скорее многих других чужеземцев. Вся беда была в том, что у Яп-Тен-Шина было не в меру любящее сердце! Он любил своего почтенного батюшку. Он любил и бога любви христианских миссионеров. Но в конце концов он обрел величайшую в мире любовь—любовь к женщине! Ради меня он забыл любовь к своему отцу и любовь к любвеобильному Христу. Он предложил моему отцу шестьсот золотых долларов за меня—цена потому была малая, что у меня ноги были не маленькие. Но я наполовину каначка. Я сказала, что я не рабыня, и не желаю быть продана мужчине! Моя школьная учительница была старая дева хаоле. Она говорила, что любовь—бесценный дар и не может быть продаваем! Может быть, она говорила так потому, что была старой девой. Она была некрасива. Она не видывала любви. Моя мать—каначка—говорила, что не в обычае канаков продавать своих дочерей за деньги! Они отдают своих дочерей за любовь. Но она готова подумать, если Яп-Тен-Шин устроит достаточное число хороших луау (попоек). Отец же мой, паке, был либерал, как я тебе говорила. Он спросил меня: желаю ли я взять в мужья Яп-Тен-Шина? И я сказала «да». Свободно, своею охотой пошла я за него! Его убила лошадь; но он был очень хороший муж... Что касается тебя, А-Ким, то я всегда буду уважать и любить тебя; и когда-нибудь, когда тебе не нужно будет брать меня за ухо, я выйду за тебя замуж, и войду сюда и останусь с тобой навсегда, и ты будешь самым счастливым паке во всей Гавайи; ибо у меня было два супруга, я училась в высшей школе и хорошо знаю, как делать мужей счастливыми. Но это будет тогда, когда твоя мать перестанет бить тебя! Она бьет очень сильно!

— Это верно,—подтвердил А-Ким.—Смотри!—Он приподнял свой широкий рукав, обнажив по локоть гладкую и пухлую руку. Она была

в черных и синих кровоподтеках, свидетельствовавших о силе и многочисленности ударов, от которых он защищал свою голову и лицо.— Но ей еще ни разу не удалось заставить меня плакать!—поспешил добавить А-Ким.—Никогда, даже в детстве я не плакал!

— Так говорит и Чан-Люси,—заметила Ли-Фаа.—Она говорит, что твоя почтенная матушка часто жалуется на то, что ей никогда не удается заставить тебя плакать!

В этот момент раздалось предостерегающее шипение одного из приказчиков; но было уже поздно! Придя домой окольными переулками, Тай-Фу как из земли выросла перед ними, выйдя из жилых комнат. Никогда еще А-Ким не видал своей матери в таком яростном гневе! Глаза ее сверкали, когда она сказала ему, игнорируя Ли-Фаа.

— Теперь я заставлю тебя плакать! Я побью тебя так, как никогда еще не била, и буду бить, пока ты не заплачешь!

— Так пойдем в задние комнаты, почтенная матушка,—предложил А-Ким.—Мы закроем двери и окна, и там ты можешь побить меня!

— Нет, ты будешь бит здесь, перед всем светом и перед этой бесстыдной женщиной, которая хотела бы собственной рукой взять тебя за ухо. И такое кощунство называть браком? Стой, бесстыжая!

— Я останусь во всяком случае!—промолвила Ли-Фаа. Она бросила на приказчика грозный взгляд.—И хотела бы я посмотреть, кто кроме полиции, отважется вывести меня отсюда!

— Никогда не бывать тебе моей невесткой!—выпалила госпожа Тай-Фу.

Ли-Фаа согласилась с ней кивком:

— И тем не менее, твой сын будет моим третьим супругом.

— Ты хочешь сказать—когда я умру?—взвизгнула старуха.

— Солнце всходит каждое утро,—загадочно ответила Ли-Фаа.— Всю свою жизнь наблюдаю я его восход...

— Тебе сорок лет, ты носишь корсет!

— Но я не крашу своих волос,—это будет позднее,—спокойно возразила Ли-Фаа.—Что же касается моего возраста, то ты права. В день юбилея Камахамехи мне исполнится сорок один год. Сорок лет я вижу восход солнца. Отец мой умер стариком и перед смертью сказал мне, что он не заметил каких-нибудь изменений в солнечных восходах за все дни своей жизни. Конфуций этого не знал, но ты можешь прочесть об этом в любой географии. Земля кругла. Она вечно вращается вокруг себя, и возвращаются в свой черед времена, погода и жизнь. Все, что есть, было раньше. Что было, будет вновь. Вечно возвращается пора созревания плодов манго и плодов хлебного дерева и неизменно повторяются мужчина и женщина. Вьют гнезда малиновки, и зуйки прилетают с севера. За весной в свое время приходит новая весна. Кокосовая пальма вырастает, приносит плоды и отмирает.

Но всегда есть новые кокосовые пальмы. Это не просто моя болтовня! Многое из этого мне поведал мой отец! Продолжай, почтенная госпожа Тай-Фу, и колоти своего сына, моего третьего супруга. Но я буду смеяться! Предупреждаю тебя: я буду смеяться!

А-Ким упал на колени, чтобы его матери было сподручнее. И в то время, как она сыпала на него град ударов бамбуком, Ли-Фаа усмехалась и хихикала, разразившись под конец громким хохотом.

— Крепче, о, почтенная госпожа Тай-Фу!—восклицала она в промежутках.

Тай-Фу усердствовала изо всех сил, которые были заметно невелики, и вдруг увидела нечто, заставившее ее уронить палку. А-Ким плакал! По обеим его щекам текли большие круглые слезы! Изумилась Ли-Фаа. Изумились глазевшие приказчики. Больше всего был изумлен сам А-Ким, но он ничего не мог поделать с собой; и хотя побои уже прекратились, он продолжал плакать.

— Но отчего ты плакал?—часто спрашивала Ли-Фаа А-Кима.

— Погоди, пока мы поженимся,—неизменно отвечал А-Ким,—и тогда, о Лунная Лилия, я все скажу тебе!

Два года спустя, в один прекрасный вечер А-Ким, больше чем когда-либо напоминавший своей фигурой арбузное семячко, вернулся с собрания китайского благотворительного общества и застал свою мать бездыханной на ее постели. Непреклоннее, чем когда-либо, был ее лоб и зачесанные назад волосы. Но на лице ее застыла вялая улыбка. Боги были к ней милостивы: она скончалась без страданий.

Первым делом А-Ким затребовал телефонный номер Ли-Фаа, но ее не оказалось дома, и он позвонил к Чан-Люси. Свадьба состоялась по истечении срока, вдесятеро меньше того, какой требовался старинными китайскими обычаями. И если на китайской свадьбе бывает что-нибудь в роде дружки, так Чан-Люси играла именно эту роль.

— Отчего,—спросила Ли-Фаа, оставшись наедине с А-Кимом в вечер их свадьбы,—отчего ты заплакал, когда твоя мать—помнишь?—била тебя в магазине? Это было так глупо с твоей стороны! Ведь тебе даже не было больно!

— Потому-то я и плакал!—ответил А-Ким.

Ли-Фаа с явным недоумением уставилась на него.

— Я плакал,—пояснил он,—оттого, что вдруг сознал близость кончины моей матери. В ее ударах не было уже ни силы, ни боли. Я плакал потому, что видел—у н е е у ж е н е т с и л п р и ч и н и т ь м н е б о л ь. Вот почему я плакал, о мой Цветок Ясности, мой Совершенный Покой! Только по этой причине!..

Вайкики, Гонолулу
16 июня 1916

ПРИБОЙ КАНАКИ

Туристки, сидевшие в тени деревьев хау у взморья перед самым отелем Моана, буквально разинули рты, когда Ли Бартон и его жена Ида вышли из купальни. Они продолжали ахать и в то время, когда парочка прошла мимо них по песку. Нельзя сказать, чтобы в Ли Бартоне было что-нибудь, заслуживающее аханья. Да и туристки были не из тех женщин, которые готовы были разевать рты при виде мужского тела, затянутого в купальный костюм, какой бы красотой и пышностью мускулов и линий это тело ни отличалось. Тем не менее тренеры с глубоким удовлетворением вздохнули бы при виде этой физической красоты. Но, разумеется, они не стали бы ахать, как эти женщины, аханье которых просто свидетельствовало о глубине их нравственного негодования.

Причиной их неодобрительного волнения была Ида Бартон! Они не одобряли ее, и самым серьезным образом, с первого же мгновения, как увидали. Им казалось—и они добросовестно уверяли себя в этом,—будто они шокированы [1]) ее купальным костюмом. Но Фрейд [2]) уже доказал, что когда дело касается пола, люди склонны искренно подменять одно другим и возмущаться вымышленным так же серьезно, как если бы это было подлинное.

А купальный костюм Иды Бартон был очень милый костюм! Из тончайшей, но крепкой черной шерсти, с белыми каймами и белым поясом, он доходил ей до шеи, был короток на руках и короток на ногах. Как ни коротка была юбка, столь же коротки были и панталоны. Между тем на этом самом взморье, перед фасадом дома, где помещался клуб, входило и выходило из воды десятка два женщин, не вызывавших ни малейших ахов, а между тем одетых куда смелее! Их мужские фуфайки с коротенькими панталонами плотно облекали их; рукавов совсем не было, подмышки были глубоко вырезаны и свидетельствовали, что их хозяйки вполне привыкли к декольте 1916 года.

---

[1]) Шокировать — оскорблять чье-либо эстетическое (художественное) или нравственное чувство поведением, манерами, словами; неприятно поражать, отталкивать.

[2]) Фрейд — австрийский ученый, изучавший сущность полового инстинкта.

Стало быть, женщины негодовали вовсе не на костюм Иды Бартон. Негодование их вызывали даже не ее ноги, а просто вся она, вся эта милая и стройная женская фигурка. Вдовы, матроны и девицы, холившие свои мягкие, жирные мускулы или защищавшие свою тепличную окраску кожи в тени деревьев хау, тотчас же восприняли ее фигуру, как некий вызов. Она была угрозой, оскорблением, наносимым избранной ими и с разнообразным успехом ведомой жизненной игре.

Но сказать-то они этого не сказали; они не позволили себе даже подумать этого. Они думали, что дело в костюме, и так и переговаривались между собой, абсолютно не замечая двадцати женщин, одетых куда более вызывающе, но не столько опасно прекрасных. Если бы отбросить все примеси, которые закрывали истинную причину неодобрения костюма Иды Бартон в душах этих недовольных женщин, то там оказалась бы ревнивая мысль: никакой женщине, прекрасной, как эта, нельзя позволять показывать свою красоту! Это было нечестно по отношению к ним! Какие у них были шансы на завоевание мужчин, когда рядом такая опасная соперница?

И ведь они были правы, как Стэнли Пэтерсон. А он сказал своей жене шедшей рядом с ним по мокрому песку у крохотного пресноводного ручья, который Бартоны переходили вброд, чтобы поскорей добраться до берега, где находился клуб.

— Великий бог чудес и моделей! Посмотри, дорогая моя: да ведь такой пары ног у маленькой женщины ты и не видала никогда! Посмотри, как они круглы! Ведь это ноги мальчика! Я видел бойцов, легких, как перышко, именно с такими ногами. И ведь это вполне женские ноги! Никакой ошибки на этот счет быть не может! А эта уравновешенная полнота тыльной части! Посмотри, как на тыльной стороне линии тонко спускаются к колену. А это колено! У меня просто пальцы зудят! Как жаль, что у меня нет под рукой глины.

— Да, это настоящее женское колено!—согласилась его жена с неменьшим восторгом; она, как и ее муж, была скульптор.—Смотри, какие связки шевелятся под кожей; вот это формы, и, к счастью, не покрытые мешком сала!—И она вздохнула, подумав о своих собственных коленях.—Полное, прекрасное, нежное! Восторг! Если я когда-нибудь видела воплощенную прелесть—то вот она!

Стэнли Пэтерсон с увлечением глядел на Иду, разделяя восторги своей жены.

— И ты заметь, что круглые мускульные подушечки, от которых почти у всех женщин колени кажутся искривленными, отсутствуют! Это ноги мальчика, крепкие и уверенные...

— И в то же время прелестные женские ножки, мягкие и круглые,—поспешила добавить жена.—Смотри, Стэнли, как она идет

на подушечках ступней! Она кажется легкой, как лебединый пушок! Каждый шаг она делает, кажется, чуть-чуть над землею, и получается впечатление, что она летит или поднялась и собирается лететь...

Так говорили Стэнли и миссис Пэтерсон. Ведь они были художники, и глаза у них были совсем не то, что потоки человеческих взглядов, мимо которых Ида Бартон вынуждена была проходить; не то, что те глаза, которые таились на ланаи (верандах) и в тени деревьев хау у взморья. Большая часть публики Утлегарного Клуба состояла не из туристов, приехавших в гости, но из членов клуба и гавайских старожилов. И даже старожилки ахали!

— Положительно неприлично!—обратилась миссис Гэнли к своему мужу; это была непомерно толстая сорокапятилетняя матрона, родившаяся на Гавайских островах и даже не слыхавшая о существовании Остендэ [1]).

Гэнли Блэк оглядел бесформенное и широкое, допотопное купальное платье своей жены. Они так давно были женаты, что он мог откровенно высказать свое мнение:

— Рядом с костюмом этой незнакомки у тебя самой вид неприличный! Кажется, что твое безобразное платье скрывает какое-нибудь тайное уродство!

— Она несет свое тело, как испанская танцовщица!—продолжала миссис Пэтерсон, обращаясь к мужу.

— В самом деле, как верно!—согласился Стэнли Пэтерсон.—Она напоминает мне Эстреллиту. Торс несколько наклонен вперед, тонкая талия, не слишком тонкая в области желудка, и с мускулами, как у боксера. А мускулистая изогнутая спина! Точь в точь, как у Эстреллиты!

— Как ты думаешь, какого она роста?—спросила жена.

— Вот тут можно ошибиться,—с восхищением ответил муж.—Может быть в ней пять футов один дюйм, или пять футов три либо четыре дюйма. Ведь ходит она—чуть-чуть не летит!

— Да, в этом вся штука!—согласилась миссис Пэтерсон.—Кажется, что все ее существо поднялось на кончики пальцев!

Стэнли Пэтерсон, умолкнув, продолжал разглядывать женщину.

— Совершенно верно!—объявил он.—Она маленького роста. Я думаю, пять футов два дюйма без обуви. А веса в ней не больше ста восьми или ста десяти, или ста пятнадцати фунтов.

— Не может в ней быть ста десяти!—с убеждением говорила жена.

---

[1]) Остендэ — город в Бельгии, в провинции Западной Фландрии, на берегу Немецкого моря, знаменитый морскими купаньями.

— А когда она одета да еще со своей осанкой, бьюсь об заклад, она ни на кого не произведет впечатления крохотной.

— Я знаю этот тип женщин,—кивнула жена.—Встречая такую женщину, получаешь впечатление, что она значительно выше среднего роста. А оказывается—маленькая. Ну, а возраст?

— Об этом предоставляю судить тебе!—отпарировал муж.

— Ей может быть двадцать пять, а может, и тридцать восемь...

Но Стэнли Пэтерсон самым невежливым образом перестал слушать.

— Тут дело не только в ногах!—пылко воскликнул он.—Во всем ее существе! Ты посмотри, какое нежное предплечье! А изгиб линии, идущей к плечу! А этот бицепс! Да ведь он живет! Готов об заклад побиться, что она умеет сокращать свои мускулы в изрядный клубок...

Никакая женщина, и меньше всего Ида Бартон, не могла не почувствовать эффекта, который она производила на взморье Вайкики. Это не только не льстило ее самолюбию, но даже раздражало ее.

— Ах, эти кошки!—засмеялась она, обращаясь к мужу.—И подумать, что здесь я родилась почти ровно треть столетия тому назад! Но тогда они не были так назойливы. Может быть, потому, что в то время не было туристов. Подумай, Ли, вот здесь, на этом взморье, я училась плавать! Мы приезжали с папой на каникулы в конце недели и располагались бивуаком в соломенном шалаше, который стоял там, где сейчас дамам из клуба подают чай. С крыши на нас падали мокрицы, когда мы спали; все мы ели пойи и опихи и аку, не носили купальных костюмов и ловили каракатиц. Настоящей дороги в город тогда еще не было. Я помню страшные дожди, которые так заливали берег, что приходилось возвращаться в каноэ через рифы и порт Гонолулу!

— А знаешь,—добавил Ли Бартон,—как раз в те годы юнец, из которого получился я, приезжал сюда гостить на несколько недель! Наверное, я видел тебя на взморье в ту пору—ты была одной из девчонок, плававших, как рыбы! Женщины тогда ездили на лошадях по-мужски, и это было задолго до того, как светские женщины поборили свою застенчивость и научились ездить верхом. Я в то время учился плавать здесь. Может, мы с тобой даже пытались кататься на одной и той же бурунной доске, или же я плескал тебе в лицо горсти воды, а ты мне высовывала в ответ язычок...

Прерванный в этом месте далеко не тихим возгласом негодования, исходившим от старой девы, гревшейся на песке в чудовищно-некрасивом купальном костюме, Ли Бартон почувствовал, как жена его испуганно прижалась к нему.

— Я улыбаюсь от удовольствия,—сказал он ей.—От этой позы у тебя обрисовываются твои бравые плечики!

Нужно сказать, Ли Бартон был сверхмужчина, как Ида Бартон была сверхженщина—по крайней мере так их называли молодые репортеры и тощие критики, которые на скучном фоне своей жизни не могут равнодушно видеть фигуру, возвышающуюся над их горизонтом. Эти скучные люди не допускают, что мужчина или женщина могут подняться выше посредственности или обыденности. Никогда не видев гор, они утверждают, что гор не существует. Никогда не видев звезд, они отрицают существование звезд.

Зато все или почти все на взморье прощали Иде Бартон и ее костюм и ее формы, как только она входила в воду. Положив руку на плечо мужа, с вызовом на смеющемся лице, она пробежала с ним несколько шагов, и они, точно единое существо, прыгнули вместе с твердого и влажного песка взморья, описали в воздухе отлогую дугу и погрузились в воду.

В Вайкики имеются два прибоя: большой, «бородатый» Прибой Канаки, ревущий далеко за лесенкой для спуска, и меньший, более тихий, Прибой Вахине, разбивающийся о самый берег; здесь очень мелко и можно сотню и даже несколько сотен футов итти, не попадая на глубокое место. При хорошем внешнем прибое Прибой Вахине может подняться до трех или четырех футов, и тогда у самого берега твердое песчаное дно будет находиться на глубине от трех футов под пеной волны. И для того, чтобы нырнуть с берега в эту волну, разбежаться, перевернуться в воздухе так, чтобы пятки были вверху, а голова внизу, и войти в воду головой,—на все это требуется знание волны, расчет и большое умение врезываться в неверную глубину бесстрашным красивым ныряньем головой вперед.

Это красивый, изящный и смелый прием, которому нельзя научиться в один день и вообще нельзя научиться без того, чтобы несколько раз не удариться о дно с риском раздробить себе череп или сломать шею. На этом самом месте, где только что так красиво нырнули Бертоны, за два дня до этого один атлет сломал себе шею. Он не рассчитал подъема волны Прибоя Вахине.

— Профессионалка!—фыркнула миссис Гэнли своему мужу, увидя проделку Иды Бартон.

— Какая-нибудь девица из варьетэ с бассейнами!—такими замечаниями обменивались между собой женщины, уютно сидевшие в тени; в своем самообольщении они упивались кастовым различием между женщиной, работающей за хлеб, и ими самими, которые не зарабатывали того, что ели.

Это был день сильного прибоя в Вайкики. Даже Прибой Вахине был достаточно бурным для хороших пловцов. Но за его пределы, в мужской прибой—Прибой Канаки, никто не отваживался плыть. Нельзя сказать, чтобы десятка два или более молодых наездников

на бурунных досках не могли рискнуть поплыть туда или боялись сделать это; но дело в том, что самые крупные лодки опрокидываются и бурунные доски ломаются под бешеными ударами грохочущих волн. Пловцы могли бы выплыть, ибо человек может взять бурун, непосильный ни лодке, ни бурунной доске; но они прибыли из Гонолулу в Вайкики не для этого, а для того, чтобы кататься на гребне волны, вылетать из пены торчком во всю длину своего тела и с быстротою лихого коня мчаться на берег.

Капитан каноэ № 9, член Утлегарного Клуба, получивший много медалей за плаванье на далекую дистанцию, не видел, как Бартоны бросились в воду, и разглядел их уже далеко за последней гирляндой купальщиков, цеплявшихся за спасательные канаты. И с этой минуты со своей вышки на верхней ланиа (веранде) он не сводил с них глаз. Когда они проплыли мимо стальной купальной лесенки, где развлекалось несколько самых смелых купальщиков, он раздраженно буркнул про себя: «Проклятые малахини!»

Не обманываясь красивыми взмахами их рук, он знал, что только малахини могут отважиться поплыть в бурный канал за лесенкой. Вот что вызвало досаду в капитане каноэ! Он сошел на берег, перекинулся там и сям словечком и собрал экипаж самых сильных пловцов, после чего вернулся на свою площадку с биноклем. Шесть человек как будто случайно отнесли каноэ № 9 к краю воды, приготовили весла и все, что нужно было для быстрого спасения, и стали небрежно прохаживаться по песку. Они должны были не показывать вида, что готовится что-то необычайное, и только украдкой бросали взгляды на капитана, продолжавшего глядеть в бинокль.

Канал образовался из пресноводного ручья. Кораллы не могут жить в пресной воде, и в этот канал постоянно хлестал сильный прибой с моря, вода не могла оставаться на взморье, и тем не менее ее каждую минуту гнало на берег напором прибоя; поэтому вода выливалась в море как бы подводным потоком под бурунами. Даже в канале волны были огромны, но не так страшны, как по обе стороны его. Каноэ или сильный пловец могли отважиться пуститься в канал. Но пловцу нужно было быть необычайно сильным, чтобы бороться с течением! Вот почему капитан каноэ № 9 продолжал бодрствовать и бранить про себя малахини, в полной уверенности, что эти малахини заставят его спустить каноэ № 9 и поплыть к ним на помощь, когда они убедятся, что течение им не под силу. Находясь в их положении, он завернул бы влево, к Алмазному Мысу, и вернулся бы на берег на волне Прибоя Канаки. Но ведь это он, бронзовый двадцатидвухлетний геркулес, белейший белый, загоревший до цвета красного дерева в лучах субтропического солнца! Линиями своего тела и своими мускулами он очень напоминал изумительного князя

Кахапамоку. Этот мировой чемпион побил бы его на дистанции в сто ярдов; но на дистанциях, измеряемых милями, он далеко оставил бы за собой чемпиона.

Из многих сотен людей, находившихся на берегу, весьма немногие, за исключением капитана и его экипажа, знали, что Бартоны перешли опасную линию. Все, кто видел, как они бросились в воду, считали, что они присоединились к другим купальщикам на спусковой площадке.

Капитан вдруг бросился к перилам веранды, ухватился одной рукой за столб и внимательно стал рассматривать два пятнышка в стекла бинокля. Догадки его оправдались! Эти двое безумцев выплыли из канала в сторону Алмазного Мыса и теперь плыли прямо к морю, навстречу Прибою Канаки. Хуже того: они начали пробиваться через этот самый прибой.

Он бросил быстрый взгляд на свое каноэ, и когда его экипаж, с виду лениво и небрежно, поднялся и занял свои места для спуска каноэ на воду, он произвел мысленный расчет. Прежде чем лодка поровняется с каналом, с мужчиной и женщиной все будет кончено! И если даже допустить, что лодка их нагонит, то, как только она попадет в Прибой Канаки, ее опрокинет, и очень мало шансов на то, чтобы и самый сильный пловец мог спасти человека, разбиваемого ударами огромных «бородатых» волн!

И вот, капитан увидел первую волну Прибоя Канаки—огромную, но все же маленькую по сравнению с той, что поднялась за двумя пятнышками, в которых он угадывал пловцов. Потом он увидел, что они бок-о-бок, погрузив лица в воду и вытянувшись во всю длину на поверхности, заработали ногами, как пропеллерами, а руками стали отмахивать быстрые саженки, стараясь приблизиться в скорости к догоняющей волне; когда она их догонит, они станут частью волны и вместе с нею поплывут вперед вместо того, чтобы остаться позади нее! Таким образом они приблизятся к берегу не собственными силами, но энергией волны, с которой они сольются в одно.

И они так и сделали! «Вот это пловцы!»—одобрительно бормотал про себя капитан каноэ № 9. Он не отрывал бинокля от глаз. Хороший пловец мог удержаться на этой волне на протяжении нескольких сот футов. Удастся ли им это? Если они в этом успеют, то можно будет сказать, что они миновали добрую треть опасности, которой так смело пошли навстречу. Но женщина первая сдала, чего он, впрочем, и ожидал; тело ее не представляло такой большой кроющей поверхности, как тело ее мужа. Пронесшись семьдесят футов, она опрокинулась, ее потянуло вниз, и целые тонны воды обрушились на нее. Супруг последовал за нею, и оба они выплыли позади волны, которую утеряли.

Капитан видел, что их нагоняет следующая волна.

«Ну, если они вздумают оседлать эту волну—спокойной ночи!»— пробормотал он; ибо он знал, что нет такого пловца, который схватился бы с этой волной. Сама «безбородая», она была матерью всех «бородатых» волн, имела в длину милю, вздымалась из моря далеко за другими, и гребень ее все рос да рос, пока она не закрыла весь горизонт.

Впрочем, ясно было, что и мужчина и женщина умеют управляться с водою. Теперь они не стали забегать вперед волны. Капитан мысленно захлопал им, увидев, как они повернулись, обратились лицом к волне и стали ожидать ее. Только он один на всем взморье видел эту чудную картину, четко рисовавшуюся в стеклах бинокля! Гребень волны вздымался настоящей стеною, он все шел вверх и утончался, так что сквозь верхушку прорывались зеленые и синие лучи заходящего солнца. Далее гребень волны переходил в более светлый зеленый цвет и на его глазах превращался в лазурь. Это была лазурь драгоценного камня, с бесчисленным множеством розоватых точек и золотых искорок. И, наконец, на самой вершине растущего гребня—световая оргия, кипение переливающихся радуг.

На фоне этой волны мужчина и женщина казались двумя пылинками. Они и были пылинками в этом титаническом столкновении стихийных сил! Сила падения этой волны, уже нависшей над их головами, могла ошеломить мужчину или сломать хрупкие кости женщины. Капитан каноэ № 9 даже не чувствовал, что он затаил дыхание. Он забыл о мужчине! Он смотрел на женщину. Если она потеряет голову, не сохранит хладнокровия, не рассчитает усилия хотя на мгновение, эта страшная волна швырнет ее на сто футов и превратит в кашу ударом о коралловое дно, на котором ее растерзают мелкие акулы, слишком трусливые, чтобы бросаться на живого человека...

Странно... Почему они не нырнули вглубь, а стали ожидать самый опасный момент? Он видел, как женщина повернула голову и улыбнулась мужчине, и он в ответ ей повернул свою голову. Над ними нависла волна; пенистая борода, белая, как снег, местами отливала пурпуром и золотом. Резкий пассат, дувший с берега, подхватывал края бороды, сдувал их назад, рассыпал мелкую пену в воздухе. И вот рядом, разделенные шестифутовым расстоянием, они нырнули под верхний завиток волны, уже рассыпавшейся хаосом. Как насекомые исчезают в лепестках пышной гигантской орхидеи, так исчезли и они, и на том месте, где они только что находились, с грохотом рассыпались многие тонны воды.

Наконец, они показались за волной, которую пронизали вместе, опять сохраняя все то же шестифутовое расстояние между собой; они быстро поплыли к берегу, ожидая следующей волны, чтобы

либо подняться с ней, либо повернуться к ней лицом и прорезать ее. Капитан каноэ № 9 махнул рукой своему экипажу: «отставить»; он сел на перила веранды, ощутив вдруг странную усталость, и продолжал рассматривать пловцов в свой бинокль.

«Кто бы они ни были,—бормотал он,—они вовсе не малахини; совершенно немыслимо, чтобы это были малахини!»

Не каждый день прибой бывает силен в Вайкики; в следующие дни Ида и Ли Бартон продолжали возбуждать негодование туристов, но капитаны Утлегарного Клуба перестали беспокоиться о пловцах, когда они бросались в воду. Капитаны видели, как эта парочка плавала и исчезала в голубой дали, не возвращаясь в течение многих часов. И капитаны не беспокоились о их возвращении: они знали, что Бартоны вернутся! Это были не малахини! Они были, на языке Гавайских островов, камаайна. Мужчины камаайна и сороколетние женщины помнили Ли Бартона с детства; в ту пору он действительно был малахини. А после того, часто наезжая на взморье, он вполне заслужил свой титул камаайна.

Что касается Иды Бартон, то молодые матроны ее возраста (не перестававшие дивиться, как ей удалось сохранить свою фигуру) встретили ее с распростертыми объятиями и жаркими гавайскими поцелуями. Бабушки приглашали ее на чай в старых садиках забытых домов, которых туристам никогда не приходилось видеть. Не прошло и недели после ее приезда, как престарелая королева Лилиуокалани послала за ней и выбранила ее за невнимание. Старухи на прохладных и пахучих верандах беззубыми ртами шамкали ей о дедушке капитане Вильтоне,—он жил раньше их, но его необузданные выходки и подвиги, о которых им рассказывали отцы, старики вспоминали со смаком,—о дедушке капитане Вильтоне, или Дэвиде Вильтоне, или «Мастере на все руки», как любовно прозвали его гавайцы тех далеких дней. Этот «На все руки мастер», бывший коммерсант на Северо-Востоке, безбожный и беззаботный шкипер с корабля, потерпевшего крушение, однажды стоял на берегу Каилуа и приветствовал первого миссионера с брига «Тадеуш» в 1820 году; через несколько лет после этого он скандальным образом обвенчался с одной из его дочерей, убежав с нею, потом остепенился и долго служил у Камехамехи министром финансов и начальником таможенного управления; он же был посредником между миссионерами, с одной стороны, и разношерстным береговым сбродом и гавайскими вождями—с другой стороны.

Не оставлен был вниманием и Ли Бартон. Среди обедов и завтраков, гавайских пирушек (луау) и ужинов с знаменитой кашей пойи, среди танцев и плаванья он отдавал свое время целой толпе белых юнцов старой Кохалы, которые начали чувствовать, что у них есть

желудки и другие внутренние органы; они немножко остепенились, меньше бражничали, больше играли в бридж и часто ходили играть в бэзбол. Претендовала на него и старая компания игроков в покер—они теперь играли на более солидные ставки, пили минеральную воду с апельсинным соком и не засиживались позднее полуночи.

И вот появился в этом вихре удовольствий Сонни Грандисон, уроженец Гавайи; несмотря на свой молодой сорокалетний возраст, он отказался от предложенного ему места губернатора гавайской территории. Он также встречался с Идой Бартон в Вайкики за четверть века до этого, а еще раньше проводил каникулы на ранчо ее отца в Лаканайи; он принял ее и других малюток пяти-семи лет в свою мальчишескую шайку «Людоедов, охотников за головами» или «Гроза Лаканайи». А еще раньше, в старое доброе время, его дедушка Грандисон и ее дедушка Вильтон вели вместе дела, и были политическими единомышленниками.

Получив образование в Гарварде, Сонни Грандисон на некоторое время сделался странствующим ученым и любимцем общества. Прослужив срок на Филиппинах, он сопровождал разнообразные экспедиции в Южную Америку в роли официального энтомолога [1]), на сорок первом году он еще числился на службе Смитсоновского Института, и его приятели уверяли, что он больше знает о сахарных «клопах», чем специалисты-энтомологи, служившие на опытных станциях у него и его приятелей, сахарных плантаторов. Крупная фигура у себя дома, он был весьма известным представителем Гавайи за границей. Поездившие по свету гавайцы были убеждены, что стоит им где угодно упомянуть, что они из Гавайи, и к ним сейчас же будет обращен вопрос: «А вы знаете Сонни Грандисона?»

Короче говоря, это был сын богатого человека, сделавший карьеру. Унаследованный от отца миллион он превратил в десять миллионов, в то же время затмив щедростью даже его.

Но это еще не все! Овдовев десять лет тому назад, не имея детей, он был теперь самым завидным женихом на всей Гавайи. Брюнет с чистыми и крепкими чертами, он был заметной фигурой во всякой группе; седеющие виски, оттенявшие его молодую кожу, и живые глаза придавали ему особенно изысканный вид. Несмотря на то, что он был страшно занят, несмотря на многочисленные комитетские заседания, на заседания правлений и политические конференции, он еще находил время быть капитаном Лаканайского клуба для игры в поло и на своем родном острове Лаканайи соперничал вместе с Болдуинами из Мауи в разведении и импортировании пони для игры в поло.

---

[1]) Энтомолог — специалист, изучающий насекомых.

Если есть замечательно крепкий и живой мужчина и рядом с ним женщина и если на сцене появляется другой столь же замечательно крепкий и живой мужчина, то возникает неизбежная трагедия треугольника. Может быть, Сонни Грандисон первый осознал положение, хотя не сразу подчинился он влиянию женщины в роде Иды Бартон. Во всяком случае, последним из всех трех заметил в чем дело Ли Бартон: он со смехом отмахнулся от того, смеяться над чем было невозможно.

Он вскоре убедился, что настолько запоздал со своей догадливостью, что половина его гостей обоего пола уже знает правду. Оглядываясь назад, он теперь видел, что с некоторого времени, куда только ни приглашали его жену, туда же оказывался приглашенным и Сонни Грандисон! Куда отправлялась пара, туда отправлялся и третий. На Кахуку или на Халеиву, на Агуиману или на Канеохэ, к коралловым садам или на мыс Коко, на ланаи и купанья—почему-то неизменно случалось, что Ида ехала в автомобиле Сонни, или они вместе ехали в чьем-нибудь другом автомобиле. Танцы, луау, обеды, экскурсии—во всем принимала участие эта тройка.

Заметив это, Ли Бартон не мог не приметить и нотки веселья, всегда появлявшиеся у Иды Бартон в обществе Сонни Грандисона; не мог он не заметить и ее готовности ездить с ним в одном автомобиле, танцовать с ним или сидеть рядом с ним. Всего удобнее действовал на него сам Сонни Грандисон. Лицо этого сорокалетнего силача так же мало умело скрывать его внутренние переживания, как лицо двадцатилетнего мальчика—любовь. Несмотря на все свое самообладание и выдержку сорокалетнего мужчины, он не умел носить маску, и Ли Бартон не мог не прочесть на лице Сонни Грандисона того, что он чувствовал. Часто, когда в разговоре Иды с другими женщинами речь заходила о Сонни, Ли Бартон слышал от нее самые горячие отзывы о Сонни; она восхищалась его мастерством играть в поло, его светскими успехами, его талантами и знаниями.

Что касается настроения и чувств самого Сонни, то Бартон не питал по этому поводу ни малейшего сомнения. Дело было ясное. Ну, а как же Ида, на которой он был женат уже двенадцать лет, и женат по любви? Он знал, что женщина всегда способна носить в себе тайну. Означает ли ее товарищеская искренность с Грандисоном простое продолжение детской дружбы? Или же под ней кроется трепет и возврат чувства, еще более сильного, чем то, о котором говорит лицо Сонни?

Ли Бартон утратил ощущение счастья. Двенадцать лет полного обладания женою доказали ему, что для него она—его единственная женщина во всем свете, и что не родилась еще та, которая могла бы хоть на минуту соперничать с нею в его сердце и в его мыслях.

Казалось невозможным, немыслимым самое существование такой женщины, которая смогла бы отвлечь его от нее или затмить ее.

Что же, спрашивал он себя, неужели это ее первая «любовная интрига»? Он непрестанно терзался этим вопросом и, к изумлению пожилых юнцов, любителей покера, а также к удовольствию любопытных женщин, любивших задавать обеды и ходить по обедам, начал пить коньяк вместо лимонного сока, ставить большие суммы на карту, бешено мчаться в своем автомобиле по опасным дорогам Пали и Алмазного Мыса и за завтраком, обедом и после него выпивать больше, чем полагается, старомодных коктэйлей и шотландского виски.

Во все годы брака жена была очень снисходительна к его пристрастию к картам. Для него эта снисходительность стала привычной. Но теперь, когда в нем родилось сомнение, ему начало казаться, что он замечает в ней какое-то нетерпение перед тем, как он садился за покер. Не мог он также не заметить, что Сонни Грандисон отсутствовал на партиях покера и бриджа. Повидимому, он был чем-то сильно занят. Где же, в таком случае, находился Сонни, покуда он, Ли Бартон, играл в карты? Конечно, не всегда на заседаниях правлений и разных комитетов. В этом Ли Бартон убедился. Он без труда угадал, что в такие часы Сонни чаще обыкновенного оказывался там, где случайно находилась Ида—на танцах, на обедах, на купаньях при луне; так, например, однажды вечером, когда Грандисон категорически отказался присоединиться к Ли, Ленгорну Джонсу и Джэку Голштейну для игры в бридж в Тихоокеанском Клубе, в тот самый вечер он играл в бридж у Доры Найльс с тремя женщинами, в числе которых находилась Ида!

Возвращаясь однажды вечером после осмотра сухого дока в Жемчужной бухте, Ли Бартон, пустив машину полным ходом, чтобы успеть переодеться к обеду, обогнал автомобиль Сонни; единственным пассажиром Сонни была Ида! Он отвозил ее домой! В другой вечер, через неделю, в течение которой Ли не играл в карты, он вернулся домой в одиннадцать часов с холостецкого обеда в Университетском Клубе, незадолго до того, как и Ида вернулась от Ольстонов, куда она была приглашена на ужин с пойи и на танцы. И Сонни привез ее домой! По их словам, они ссадили майора Франклина и его жену в Форт-Шефтере—это по другую сторону города, за много миль от берега.

Ли Бартон, как все порядочные люди, как человек, неизменно встречавший Сонни самым дружеским образом, страдал сильно, но тайно. Даже Ида не подозревала, что он страдает; она продолжала беспечно веселиться и смеяться, уверенная в его сердце, хотя немножко смущалась усиленными порциями коктэйлей, которые ее супруг стал разрешать себе перед обедом.

Как всегда, Ида, повидимому, имела доступ ко всему его существу; но теперь ей закрыт доступ к его неразгаданной муке и к длинным параллельным столбцам мысленной бухгалтерии, которые он стал теперь подводить в своем уме минута за минутой, днем и ночью. В один столбец он заносил несомненные проявления ее обычной любви и заботам о нем, ее старания успокоить его, ее потребность советоваться с ним обо всем и слушаться его советов. В другом же столбце, статьи которого чудовищно росли, находились ее выражения и поступки, которые он не мог квалифицировать иначе, как сомнительные. Таковы ли они были на самом деле? Или же это было двуличие, сознательное или бессознательное? Третий столбец, длиннее всех прочих, заполнен был статьями, прямо или косвенно относившимися к ней и Сонни Грандисону. Ли Бартон почти против своей воли завел эту бухгалтерию. Он просто не мог иначе. В его уме, где царил строгий порядок, эти статьи актива и пассива помимо его желания автоматически занимали свое место в соответствующих столбцах.

В этом мучительном состоянии, преувеличивая детали и сам сознавая это, он прибег к помощи Мак-Ильвэна, которому он однажды оказал весьма значительную услугу. Мак-Ильвэн был начальником сыска. «Что, Сонни Грандисон—юбочник или нет?»—спросил Бартон. Мак-Ильвен ничего не ответил на это. «Значит он юбочник!»—сказал Бартон. И начальник сыщиков опять ничего не ответил.

Вскоре после этого Ли Бартон прочитал доставленный ему доклад. Итог был не плох: нельзя сказать, чтоб совсем плох; но и не слишком хорош для десяти лет, протекших после смерти жены Грандисона. Это был брак по любви, о чем было известно всему обществу Гонолулу, полный страстных безумств не только до свадьбы, но и после свадьбы, вплоть до трагической смерти миссис Грандисон: она свалилась вместе со своим конем с высоты в тысячу футов на тропинке Нихику. Долгое время после этого, сообщал Мак-Ильвэн, Грандисон не проявлял интереса к женщинам. Если же что случалось, то всегда носило вполне благопристойный характер. Общество решило, что он однолюб и вторично никогда не женится. Были, конечно, кой-какие мелкие «дела», но Сонни Грандисон оставался в уверенности, что они не могли быть известны никому, кроме участников,— так сообщал Мак-Ильвэн.

Бартон торопливо, почти со стыдом, прочитал несколько имен и, бросив документы в огонь, остался в полном изумлении. Сонни, во всяком случае, прескромный человек! Устремив глаза на пепел, Бартон размышлял: что же из е г о собственной жизни знает этот старый Мак-Ильвэн? И Бартон почувствовал, что он краснеет— краснеет за самого себя. Если Мак-Ильвэн столько знает о частной

жизни видных лиц общины, то разве он, муж, покровитель и защитник Иды, не заронил в душу Мак-Ильвэна серьезных подозрений?

— Хочешь что-нибудь сказать мне?—спросил Ли свою жену в этот вечер: он держал в руках ее шарф, в то время как она доканчивала свой туалет.

Это была у них старая, испытанная манера; и он, ожидая ее ответа, недоумевал, почему он давно не задавал ей этого вопроса.

— Нет,—улыбнулась она.—Ничего особенного... Потом... может быть.

Она с преувеличенным вниманием стала рассматривать себя в зеркале, попудрила немного нос и смахнула пудру.

— Ведь ты знаешь меня, Ли,—добавила она, помолчав.—Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями—если есть что собирать; но раз я начну эту работу, так доведу ее до конца. Иногда я убеждаюсь в том, что ничего и не было «такого»—и ты оказываешься избавленным от пустяков!

Она протянула ему руки, чтобы он окутал ее шарфом—славные ручки, такие мудрые, крепкие, как сталь, в борьбе с волнами и в то же время чисто-женские ручки: круглые, теплые и белые, прелестные женские ручки с крепкими мускулами, мягкие в очертаниях, с гладкой тонкой кожей.

Он смерил ее взглядом—такая она была хрупкая, фарфоровая, что, казалось, сильному мужчине ничего не стоило раздавить ее в сгибе руки.

— Однако, поторопимся!—воскликнула она, когда он немножко замешкался, закутывая ее мягким шарфом поверх платья.—Мы опоздаем, а если на Нууану пойдет дождь, так мы пропустим и второй тур!

Он решил узнать, с кем она танцует второй вальс, и провожал ее взглядом по комнате к дверям, невольно любуясь ее одухотворенной, как он называл, походкой.

— Не кажется ли тебе, что я стал пренебрегать тобою из-за моего покера?—задал он наводящий вопрос.

— Помилуй, что ты! Ведь ты знаешь, я люблю, когда ты предаешься своим карточным оргиям; для тебя это в роде тонического средства. И, знаешь, у тебя какой-то более степенный вид за картами! Подумай, сколько времени прошло с той поры, как ты засиживался позднее часа ночи!

На Нууану не было дождя; дул свежий пассат, небо было усеяно мириадами звезд. Приехав в Инчкинам как раз ко второму вальсу, Ли Бартон убедился, что его жена танцует с Грандисоном—в этом еще не было ничего необыкновенного, но Бартон тотчас же занес этот факт на столбцы своей мысленной бухгалтерии. Часом позже,

в угнетенном и тревожном состоянии, отказавшись принять участие в партии бриджа, состоявшейся в библиотеке, и увильнув от нескольких молодых матрон, он вышел из дома.

Перейдя лужайку, в дальнем конце ее он наткнулся на живую изгородь из церея, цветущего ночью. Для каждого цветка, раскрывавшегося в сумерки и на рассвете увядавшего, это была его единственная ночь жизни. Огромные белые цветы, диаметром в фут и больше, похожие и на лилию и на восковник, пронизывали ночной воздух своим пьянящим ароматом, как будто торопясь насладиться минутами своего блеска.

Дорожка вдоль изгороди была полна парочек. Они украдкой уходили с танцев, гуляли и разговаривали вполголоса, любуясь чудесной любовью цветов. С веранды доносились чарующие звуки ханалеи, распеваемой певцами-мальчиками. Ли Бартону припомнился рассказ об аббате, одержимом беспокойством, что за всеми вещами на свете стоит некий замысел божества; аббат не знал, как истолковать ночь, и в конце концов открыл, что ночь предназначена для любви.

Назначение ночи так явно сейчас оправдывалось и людьми и цветами, что Бартон почувствовал боль. Он пошел обратно к дому по извилистой окольной тропинке, шедшей по краю тени, отбрасываемой высокими деревьями. Тропинка внезапно оборвалась, расширившись в поляну, и в темноте, в нескольких футах перед собой, где в тени прятались другие тропинки, он увидел мужчину и женщину, стоявших обнявшись. Страстный шопот мужчины поразил его слух; он пристально посмотрел на эту пару; и в то же мгновение, словно почувствовав его взгляд, говоривший умолк, и парочка неподвижно застыла в объятиях друг друга.

Ли угрюмо продолжал свою прогулку. О, ему была знакома эта игра, когда никакая тень не кажется достаточно темной, никакая хитрая уловка слишком лукавой, чтобы прикрыть минуты любви! В конце концов люди—как цветы, размышлял он. В свете ярко озаренной веранды, перед тем, как опять отдаться раздражающему шуму жизни, он остановился и стал глядеть, почти не видя, на пышные алые цветы двойного гибиска, и как-то вдруг все, от чего он страдал, все, что он только что видел, от ночного цветения церея и до шептавшихся парочек людей, воровато прятавшихся в объятиях друг друга, предстало перед ним, как некая притча жизни, рассказанная цветущими растениями... Цветок гибиска, расцветающий после рассвета белым, как снег, розовеющий в лучах солнца и подергивающийся пурпуром с наступлением темноты с тем, чтобы уже больше не цвести, показался ему как бы кратким повторением жизни и страсти человека.

Дальнейших своих наблюдений он уже не помнил; сзади, со стороны высоких цветов послышался ясный и веселый смех, несомненно, принадлежавший Иде. Он не оглянулся, опасаясь увидеть то, чего ожидал, но торопливо, чуть не споткнувшись, отступил к крыльцу веранды. И хотя он знал, что он увидит,—у него все же закружилась голова, когда он повернулся и увидел свою жену вместе с Сонни и узнал в них ту парочку, которая воровато пряталась в тени; он должен был ухватиться рукой за столбик веранды и рассеянно улыбнуться стоявшим тут певцам. Их голоса наполняли ночную тьму звуками припева, в которых слышалась трепетная страсть: «Хони кауа викивики!»

Он облизал пересохшие губы, овладел собой и заговорил с миссис Инчкин. Но нельзя было терять времени, иначе можно было наткнуться на парочку, которая уже поднималась по ступенькам за его спиной.

— Мне кажется, я только что перешел Великую Пустыню!— приветствовал он хозяйку,—и только большой стакан вина может спасти меня!

Она улыбнулась и кивнула в сторону окутанной дымом веранды; спустя некоторое время он сидел здесь с пожилыми мужчинами, горячо обсуждая вопросы сахарной политики, в то время как танцы продолжались своим чередом.

После ужина ему пришлось отвезти домой Лесли и Бернстонов, при чем он не мог не заметить, что Ида села на шоферское место рядом с Сонни в автомобиль Сонни. Таким образом она приехала домой раньше его и причесывала волосы в тот момент, когда он вошел. Наскоро они попрощались на ночь, как всегда, хотя ему очень трудно было хранить хладнокровие, когда он вспоминал, к чьим губам ее губы прижимались совсем недавно.

«Неужели женщина в самом деле такое безнравственное существо, как ее изображают германские пессимисты?»—спрашивал он себя, ворочаясь при свете лампы—ему не спалось и не читалось. Через час он встал с постели и подошел к шкафчику с лекарствами. Он принял пять гран опиума. Через час, боясь своих мыслей и перспективы бессонной ночи, он принял еще гран. Два раза через часовые промежутки он принимал еще по грану. Но опий действовал так медленно, что только на рассвете он закрыл глаза. В семь часов он проснулся с пересохшим горлом, в тупом и сонливом состоянии, засыпал затем на несколько минут и вновь просыпался. Он отказался от мысли крепко заснуть, позавтракал в постели и занялся утренними газетами и журналами. Но действие наркотика продолжалось, и в промежутках между едою и чтением он подремывал. Это состояние не оставило его и тогда, когда он принял душ и оделся.

И хотя опий принес ему мало забвения ночью, он все же был благодарен лекарству за дремотную летаргию, в которой оно держало его все утро.

И только когда встала жена и, как всегда, ясная и плутовски улыбающаяся, очаровательная в своем кимоно, пришла к нему, опиум начал действовать как следует. Когда она бесхитростно и ясно показала ему, что ей нечего сообщить ему в исполнение старинного между ними уговора, он начал придумывать ложь насчет опиума. На вопрос, как он спал, он ответил:

— Отвратительно! Я два раза просыпался от судорог в ногах. Я просто боялся заснуть. Но судороги не повторились, хотя ноги у меня отчаянно болят.

— У тебя были судороги в прошлом году,—напомнила она ему.

— Может быть, они станут сезонной болезнью!—улыбнулся он.— Вещь это не опасная, но ужасно просыпаться с болью! Если им суждено повториться, это будет не раньше ночи; но пока у меня чувство, как будто меня избили палками.

Перед вечером того же дня Ли и Ида Бартон бросились в воду с Утлегарного берега и уверенно поплыли к глубокой воде за Прибоем Канаки. Море в этот день было так спокойно, что когда они через несколько часов повернули и лениво начали пробираться к берегу через Прибой Канаки, это не потребовало обычного труда. Волны были настолько малы, что последние наездники на бурунных досках и лодочники вернулись на берег. Вдруг Ли перевернулся на спину.

— Что с тобой?—крикнула Ида, находившаяся в двадцати футах.

— Судорога в ноге,—спокойно ответил он, с трудом процедив слова сквозь крепко стиснутые зубы.

Опиум все еще убаюкивал его, и он не испытывал ни малейшего волнения. Наблюдая, как она плывет к нему уверенными движениями, он любовался ее самообладанием, и в то же время его кольнула мысль: это, вероятно, потому, что она мало любит его или, вернее, потому, что больше любит Грандисона.

— Какая нога?—спросила она, спустив ноги вертикально и топчась возле него в воде.

— Левая.

Он подогнул колени, как бы непроизвольно поднял голову и грудь из воды и исчез в набежавшей, очень слабой, волне. Через несколько секунд он выплыл, отфыркиваясь, и опять вытянулся на спине.

Он почти улыбался, хотя исказил эту улыбку в гримасу боли, потому что его мнимая судорога сделалась настоящей. По крайней мере, в одной ноге мускулы болезненно сокращались.

— В правой хуже,—бормотал он, когда она выразила намерение взять напряженный мускул и растереть его.—Но ты держись подальше! Со мной уже бывали судороги, и я знаю, что когда мне станет плохо, я способен буду схватить тебя!

Но она положила руку на вздувшиеся узлами мускулы и начала давить их, растирать и выгибать.

— Пожалуйста!—стонал он сквозь зубы.—Ты держись подальше! Дай мне вытянуться, я согну суставы больших пальцев и лодыжечные в противоположных направлениях, и судорога пройдет. Я уже делал так не раз, и знаю, что это помогает.

Она отпустила его, но не удалилась, и продолжала легонько топтаться на воде, не сводя глаз с его лица. Но Ли Бартон умышленно сгибал суставы и так натягивал мускулы, что мог только усилить судорогу. В прошлом году, когда он страдал судорогами, он научился, лежа в постели за книгой, прогонять судорогу, даже не отрываясь от чтения. Но теперь он делал обратное, усиливал судорогу, и ему, чего он сам не ожидал, удалось вызвать судорогу в правой икре. Он закричал от боли, перестав владеть собой, попробовал выпрямиться, и его подмыло под следующую волну.

Он выплыл, отфыркиваясь, на поверхность, и крепкие руки Иды схватили его замлевшую икру.

— Не бойся!—говорила она, энергично работая руками;—такие судороги долго не длятся!

— Я не знал, что может так сильно болеть!—простонал он.—Только бы не поднялось выше; таким беспомощным чувствуешь себя!

Он схватил бицепсы обеих ее рук судорожным движением, пытаясь взлезть на нее, как утопающий пытался бы взлезть на весло, и потащил ее за собой под воду. В последовавшей под водой борьбе он отпустил ее только тогда, когда ее резиновый чепчик сорвался с головы и рассыпались головные шпильки, так что она выплыла полуослепленная и полузадушенная массой своих волос. Кроме того, он уверен был, что заставил ее вобрать в себя немножко воды.

— Держись подальше!—предостерег он ее и с деланным отчаянием растянулся в нелепой позе.

Но она искала пальцами его икру, и он не замечал в ней ни малейших следов страха или нежелания.

— Ползет выше!—проворчал он сквозь стиснутые зубы, едва подавляя настоящий стон.

Он напряг всю правую ногу, словно в новой судороге, усилив действительные и не столь сильные судороги, и от этого мускулы верхней части его ноги затвердели.

Опий продолжал действовать на его мозг; он разыгрывал жестокую комедию и в то же время невольно любовался самообладанием и волей, написанными на вытянувшемся лице жены; несмотря на смертельный ужас, застывший в ее глазах, он читал в них напряженную мысль, мужество и решимость.

Она не хотела сдаваться с дешевой фразой: «Я умру вместе с тобой». Нет, к его непритворному восхищению, она спокойно говорила:

— Не делай усилий! Погрузись так, чтобы над водой были только губы! Я буду держать твою голову! Должен же быть предел судороге! На суше никто еще не умирал от судороги. Стало быть, и в воде сильный пловец не может умереть от нее. Она должна дойти до самого худшего состояния и затем прекратиться. Мы оба крепкие пловцы и люди хладнокровные...

Он исказил лицо и умышленно потащил ее под воду. Но когда они выплыли, она продолжала держать его голову, топталась в воде и приговаривала:

— Не напрягайся! Я буду держать твою голову. Перетерпи! Вспомни, как ты учил меня действовать в воде!

Волна, необычайно огромная по слабому прибою того дня, перекатилась над их головами. Он опять вцепился в жену, и оба погрузились в глубину.

— Прости меня,—забормотал он сквозь стиснутые от боли зубы, как только они вынырнули и перевели дух.—И оставь меня!—Он говорил отрывисто, делая паузы между фразами.—Зачем тонуть обоим? Мне ведь не миновать! В любой момент судорога может подняться до живота, и тогда я потащу тебя за собою и не смогу уже отпустить. Пожалуйста, пожалуйста, дорогая, отплыви прочь! Довольно и одной гибели! Тебе есть для чего жить!

Она кинула на него глубоко-укоризненный взгляд, в котором исчезло без остатка выражение смертельного ужаса. Словно она выговорила, и даже больше, чем выговорила: «Жить я могу только для тебя!»

«Стало быть, Сонни далеко не так дорог ей!»—с ликованием заключил Бартон. Но он вспомнил ее фигуру в объятиях Сонни и стал продолжать жестокую игру. Да и опиум действовал, питая в нем жестокие настроения. «Раз ты уж затеял тяжкое испытание,—как бы настаивал опий,—пусть же оно будет тяжким!»

Он скорчился, погрузился в воду, выплыл и бешено стал вертеться, как бы пытаясь лечь на воду в вытянутом положении. А она не отплывала от него.

— Это невыносимо!—простонал он чуть не с криком.—Я не могу держаться! Я должен погибнуть! Ты не можешь спасти меня. Отплыви прочь и спасайся сама!

Но она схватила его голову, подняла ее над водою, чтобы он не захлебывался, и твердила:

— Полно, полно! Сейчас самый худший момент. Потерпи одну только минутку—и тебе станет легче!

Опять он вскрикнул, скорчился и потащил ее под воду. И чуть не утопил ее—так искусно он прикинулся утопающим! Но она не отпускала его головы, не поддавалась страху неминуемой смерти. Каждый раз, выплывая, она, хотя и задыхаясь, успокаивала его:

— Скоро... сейчас... пройдет... худший... момент... как бы ни болело... непременно пройдет... вот и полегчало... неправда ли?

А он вновь и вновь топил ее, заставлял квартами глотать соленую воду, в уверенности, что большого вреда это ей не причинит. Иногда они выплывали на несколько секунд, успевали отдышаться и опять исчезали под набегавшей волной. И хотя она под водой боролась и вырывалась из его рук, но, освободившись, не пыталась отплыть от него. Силы ее слабели, рассудок мутился, но она неизменно бросалась к нему на помощь. Когда, по своим расчетам, он решил, что «довольно с нее», и даже с лихвой, он успокоился, выпустил ее и растянулся на поверхности воды.

— Уффф!—протяжно вздохнул он с наслаждением и заговорил, делая паузы:—Проходит. Какое райское ощущение! Дорогая, я полон воды, как губка, но сознание, что нет этой страшной боли, делает мое состояние чистым блаженством!

Она хотела что-то ответить, но не могла вымолвить ни слова.

— Мне теперь хорошо!—уверял он ее.—Давай, полежим неподвижно и отдохнем. Вытянись, дорогая, и отдышись!

Полчаса бок-о-бок лежали они на спине, укачиваемые довольно тихим Прибоем Канаки. Ида Бартон первая оправилась и первая заговорила.

— Как ты себя чувствуешь?—спросила она.

— Чувствую себя так, словно по мне проехался паровой каток! А ты, моя ласточка?

— Я чувствую себя счастливейшей женщиной в мире! Мне так хорошо, что я готова заплакать, но слишком счастлива для этого. Ты страшно напугал меня! Одно время мне казалось, что я теряю тебя!

Сердце Ли Бартона заколотилось. Ни слова о себе самой! Так ведь это любовь, истинная, испытанная любовь—великая любовь, забывающая себя в любимом!

— А я страшно горжусь тем,—отвечал он,—что моя жена—самая мужественная женщина на свете!

— Мужественная?—запротестовала она.—Я просто люблю тебя! Я даже не знала, как сильно, как страшно люблю тебя, пока не

начала терять тебя! Ну, поплывем к берегу. Я хочу быть дома с тобой, хочу, чтобы ты обвил меня руками и слушал, что ты для меня такое и чем всегда будешь!

В полчаса мерными, сильными взмахами добрались они до берега и пошли по твердому влажному песку между группами лежавшей на песке и гревшейся на солнце публики.

— Что вы там делали?—спросил один из капитанов Утлегарного Клуба.—Дурачились?

— Дурачились!—улыбнулась Ида Бертон.

— Мы ведь, знаете, деревенские фигляры!—добавил Ли Бартон.

В этот вечер, отменив все приглашения, они сидели, обнявшись, в огромном кресле.

— Сонни завтра уезжает,—заметила она ни с того, ни с сего, как бы случайно.—Он уезжает на Малайское побережье инспектировать свою Лесную и Каучуковую Компанию...

— А я не знал об этом,—проговорил спокойно Ли, скрыв свое изумление.

— Я первая узнала,—добавила она.—Он сам сказал мне вчера вечером.

— Во время танцев?

Она кивнула.

— Немножко неожиданно, неправда ли?

— Очень неожиданно!—Ида высвободилась из объятий мужа и села.—А я должна поговорить с тобой насчет Сонни. До этого у меня никогда не было от тебя настоящих тайн. Но нынче, в Прибое Канаки, мне пришло в голову, что если бы мы погибли, то между нами осталось бы кое-что невысказанное...

Она умолкла. Ли, почти угадавший, что она скажет, ничем не пришел ей на помощь; он только взял ее руку и крепко сжал ее.

— Сонни немножко... потерял голову из-за меня,—заикаясь, выговорила она.—Разумеется, ты должен был заметить это. И... вчера вечером он просил меня бежать с ним. Но не в этом мое признание...

Ли Бартон ждал.

— Мое признание,—продолжала она,—заключается в том, что я слегка, немножко больше, чем слегка, сама потеряла голову. Вот почему я была с ним так нежна и ласкова вчера вечером! Я не дурочка. Я понимала, что так нужно. И кроме того... о, я понимаю, я ведь просто слабая, тщеславная женщина—я испытывала чувство гордости от сознания, что такой посредственности, как я, удалось пошатнуть такого мужчину! Я поощряла его. Мне нет оправдания. Вчерашний вечер... его бы не было... если бы я его не поощряла. И я, а не он, виновата в том, что он обратился ко мне с этим предложением. Я ответила ему: нет, невозможно; ты сам

знаешь, почему, повторять это не-зачем. Я была с ним по-матерински ласкова, совсем по-матерински. Я позволила ему обнять меня, позволила себе прислониться к нему и в первый раз, потому что это был и последний, позволила ему поцеловать меня, а себе—ответить на поцелуй. Ты... Я знаю, ты понимаешь... это было его отречение! А я и не любила Сонни. Не люблю его и сейчас. Я любила тебя, и только тебя, все это время!

Она подождала, почувствовала на себе руку мужа, которая обвила ее плечо и проскользнула под ее рукой, и дала ему притянуть ее к себе.

— Ты растревожила меня больше, чем немножко,—признался он,—так что я начал бояться, что теряю тебя. И...—он оборвал себя с явным замешательством, но овладел собою.—Ну, да ладно, ты знаешь, что ты моя единственная женщина! Слов не нужно!

Она нащупала в его кармане коробочку и зажгла спичку, дав ему закурить давно погасшую сигару.

— Ну,—проговорил он, когда дым заклубился около них,—зная тебя так, как только я тебя знаю, и все о тебе, я могу лишь пожалеть Сонни, понимая, чего он лишился. Я страшно жалею его, но в то же время страшно рад за себя.. И... вот еще что: через пять лет я кое-что расскажу тебе: богатейшую вещь, очень смешную вещь обо мне и о моих безумствах из-за тебя. Через пять лет. Будешь помнить?

— Буду помнить хоть пятьдесят лет,—вздохнула она, прижимаясь к мужу.

Глэн-Эллен, Калифорния
17 августа 1916

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА „СНАРКЕ"

НА ЦЫНОВКЕ МАКАЛОА